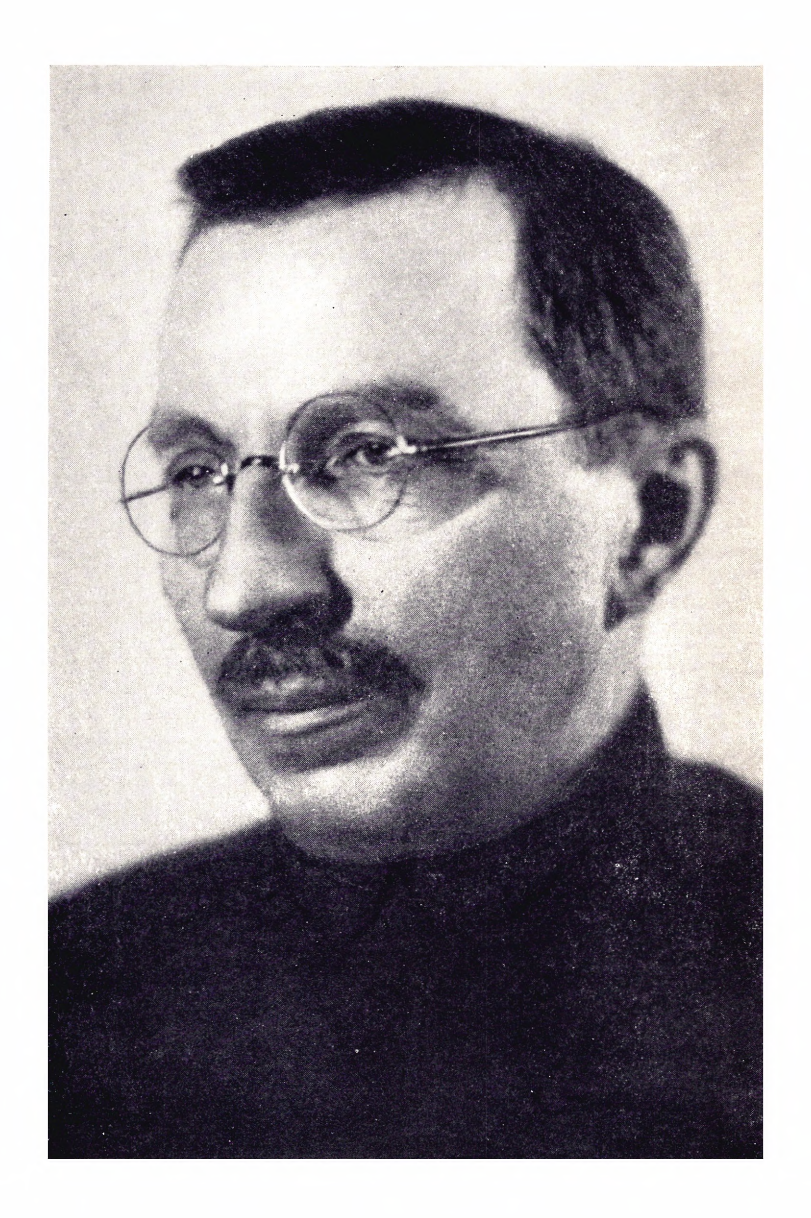
А. С. МАКАРЕНКО

1

А. С. МАКАРЕНКО



БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

А. С. МАКАРЕНКО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

МОСКВА. 1971

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
А. Терновского.

С преданностью и любовью
нашему шефу, другу и учителю
Максиму Горькому

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. РАЗГОВОР С ЗАВГУБНАРОБРАЗОМ

В сентябре 1920 года заведующий губнаробразом вызвал меня к себе и сказал:

— Вот что, брат, я слышал, ты там ругаешься сильно... вот что, твоей трудовой школе дали это самое... губсовнархоз...

— Да как же не ругаться? Тут не только заругаешься,— взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно! Разве это похоже на школу?

— Да... Для тебя бы это самое: построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги, саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навыпуск!

— У меня как раз не навыпуск.

— Ну, у тебя не навыпуск... Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят. Мне говорят: это ваше дело, наробразовское... Ну?

— А что — «ну»?

— Да вот это самое: никто не хочет, кому ни говорю,— руками и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик, книжечки... Очки вон надел...

Я рассмеялся:

— Смотрите, уже и очки помешали!

— Я ж и говорю, вам бы все читать, а если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек. Интеллигенты!

Завгубнаробразом сердито покалывал меня маленькими черными глазами и из-под ницшевских усов изрыгал хулу на всю нашу педагогическую братию. Но ведь он был неправ, этот завгубнаробразом.

— Вот послушайте меня...

— Ну, что «послушайте», что «послушайте»? Ну, что ты можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое... как в Америке! Я недавно по этому случаю книжонку прочитал,— подсунули. Реформаторы... или как там, стой!.. Ага! реформаториумы. Ну, так этого у нас еще нет.

— Нет, вы послушайте меня.

— Ну, слушаю.

— Ведь и до революции с этими босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников...

— Это не то, знаешь... До революции это не то.

— Правильно. Значит, нужно нового человека по-новому делать.

— По-новому, это ты верно.

— А никто не знает — как.

— И ты не знаешь?

— И я не знаю.

— А вот у меня это самое... есть такие в губнаробразе, которые знают...

— А за дело браться не хотят.

— Не хотят, сволочи, это ты верно.

— А если я возьмусь, так они меня со света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так.

— Скажут, стервы, это ты верно.

— А вы им поверите, а не мне.

— Не поверю им, скажу: было б самим браться!

— Ну, а если я и в самом деле напутаю?

Завгубнаробразом стукнул кулаком по столу:

— Да что ты мне: напутаю, напутаю!.. Ну, и напутаешь. Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое... не какая-нибудь там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание... Нам нужен такой человек вот... наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем учиться нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо.

— А место есть? Здания все-таки нужны.

— Есть, брат. Шикарное место. Как раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко — верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разведешь...

— А люди?

— А людей я тебе сейчас из кармана выну. Может. тебе еще и автомобиль дать?

— Деньги?..

— Деньги есть. Вот получи.

Он из ящика стола достал пачку.

— Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна...

— И на коров?

— С коровами подождешь, там стекол нет. А на год смету составишь.

— Неловко так, посмотреть бы не мешало раньше.

— Я уже смотрел... что ж, ты лучше меня увидишь? Поезжай — и все.

— Ну, добре,— сказал я с облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для меня не было.

— Вот это молодец! — сказал завгубнаробразом.— Действуй! Дело святое!

2. БЕССЛАВНОЕ НАЧАЛО КОЛОНИИ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

В шести километрах от Полтавы на песчаных холмах — гектаров двести соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков, скучно поблескивающий чистеньким булыжником.

В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном из ее углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок, составляющих все вместе правильный четырехугольник. Это и есть новая колония для правонарушителей.

Песчаная площадка двора спускается в широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе ряд старых берез, еще две-три соломенных крыши. Вот и все.

До революции здесь была колония малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в истрепанных журналах-дневниках, главными педагогами в колонии были дядьки, вероятно, отставные унтер-офицеры, на обязанности которых было следить за каждым шагом воспитанников как во время работы, так и во время отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей-крестьян можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью. Внешним ее выражением был такой простой снаряд, как палка.

Материальные следы старой колонии были еще незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в собственные хранилища, называемые коморами и клунями, все то, что могло быть выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где-то вновь насажен, стекла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не высажены гневным топором, а по-хозяйски сняты с петель, печи разобраны по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на месте.

— Почему шкаф остался? — спросил я соседа, Луку Семеновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на новых хозяев.

— Так что, значится, можно сказать, что шкафик етой нашим людям без надобности. Разобрать его — сами ж видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по высокости, и поперек себя тоже...

В сараях по углам было свалено много всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось возвратить кое-какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах державшихся, конь — мерин, когда-то бывший киргизом,— в возрасте тридцати лет, и медный колокол.

В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. Он встретил меня вопросом:

— Вы будете заведующий педагогической частью?

Скоро я установил, что Калина Иванович выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не признавал. В его словаре было много украинских слов, и «г» он произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему-то так нажимал на литературное великорусское «г», что у него получалось, пожалуй, даже чересчур сильно.

— Вы будете заведующий педакокической частью?

— Почему? Я заведующий колонией...

— Нет,— сказал он, вынув изо рта трубку,— вы будете заведующий педакокической частью, а я — заведующий хозяйственной частью.

Представьте себе врубелевского «Пана», совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами. Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по-архиерейски. В зубы дайте ему трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии. За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб-гвардии Кексгольмского ее величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города Миргорода во время наступления немцев.

Калина Иванович сделался первым объектом моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев, большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого разговора:

— Как же так, товарищ Сердюк, не может же быть без заведующего колония? Кто-нибудь должен отвечать за все.

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо склонился к моему лицу:

— Так вы желаете быть заведующим колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся?

— Нет, это не обязательно. Давайте, я вам буду подчиняться.

— Я педакокике не обучался, и что не мое, то не мое. Вы еще молодой человек — и хотите, чтобы я, старик, был на побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для этого ж я еще малограмотный, да и зачем это мне?..

Калина Иванович неблагосклонно отошел от меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришел в мою комнату уже в полной печали.

— Я вам здеся поставив столик и кроватку, какие нашлись...

— Спасибо.

— Я думав, думав, как нам быть с этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим колонией, а я вам буду как бы подчиняться.

— Помиримся, Калина Иванович.

— Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые горшки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек грамотный, будете как бы заведующим.

Мы приступили к работе. При помощи «дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в час. Начался организационный период.

Для организационного периода была поставлена вполне уместная задача — концентрация материальных ценностей, необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ, а я никак не мог примириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший киргиз.

В течение двух месяцев нам удалось при помощи деревенских специалистов кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии: вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто пятьдесят пудов ржаной муки. Иных

материальных ценностей нам не повезло «сконцентрировать».

Сравнив все это с моими идеалами в области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было всего сто раз больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие этого я принужден был объявить организационный период законченным. Калина Иванович согласился с моей точкой зрения:

— Что ж ты соберешь, когда они, паразиты, зажигалки делають? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромець...

— Илья Муромец?

— Ну да. Был такой — Илья Муромець... может, ты чув... так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил.

— Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще не так плохо. А где же Соловей-разбойник?

— Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь...

Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я дошел было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию нового человека в нашем лесу,— все боялись «босяков», и никто не верил, что наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлось два живых человека. Я был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние» счастливо дополнит нашу систему сил.

Лидия Петровна была очень молода — девочка. Она недавно окончила гимназию и еще не остыла от материнской заботы. Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение:

— Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не знает.

— Да я именно такую и искал. Видите ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая Лидочка — чистейшее существо, я рассчитываю на нее вроде как на прививку.

— Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо...

Зато Екатерина Григорьевна была матерый педагогический волк. Она ненамного раньше Лидочки родилась, но Лидочка прислонялась к ее плечу, как ребенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьезном, красивом лице прямились почти мужские черные брови. Она умела носить с подчеркнутой опрятностью каким-то чудом сохранившиеся платья, и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею:

— С такой женщиной нужно очень осторожно поступать...

Итак, все было готово.

Четвертого декабря в колонию прибыли первые шесть воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по восемнадцати лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а двое были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты: галифе, щегольские сапоги. Прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец.

Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы; скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зеленого бархата.

Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались, с ехидными улыбками и презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки — «дачки», покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей:

— Через тебя влипли в эту бузу!

Остаток дня мы посвятили планированию нашей дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой не-

брежностью выслушивали мои предложения,— только бы скорее от меня отделаться.

А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала:

— Я не знаю, как с ними разговаривать... Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой — с прической, надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги!»

В первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех спрашивать:

— Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?..

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови:

— Не знаю, Антон Семенович, серьезно, не знаю... Может быть, нужно просто уехать... Я не знаю, какой тон здесь возможен...

Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но всю человеческую культуру,— все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.

Длинными зимними вечерами в колонии было жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна — в спальне, другая — в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы» — изобретение времен Кия, Щека и Хорива. В моей лампочке верхняя часть стекла была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович, закуривая свою трубку, пользовался часто огнем моей лампы, просовывая для этого в стекло половину газеты.

В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить до-

рожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал:

— Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападет. Понимаете?

Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о моем существовании. Задоров был из интеллигентной семьи — это было видно сразу. Он правильно говорил, его лицо отличалось той молодой холеностью, какая бывает только у хорошо кормленных детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза, все это с особенной мясистой подвижностью,— лицо бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в такой позе:

— Ну, сказали ж вам...

Я вышел из спальни, обратив свой гнев в какой-то тяжелый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я зашел к Калине Ивановичу:

— Пойдем снег чистить.

— Что ты! Что ж, я сюда чернорабом наймался? А эти что? — кивнул он на спальни.— Соловьи-разбойники?

— Не хотят.

— Ах, паразиты! Ну, пойдем!

Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город.

— Вот хорошо! — сказал весело Таранец.

— Давно бы так,— поддержал Волохов.

Калина Иванович загородил им дорогу:

— То есть как это — «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой...

Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка — в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули:

— Придется самому за лопатой полазить!

Со смехом они ушли в город.

— Уеду отседова к черту! Чтоб я тут работал! — сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в сугробе.

Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали:

— Рятуйте!..

Ограбленные селяне приходили к нам и трагическими голосами просили помощи.

Я выпросил у завгубнаробразом наган для защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я еще не терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками.

Первые месяцы нашей колонии для меня и моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного напряжения,— они были еще и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года.

Это было время Врангеля и польской войны. Врангель где-то был близко, возле Новомиргорода, совсем недалеко от нас, в Черкасах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие находились в блакитно-желтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали педагогические книги.

У меня главным результатом этого чтения была крепкая и почему-то вдруг основательная уверенность, что в моих руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я все равно не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие.

Всем своим существом я чувствовал, что мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония все больше и больше принимала характер «малины» — воровского притона, в отношениях воспитанников к воспитателям все больше определялся тон постоянного издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в столо-

вой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у кого есть добра:

— Всегда, знаете, может пригодиться... в трудную минуту.

Они решительно отказывались пойти нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом:

— На наш век хватит!

Калина Иванович рассыпàл миллионы искр из своей трубки и разводил руками:

— Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие алеганские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов...

И вот свершилось: я не удержался на педагогическом канате.

В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

— Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

— Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня — я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

— Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес — не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в страшном волнении зашептал:

— Что такое? Скажи на милость, чего это они такие добрые?

Я рассеянно глянул в голубые очи Пана и сказал:

— Скверно, брат, дело... Первый раз в жизни ударил человека.

— Ох, ты ж, лышенько!—ахнул Калина Иванович.— А если они жалиться будут?

— Ну, это еще не беда...

К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я проработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

— А здòрово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

— Что — здòрово? Работа?

— Работа само собой. Нет, а вот как вы меня съездили!

Задоров был большой и сильный юноша, и смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть такого богатыря.

Он залился смехом и, продолжая хохотать, взял топор и направился к дереву:

— История, ха-ха-ха!..

Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками, но утрен-

него события не вспоминали. Я себя чувствовал все же неловко, но уже решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, но Задоров подошел ко мне с самой серьезной рожей:

— Мы не такие плохие, Антон Семенович! Будет все хорошо. Мы понимаем...

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

На другой день я сказал воспитанникам:

— В спальне должно быть чисто! У вас должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается,— не приму.

— Ого! — сказал Волохов.— А может быть, можно полегче?

— Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет.

Задоров протянул мне руку.

— По рукам — правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допр же идти.

— А что, и в школу ходить обязательно? — спросил Волохов.

— Обязательно.

— А если я не хочу учиться?.. На что мне?..

— В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться — умнеть.

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота:

— От ускочыв, так ускочыв!

В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую незаконность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук — дело второ-

степенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал:

— Не выводи меня из себя. Убери!

— А то что? Морду набьете? Права не имеете!..

Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренне:

— Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в допр, это не твое дело!

Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами:

— Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. Уберу, черт с вами!

Я на него загремел:

— Как ты разговариваешь?

— Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к...!

— Что? Выругайся...

Он вдруг засмеялся и махнул рукой.

— Вот человек, смотри ты... Уберу, уберу, не кричите!

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала:

— Так вы уже нашли метод? Как в бурсе, да?

— Отстаньте, Лидочка!

— Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам?

— Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного.

— Ну, хорошо, подожду.

Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально-приветливо. Только дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьезно:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Все равно. Прекрасно себя чувствую.

— А вы знаете, что в этой истории самое печальное?

— Самое печальное?

— Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству?

Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне:

— Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди. Это важное обстоятельство.

— Может быть,— задумалась Екатерина Григорьевна.

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921 года, я привез на мебельной линейке полтора десятка настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было.

Прибавилось в колонии и воспитателей. К марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых.

Интерес колонистов к имуществу Осиповых был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что все это великолепное переселение может получить обратное движение к городским базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка очень добрая, разговорчивая и глупая. Ее имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и еще с чем-то, много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались глазами наших воспитанников разные ценные вещи.

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой назначенным для такого дела, и как-то очень быстро сдружилась с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначили.

В колонии не нужно было никакой экономки. Мы были невероятно бедны.

Кроме нескольких квартир, в которых поселился персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну большую спальню с двумя утермарковскими печами. В этой комнате стояло тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали. Другая большая спальня и столовая, две классных комнаты и канцелярия ожидали ремонта в будущем.

Постельного белья было у нас полторы смены, всякого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно в разных просьбах, обращенных к наробразу и к другим учреждениям.

Завгубнаробразом, так решительно открывший колонию, уехал куда-то на новую работу, его преемник колонией мало интересовался,— были у него дела поважнее.

Атмосфера в наробразе меньше всего соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих людей, но истинными выра-

зителями педагогического творчества здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то туалетные, то ломберные, когда-то черные, когда-то красные, окруженные такими же стульями, эти столики изображали разнообразные секции, о чем свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика. Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная величина — человек оказывался в существе своем не столько заведующим секцией, сколько счетоводом в губраспреде. Если за каким-нибудь столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае заключалась в выяснении того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а если все-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью исчезал.

Наши неопытные шаги вокруг столиков не привели, конечно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение. Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование «клифт», кое-как прикрывали человеческую кожу; очень редко под «клифтами» оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы: колка дров, работа на кухне, в прачечной делали свое, хотя и педагогическое, но для одежды разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в «Русалке».

На ногах у очень немногих колонистов были ботинки, большинство же обертывало ноги портянками и завязывало веревками. Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы.

Пища наша называлась кондёром. Кажется, кондёр — одно из национальных русских блюд, и поэтому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь. Другая пища

бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания: были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряженной дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим жалким видом, запугать бунтом колонистов,— и нас переводили, к примеру, на санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого, разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб начинали привозить в большем размере. Через месяц-другой нас постигало дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы начинали получать даже мясо, копчености и конфеты, но тем печальнее становилось наше житье, когда обнаруживалось, что никакого права на эту роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные интеллектуально.

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например, в губпродком или в опродкомарм Первой запасной, или в отдел снабжения какого-нибудь подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне.

Для вылазки необходимо было вооружиться бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение:

«Колония малолетних преступников просит отпустить для питания воспитанников сто пудов муки».

В самой колонии мы никогда не употребляли таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного ведомства.

С своей бумажкой я помещался где-нибудь в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери эти входило множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно бы-

ло пробиться к начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку.

Начальство в продовольственных ведомствах очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние преступники» была довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство взирало на нас строго и говорило:

— Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой наробраз.

Чаще бывало так,—начальство задумывалось и произносило:

— Кто вас снабжает? Тюремное ведомство?

— Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не снабжает, потому что это же дети...

— А кто же вас снабжает?

— До сих пор, видите ли, не выяснено...

— Как это — «не выяснено»?.. Странно!

Начальство что-то записывало в блокнот и предлагало прийти через неделю.

— В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов.

— Двадцать я не дам, получите пока пять пудов, а я потом выясню.

Пяти пудов было мало, да и завязавшийся разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких выяснений, само собой, не ожидалось.

Единственно приемлемым для колонии имени М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать».

В этом случае я сломя голову летел в колонию:

— Калина Иванович!.. ордер!.. сто пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там...

Калина Иванович радостно склонялся над бумажкой:

— Сто пудов? Скажи ж ты!.. А откедова ж такое?

— Разве не видишь? Губпродком губюротдела...

— Кто их разберет!.. Та нам все равно: хоть черт, хоть бис, абы яйца нис, хе-хе-хе!..

Первичная потребность у человека — пища. Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положе-

ние с пищей. Наши воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита колонистам удавалось удовлетворять при помощи частных способов.

Одним из основных видов частной пищевой промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым легким способом было опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырехгранной пирамиды), которые на недалекой речке и на нашем озере устанавливались местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но нашелся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило.

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен, прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать коллективные интересы. Он украл на реке несколько ятерей и притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и нашим охотникам очень редко удавалось что-нибудь поймать. Но через некоторое время у Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг и меня.

Он принес в мою комнату тарелку жареной рыбы.

— Это вам рыба.

— Вижу, только я не возьму.

— Почему?

— Потому что неправильно. Рыбу нужно давать всем колонистам.

— С какой стати?—покраснел Таранец от обиды.— С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на речке, а давать всем?

— Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал и не мок.

— Так это мы вам в подарок...

— Нет, я не согласен, мне все это не нравится. И неправильно.

— В чем же тут неправильность?

— А в том: ятерей ведь ты не купил. Ятеря подарены?

— Подарены.

— Кому? Тебе? Или всей колонии?

— Почему — «всей колонии»? Мне...

— А я так думаю, что и мне и всем. А сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки,— чье масло? Общее. А дрова, а печь, а ведра? Ну, что ты скажешь? А я вот отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное — не по-товарищески. Мало ли что — твои ятеря! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут.

— Ну, хорошо,— сказал Таранец,— хай будет так. А рыбу вы все-таки возьмите.

Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню.

Вторым способом частного добывания пищи были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша — киргиза — и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним увязывались два-три колониста, у которых к тому времени начинала ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивановичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из города сытыми и товарищам привозили коечто. Не было случая, чтобы кто-нибудь на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тетка дала», «встретился с знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи, представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары подметок.

В нашей умопомрачительной бедности была и одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не

было. Одинаково были голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали, довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенными, аккуратными, прилаженными платьями.

4. ОПЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ХАРАКТЕРА

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка денег — приблизительно мое шестимесячное жалованье.

В моей комнате в то время помещались и канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своем лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без всяких следов взлома.

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно было обвинить в растрате. Ребята хмуро выслушали и разошлись. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на темном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд — маленький, юркий юноша.

— Мы знаем, кто взял деньги,— прошептал Таранец,— только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где спрятаны. А если объявим, он подорвет [1] и деньги унесет.

— Кто взял?

— Да тут один...

Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо, не вполне одобряя его политику. Он пробурчал:

— Бубну ему нужно выбить... Чего мы здесь разговариваем?

— А кто выбьет? — обернулся к нему Таранец.— Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу...

— Вы мне скажите, кто взял деньги. Я с ним поговорю,— предложил я.

— Нет, так нельзя.

Таранец настаивал на конспирации. Я пожал плечами:

— Ну, как хотите.

---

[1] Подорвать — убежать.

Ушел спать.

Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд, дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обеих руках у него были скомканные в беспорядке кредитки.

Гуд от радости танцевал по колонии, ребята все просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их действиях после нашего разговора.

Через два дня кто-то сбил замки в погребе и утащил несколько фунтов сала — все наше жировое богатство. Утащил и замок. Еще через день вырвали окно в кладовой,— пропали конфеты, заготовленные к празднику Февральской революции, и несколько банок колесной мази, которой мы дорожили, как валютой.

Калина Иванович даже похудел за эти дни; он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза махоркой и уговаривал:

— Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины сыны, у себя ж крадете, паразиты!

Таранец знал больше всех, но держался уклончиво, в его расчеты почему-то не входило раскрывать это дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что обокрадены именно они.

В спальне я гневно кричал:

— Вы кто такие? Вы люди или...

— Мы урки,— послышалось с какой-то дальней «дачки».

— Уркаганы!

— Врете! Какие вы уркаганы! Вы самые настоящие сявки, у себя крадете. Вот теперь сидите без сала, ну и черт с вами! На праздниках — без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так!

— Так что же мы можем сделать, Антон Семенович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем.

Я, впрочем, с самого начала понимал, что мои разговоры лишние. Крал кто-то из старших, которых все боялись.

На другой день я с двумя ребятами поехал хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено.

Я даже обрадовался этому обстоятельству. Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех с бо́льшим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует?

Еще через несколько дней из конюшни пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по хутору, просить на первое время.

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обнаруживалось, что в том или ином месте чего-то не хватает: топора, пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так перепугался, что я больше об этом с ним не говорил.

Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда и Таранца. Никаких доказательств у меня все же не было, и свои подозрения я принужден был держать в секрете.

Задоров раскатисто смеялся и шутил:

— А вы думали как, Антон Семенович, трудовая колония, трудись и трудись — и никакого удовольствия? Подождите, еще не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете?

— Посажу в тюрьму.

— Ну, это еще ничего. Я думал, бить будете.

Как-то ночью он вышел во двор одетый.

— Похожу с вами.

— Смотри, как бы воры на тебя не взъелись.

— Нет, они же знают, что вы сегодня сторожите, все равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого?

— А ведь признайся, Задоров, что ты их боишься?

— Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семенович, как-то не годится выдавать.

— Так ведь вас же обкрадывают.

— Ну, чего ж там меня? Ничего тут моего нет.

— Да ведь вы здесь живете.

— Какая там жизнь, Антон Семенович! Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьетесь. Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших сторожей и дайте им винтовки.

— Нет, сторожей не найму и винтовок не дам.

— А почему? — поразился Задоров.

— Сторожам нужно платить, мы и так бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами.

Мысль о том, что нужно нанять сторожей, высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая дискуссия.

Антон Братченко, лучший представитель второй партии колонистов, доказывал:

— Когда сторож стоит, никто красть и не пойдет. А если и пойдет, можно ему в это самое место заряд соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, больше не полезет.

Ему возражал Костя Ветковский, красивый мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли, главные принадлежали взрослым. Сам Костя — это было установлено в его деле — никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной операций. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах политических. Костя доказывал:

— Антон Семенович прав. Нельзя сторожей! Сейчас мы еще не понимаем, а скоро поймем все, что в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнем сторожить. Правда, Бурун? — неожиданно обратился он к Буруну.

— А что ж, сторожить, так сторожить,— сказал Бурун.

В феврале наша экономка прекратила свое служение колонии, я добился ее перевода в какую-то больницу. В один из воскресных дней к ее крыльцу подали Малыша, и все ее приятели и участники философских чаев деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего богатства, со скоростью все тех же двух километров в час выехала навстречу новой жизни.

Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была начисто ограблена. Приятели ее и помощники не все сундучки, саквояжики и мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места,— грабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, просто под кроватями и за шкафами найдены были все сокровища экономки. Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие-то вазочки, браслет, серьги и еще много всякой мелочи.

Старушка плакала в моей комнате, а комната постепенно наполнялась арестованными — ее бывшими приятелями и сочувствующими.

Ребята сначала запирались, но я на них прикрикнул, и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными грабителями. Они ограничились кое-какими сувенирами вроде чайной салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всем этом происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих и прежде всего меня. Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серьезен, сдержанно-приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в колонии — дело его рук.

Наконец-то дорвался до настоящего зла! Я привел Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии.

В спальне, на кроватях и на столах, расположились оборванные черные судьи. Пятилинейная лампочка освещала взволнованные лица колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного, неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак-Кинлея, президента Соединенных Штатов Америки.

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она просила помощи,— это значит действительно ничего человеческого в себе не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их последнюю тряпку.

Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну:

— А что? А что ты скажешь? Тебя нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и деньги взял у Антона Семеновича.

Бурун вдруг запротестовал:

— Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи!

— И докажу.

— Докажи!

— А что, не взял? Не ты?

— А что, я?

— Конечно, ты.

— Я взял деньги у Антона Семеновича! А кто это докажет?

Раздался сзади голос Таранца:

— Я докажу.

Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что-то хотел сказать, потом махнул рукой:

— Ну, что же, пускай и я. Так я же отдал?

Ребята на это ответили неожиданным смехом. Им по-

нравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он вышел вперед.

— Только выгонять его не надо. Мало чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько — это, действительно, следует.

Все примолкли. Бурун медленно повел взглядом по рябому лицу Таранца.

— Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешься? Все равно завколом не будешь. Антон набьет морду, если нужно, а тебе какое дело?

Ветковский сорвался с места:

— Как — «какое дело»? Хлопцы, наше это дело или не наше?

— Наше! — закричали хлопцы.— Мы тебе сами морду набьем получше Антона!

Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко размахивал руками у самой физиономии Буруна и вопил:

— Пороть тебя нужно, пороть!

Задоров шепнул мне на ухо:

— Возьмите его куда-нибудь, а то бить будут.

Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров отшвырнул двух-трех. Насилу прекратили шум.

— Пусть говорит Бурун! Пускай скажет! — крикнул Братченко.

Бурун опустил голову.

— Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня с Антоном Семеновичем,— пусть накажет, как знает.

Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краев. Колонисты шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну.

Через темный двор в снежных окопах мы прошли молча: я — впереди, он — за мной.

У меня на душе было отвратительно. Бурун казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке, значительная часть членов которой — совершеннолетние — была расстреляна. Ему было семнадцать лет.

Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем-нибудь тяжелым и на этом покончить беседу.

Наконец, Бурун поднял голову, пристально глянул в мои глаза и сказал медленно, подчеркивая каждое слово, еле-еле сдерживая рыдания:

— Я... больше... никогда... красть не буду.

— Врешь! Ты это уже обещал комиссии.

— То комиссии, а то — вам! Накажите, как хотите, только не выгоняйте из колонии.

— А что для тебя в колонии интересно?

— Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что всегда жрать хочется.

— Ну, хорошо. Отсидишь три дня под замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать!

— Хорошо.

Трое суток отсидел Бурун в маленькой комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки. Запирать его я не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо отказаться, но я заорал на него:

— Какого черта, ломаться еще будешь!

Он улыбнулся, передернул плечами и взялся за ложку.

Бурун сдержал слово: он никогда потом ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте.

5. ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

В то время когда наши колонисты почти безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые относились к нему сугубо внимательно.

Главные из этих сил располагались на большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда бы на этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза, грабители без лишних разговоров запускали свободные от обрезов руки за пазухи жен, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали кнутовищами по холявам и удивлялись:

— Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное место, жинкам за пазуху, а они — смотри! — за пазуху и полезли.

Такое, так сказать, коллективное ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и выразительно описывали нам происшествие. Я собирал свою армию, вооружал ее дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. Но только один раз поиски наши увенчались успехом: в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них все-таки удалось схватить и привести в колонию. У него не нашлось ни обреза, ни награбленного, и он отрицал все на свете. Переданный нами в губрозыск, он оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена благодарность.

Но и после этого грабежи на большой дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых» ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги, в кустах — мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасное утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колонистскую жизнь вытаращенными глазами.

Колонисты ко всем этим явлениям относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну. Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот-вот в колонию ворвется грабительская шайка и начнется резня. Особенно перепуганы были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить.

В конце февраля наша подвода, ползущая с обычной скоростью из города с кое-каким добром, была остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и сахарный песок,— вещи, почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины Ивановича, кро-

ме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по голове, он свалился в снег и пролежал в нем, пока грабители не скрылись. Гуд, все время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в колонию, и Калина Иванович и Гуд разразились длинными рассказами. Калина Иванович описывал события в красках драматических, Гуд — в красках комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать навстречу нашей подводе отряд колонистов.

Мы так и делали в течение двух лет. Эти походы на дорогу назывались у нас по-военному: «Занять дорогу».

Отправлялось человек десять. Иногда и я входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым. Только Задоров получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих лохмотьев.

Дежурство на большой дороге было очень интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию. Хлопцы мерзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы останавливались у самого моста и ожидали новых путников.

При мне колонисты никогда не хулиганили и не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер отдавал все же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения.

Когда показывался наш Малыш, мы его встречали криком:

— Стой! Руки вверх!

Но Калина Иванович только улыбался и с особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная формула:

— Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и выкрэсав.

Наш отряд постепенно сворачивался за Малышом и веселой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о разных продовольственных новостях.

Этою же зимою мы приступили и к другим операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим штатом не управляется.

Охрана государственного леса очень подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу и, наконец, приносила значительные выгоды.

Ночь. Скоро утро, но еще совершенно темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова.

— В чем дело?

— Антон Семенович, в лесу рубят!

Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители ночных похождений — Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо безгрешное.

Бурун забирает у меня из рук двустволку, и мы входим в лес.

— Где?

— А вот послушайте...

Останавливаемся. Сначала я ничего не слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и звуков нашего дыхания — глухое биение рубки. Двигаемся вперед, наклоняемся, ветки молодых сосен царапают наши лица, сдергивают с моего носа очки и обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прерываются, мы теряем направление и терпеливо ждем. Вот они опять ожили, уже громче и ближе.

Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы не спугнуть вора. Бурун по-медвежьи ловко переваливается,

за ним семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я.

Наконец мы у цели. Притаились за сосновым стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания — подпоясанная фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку дулом вверх, смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился со мной и шепчет, повисая на моем плече:

— Можно? Уже можно?

Я киваю головой. Шелапутин дергает Буруна за рукав.

Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко раскатывается по лесу.

Человек с топором рефлективно присел. Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в его руках. Бурун весело приветствует:

— А-а, Мусий Карпович, доброго ранку!

Он треплет Мусия Карповича по плечу, но Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой дрожью и для чего-то стряхивает снег с левого рукава.

Я спрашиваю:

— Конь далеко?

Мусий Карпович по-прежнему молчит, отвечает за него Бурун:

— Да вон же и конь!.. Эй, кто там? Заворачивай!

Только теперь я различаю в сосновом переплете лошадиную морду и дугу.

Бурун берет Мусия Карповича под руку:

— Пожалуйте, Мусий Карпович, в карету скорой помощи.

Мусий Карпович, наконец, начинает подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и шепчет, ни на кого не глядя:

— Ох, ты ж, боже мой!..

Мы направляемся к саням.

Так называемые «рижнати» — сани медленно разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу. На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в огромной

шапке и сапогах. Он все время сморгает носом и вообще расстроен. Молчим.

При выезде на опушку леса Бурун берет вожжи из рук хлопца.

— Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як бы с грузом, так туды, а коли з батьком, так ось куды...

— На колонию? — спрашивает хлопец, но Бурун уже не отдает ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу дорогу.

Начинает светать.

Мусий Карпович вдруг через руку Буруна останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку.

— Антон Семенович, отпустите! Первый раз... Дров нэма... Отпустите!

Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей, но коня не погоняет, ждет, что я скажу.

— Э, нет, Мусий Карпович,— говорю я,— так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете, государственное.

— И не первый раз вовсе,— серебряным альтом встречает рассвет Шелапутин.— Не первый раз, а третий: один раз ваш Василь поймался, а другой...

Бурун перебивает музыку серебряного альта хриплым баритоном:

— Чего тут будем стоять? А ты, Андрию, лети домой, твое дело маленькое. Скажешь матери, что батько засыпался. Пускай передачу готовит.

Андрей в испуге сваливается с саней и летит к хутору. Мы трогаем дальше. При въезде в колонию нас встречает группа хлопцев.

— О! А мы думали, что вас там поубивали, хотели на выручку.

Бурун смеется:

— Операция прошла с головокружительным успехом.

В моей комнате собирается толпа. Мусий Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун — на окне, с ружьем, Шелапутин шепотом рассказывает товарищам жуткую историю ночной тревоги. Двое ребят сидят на моей постели, остальные — на скамьях, внимательно наблюдают процедуру составления акта.

Акт пишется с душераздирающими подробностями.

— Земли у вас двенадцать десятин? Коней трое?

— Та яки там кони? — стонет Мусий Карпович.— Там же лошичка... два роки тилько...

— Трое, трое,— поддерживает Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу.

Я пишу дальше:

— «...в отрубе шесть вершков...»

Мусий Карпович протягивает руки:

— Ну что вы, бог с вами, Антон Семенович! Де ж там шесть? Там же и четырех нэма.

Шелапутин вдруг отрывается от повествования шепотом, показывает руками нечто, равное полуметру, и нахально смеется в глаза Мусию Карповичу:

— Вот такое? Вот такое? Правда?

Мусий Карпович отмахивается от его улыбки и покорно следит за моей ручкой.

Акт готов. Мусий Карпович обиженно подает мне руку на прощание и протягивает руку Буруну, как самому старшему.

— Напрасно вы это, хлопцы, делаете: всем жить нужно.

Бурун перед ним расшаркивается:

— Нет, отчего же, всегда рады помочь...— Вдруг он вспоминает: — Да, Антон Семенович, а как же дерево?

Мы задумываемся. Действительно, дерево почти срублено, завтра его все равно дорубят и украдут. Бурун не ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает вконец расстроенному Мусию Карповичу:

— Коня приведем, не беспокойтесь. Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Веревка там есть, Мусий Карпович?

— До рижна [1] привязана.

Все расходятся. Через час в колонию привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в пользу колонии остается топор. Много воды утечет в нашей жизни, а во время взаимных хозяйственных расчетов долго еще будут говорить колонисты:

---

[1] Рижен — колышек на краю саней.

— Было три топора. Я тебе давал три топора. Два есть, а третий где?

— Какой «третий»?

— Какой? А Мусия Карповича, что тогда отобрали.

Не столько моральные убеждения и гнев, сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему имя — колония Горького.

6. ЗАВОЕВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО БАКА

Между тем наша колония понемногу начала развивать свою материальную историю. Бедность, доведенная до последних пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя наш тридцатилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем, настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того, голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы не ездили, а мучились с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался.

Наконец для сельского хозяйства не годилась самая почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре перекатывался дюнами.

И сейчас я не вполне понимаю, каким образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая тем не менее поставила нас на ноги.

Началось с анекдота.

Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в той

стороне нам до сего времени бывать ни разу не приходилось.

Сговорившись с двумя нашими соседями-хуторянами, мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили, «поплывэ чи не поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замерзшей речки.

Перебравшись через лед и поднявшись по какой-то аллейке в горку, мы очутились в мертвом царстве. До десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находились в развалинах. Все они были равны в своем разрушении: на местах печей лежали кучи кирпича и глины, запорошенные снегом; полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались только две продольные кирпичные стены, и над ними печально и глупо торчал в небе прекрасный, как будто только что окрашенный железный бак. Он один во всем имении производил впечатление чего-то живого, все остальное казалось уже трупом.

Но труп был богатый: в сторонке высился двухэтажный дом, новый, еще не облицованный, с претензией на стиль. В его комнатах, высоких и просторных, еще сохранились лепные потолки и мраморные подоконники. В другом конце двора — новенькая конюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей, стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в полном расцвете сил и здоровья.

Калина Иванович только крякал, глядя на все это богатство:

— Ты ж глянь, что тут делается: тут тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!..

Речка окружала имение с трех сторон, обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к реке тремя террасами: на верхней — вишни,

на второй — яблони и груши, на нижней — целые плантации черной смородины.

На втором дворе работала большая пятиэтажная мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оставив свои дома наполненными добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда же переходили и дома.

Калина Иванович разразился целой речью:

— Дикари, ты понимаешь, мерзавцы, адиоты! Тут вам такое добро — палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди, хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму сокирою бьешь. А почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того — нарубить дров... Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь, никакая революция ему не поможет... Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы проклятые!.. Ну, что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ,— обратился Калина Иванович к одному из мельничных,— а от кого это зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Все равно ж он тут пропадет без последствий.

— Бачок тот? А черт его знает! Тут сельсовет распоряжается...

— Ага! Ну, это хорошо,— сказал Калина Иванович, и мы отправились домой.

На обратном пути, шагая по накатанной предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался: как хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню.

Утром, отправляясь снова на рубку, Калина Иванович взял меня за пуговицу:

— Напиши, голубчик, бумажку этим самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет баня...

Чтобы доставить удовольствие Калине Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился взбешенный:

— Вот паразиты! Они смотрят только теорехтически, а не прахтически. Говорят, бак этот самый — чтоб

им пусто было! — государственная собственность. Ты видав таких адиотов? Напиши, я поеду в волисполком.

— Куда ты поедешь? Это же двадцать верст. На чем ты поедешь?

— А тут один человечек собирается, так я с ним и прокачусь.

Проект Калины Ивановича строить баню очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил.

— Давайте как-нибудь без бака этого. Можно деревянный устроить.

— Эх, ничего ты не понимаешь! Люди делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с мясом вырву...

— А на чем вы его довезете? На Малыше?

— Довезем! Было б корыто, а свиньи будут.

Из волисполкома Калина Иванович возвратился еще злее и забыл все слова, кроме ругательных.

Целую неделю он, под хохот колонистов, ходил вокруг меня и клянчил:

— Напиши бумажку в уисполком.

— Отстань, Калина Иванович, есть другие дела, важнее твоего бака.

— Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе бумаги жалко, чи што? Напиши,— вот увидишь, привезу бак.

И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Засовывая ее в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся:

— Не может того быть, чтобы такой дурацкий закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время.

Из уисполкома Калина Иванович приехал поздно вечером и даже не зашел ни ко мне, ни в спальню. Только наутро он пришел в мою комнату и был надменно-холоден, аристократически подобран и смотрел через окно в какую-то далекую даль.

— Ничего не выйдет,— сказал он сухо, протягивая мне бумажку.

Поперек нашего обстоятельного текста на ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного безапелляционно:

«О т к а з а т ь».

Калина Иванович страдал длительно и страстно. Недели на две исчезло куда-то его милое старческое оживление.

В ближайший воскресный день, когда уже здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились... в имение Трепке.

— А не устроить ли нам здесь нашу колонию? — задумался я вслух.

— Где «здесь»?

— Да вот в этих домах.

— Так как же? Тут же нельзя жить...

— Отремонтируем.

Задоров залился смехом и пошел штопором по двору.

— У нас вон еще три дома не отремонтированы. Всю зиму не могли собраться.

— Ну, хорошо, а если бы все-таки отремонтировать?

— О, тут была б колония! Речка ж и сад, и мельница.

Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, это классы.

Возвратились домой уставшие и энергичные. В спальне шумно обсуждали подробности и детали будущей колонии. Перед тем как расходиться, Екатерина Григорьевна сказала:

— А знаете что, хлопцы, нехорошо это — заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по-большевистски.

В спальне неловко притихли.

Я с остервенением глянул в лицо Екатерины Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал:

— А я вам говорю: через месяц это имение будет наше! По-большевистски это будет?

Хлопцы взорвались хохотом и закричали «ура». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна.

Целую ночь я просидел над докладом в губисполком.

Через неделю меня вызвал завгубнаробразом.

— Хорошо придумали,— поедем, посмотрим.

Еще через неделю наш проект рассматривался в губисполкоме. Оказалось, что судьба имения давно беспокоила власть. А я имел случай рассказать о бедности, бес-

перспективности, заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив.

Предгубисполкома сказал:

— Там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без дела. Пускай берут.

И вот я держу в руках ордер на имение, бывшее Трепке, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Я стою среди спальни, я еще с трудом верю, что это не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, вихрь восторгов и протянутых рук.

— Дайте ж и нам посмотреть!

Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросаются с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно звенит:

— Это по-большевицкому или по-какому? Вот теперь скажите.

— Что такое, что случилось?

— Это по-большевицкому? Смотрите, смотрите!..

Больше всех радовался Калина Иванович:

— Ты молодец, ибо, як там сказано у попов: просите — и обрящете, толцыте — и отверзется, и дастся вам...

— По шее,— сказал Задоров.

— Как же так «по шее»? — обернулся к нему Калина Иванович.— Вот же ордер.

— Это вы «толцыте» за баком, и вам дали по шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то что мы выпросили...

— Ты еще молод разбираться в писании,— пошутил Калина Иванович, так как сердиться в эту минуту он не мог.

В первый же воскресный день он со мной и толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он важно прошелся мимо бака.

— Когда же бак перевозить, Калина Иванович? — серьезно спросил Бурун.

— А на что его, паразита, перевозить? Он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по последнему слову заграничной техники.

7. «НИ ОДНА БЛОХА НЕ ПЛОХА»

Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепке не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший нашу колонию от имения Трепке, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собою новое стихийное бедствие: непролазную, непроезжую грязь.

Поэтому «Трепке», как у нас тогда называли новое приобретение, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам, после завтрака, ожидая звонка на работу, они рядком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях.

Звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раздругой повернуться каким-нибудь боком к солнцу.

В начале апреля убежал Васька Полещук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в наробразе на такую картину: толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой-то специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в Краснодар, где обещали поместить в школу.

— Чего ты кричишь? — спросил я его.

— Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим...

— Слышал. Довольно кричать, едем со мной.

— На чем едем?

— На своих двоих. Запрягай!

— Ги-ги-ги!..

Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных. Но от него веяло большой энергией, и я подумал: «Да все равно: ни одна блоха не плоха...»

Дефективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогою он рассказал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали его Васька Полещук. По его словам, он был человек «ранетый» — участвовал во взятии Перекопа.

В колонии на другой же день он замолчал, и никому — ни воспитателям, ни хлопцам не удавалось его разговорить. Вероятно, подобные явления и побудили ученых признать Полещука сумасшедшим.

Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы: нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще я жалел, что взял этого молчальника в колонию.

Вдруг Полещук заговорил, заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли и солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной Армии и о командире Зубате.

— Вот был человек! Глаза такие, аж синие, такие черные, как глянет, так аж в животе холодно. Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно.

— Что ты все о Зубате рассказываешь? — спрашивают ребята.— Ты его адрес знаешь?

— Какой адрес?

— Адрес, куда ему писать, ты знаешь?

— Нет, не знаю. А зачем ему писать? Я поеду в город Николаев, там найду...

— Да ведь он тебя прогонит...

— Он меня не прогонит. Это другой меня прогнал. Говорит: нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок?

Целыми днями Полещук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерной бранью.

Ребята прямо спрашивали:

— Подрывать собираешься?

Полещук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго, и когда о нем уже забывали и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормошил задавшего вопрос:

— Антон будет сердиться?

— За что?

— А вот если я подорву?

— А ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться!..

Васька опять задумывался.

И однажды после завтрака прибежал ко мне Шелапутин.

— Васьки в колонии нету... И не завтракал — подорвал. Поехал к Зубате.

На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки.

— Полещук-таки дернул...

— Весной запахло...

— В Крым поехал...

— Не в Крым, а в Николаев...

— Если пойти на вокзал, можно поймать...

И незавидный был колонист Васька, а побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жертвы, пошел искать лучшего. И знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не может.

Ребятам я сказал:

— Ну и черт с ним! Ушел — и ушел. Есть дела поважнее.

В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях: ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Кали-

на Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощенного булыжником двора,— ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии.

В колонии Калину Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие:

— Смотри ж ты мине! Это тебе не то, как вы один з одним обращаетесь! Это животная,— она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досаждать, и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семеновичу не ходи. Хочь — плачь, хочь — не плачь, я тебе все равно споймаю. И голову провалю.

Мы стояли вокруг этой торжественной группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожающих башке Гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитанна.

Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии.

И вот благословенная картина: Бурун с Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил:

— Ах, паразиты, и пахать не умеют: вот тебе огрих, вот огрих, вот огрих...

Хлопцы добродушно огрызались:

— А вы бы сами показали, Калина Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали.

Калина Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо:

— Кто, я не пахав? Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихив наделав, а ты не понимаешь.

Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего.

Он пристроился к Гуду в качестве добровольного помощника по конюшне.

В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительные души кузнечно-слесарной эрудицией Софрон Головань.

Софрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивши и никогда не бывал пьян, обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом: у него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Софрона стояла на самом харьковском шляху, рядом с постоялым двором, и в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Голованей.

В колонию Софрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент. Сама кузница была в полуразрушенном состоянии, но Софрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на помощь.

Недоумение мое разрешил на «вечернем докладе» Калина Иванович.

Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал:

— А этот паразит Софрон недаром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали, а тут он, знаешь, как будто на совецькой службе будет считаться.

— Что же нам с ним делать? — спросил я Калину Ивановича.

— А что ж нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А струмент? И квартир у нас нету, а если и есть какая халупа, так и столярей же нужно звать. И знаешь,— прищурился Калина Иванович,— нам што:

хочь рыжа, хочь кирпата, абы хата богата. Што ж с того, што он кулак?.. Работать же он будет все равно, как и настоящий человек.

Калина Иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался:

— Мужики эти, паразиты, все равно у него отберут кузню, а толк какой с того? Все равно проведуть без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, а Софрону все равно пропадать. Подождем малость — дадим ему по шапке: у нас совецькая учреждения, а ты што ж, сукин сын, мироедом був, кровь человеческую пил, хе-хе-хе!..

Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать, инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы,— а их было не мало,— сначала тоже не радовали нас. Софрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в советском государстве. Жалованье его как инструктора выражалось в цифрах ничтожных: в день получки Софрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе-самогонщице с приказом:

— Три бутылки первака.

Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой, из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка.

Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое принесла с собою кузница. В восемь часов в колонии раздавался веселый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчало два-три селянина, говорили о хозяйских делах,

о продразверстке, о председателе комнезама Верхоле, о кормах и о сеялке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости.

Софрон предложил сделать для нас шарабан. В неистощимых на всякий хлам сараях колонии нашелся какой-то кузов. Калина Иванович привез из города пару осей. По ним в течение двух дней колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец Софрон заявил, что шарабан готов, но нужны рессоры и колеса. Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калина Иванович отправился в длительное путешествие в глубь страны. Он ездил целую неделю, привез две пары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных впечатлений, среди них главное было:

— От некультурный народ — эти мужики!

Софрон привел с хутора Козыря. Козырю было сорок лет, он осенял себя крестным знамением при всяком подходящем случае, был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из сумасшедшего дома и досмерти дрожал при упоминании имени собственной супруги, которая и была виновницей неправильного диагноза губернских психиатров. Козырь был колесник. Он страшно обрадовался нашему предложению сделать для нас четыре колеса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки подвижничества подтолкнули его на чисто деловое предложение:

— Знаете что, товарищи, спаси господи, позвали меня, старика, знаете, что я вам скажу? Я у вас тут и жить буду.

— Так у нас же негде.

— Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, я найду, и господь-бог поможет. Теперь лето, а на зиму соберемся какнибудь, вон в том сарайчике я устроюсь, я хорошо устроюсь...

— Ну, живите.

Козырь закрестился и немедленно расширил деловую сторону вопроса:

— Ободьев мы достанем. То Калина Иванович не знали, а я все знаю. Сами привезут, сами привезут мужички, вот увидите, господь нас не оставит.

— Да нам же больше не нужно, дядя.

— Как «не нужно», как «не нужно», спаси бог?.. Вам не нужно, так людям нужно: как же может мужичок без колеса? Продадите — заработаете, мальчикам на пользу будет.

Калина Иванович рассмеялся и поддержал домогательство Козыря:

— Да черт с ним, нехай останется. В природе, знаешь, все так хорошо устроено, что и человек на что-нибудь пригодится.

Козырь сделался общим любимцем колонистов. К его религиозности относились как к особому виду сумасшествия, очень тяжелого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже больше: Козырь сыграл определенно положительную роль в воспитании отвращения к религии.

Он поселился в небольшой комнате возле спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги, которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни. Козыриха появлялась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов, советскую власть и «этого босяка» Софрона в разрушении ее семейного счастья. Хлопцы с нескрываемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в мужья не годится, что производство колес — гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам Козырь в это время сидел, притаившись, в своей комнатке и терпеливо ожидал, когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги раздавался уже за озером и от посылаемых ею пожеланий долетали только отдаленные обрывки: «...сыны... чтоб вам... вашу голову...», только тогда Козырь появлялся на сцене:

— Спаси Христос, сынки! Такая неаккуратная женщина...

Несмотря на столь враждебное окружение, колесная мастерская начинала приносить доход. Козырь, букваль-

но при помощи одного крестного знамения, умел делать солидные коммерческие дела; к нам без всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в том, что он действительно был замечательный колесник, и его продукция славилась далеко за пределами нашего района.

Наша жизнь стала сложнее и веселее. Калина Иванович все-таки посеял на нашей поляне десятин пять овса, в конюшне красовался Рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого была его невиданная вышина: он поднимался над землей не меньше как на сажень, и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан лошадь помещается хотя и впереди, но где-то далеко внизу.

Мы развили настолько напряженную деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось наскоро отремонтировать еще одну спальню-казарму, и скоро к нам прибыло подкрепление. Это был совершенно новый сорт.

К тому времени ликвидировалось многое число атаманов и батьков, и все несовершеннолетние соратники разных Левченок и Марусь, военная и бандитская роль которых не шла дальше обязанностей конюхов и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря именно этому историческому обстоятельству в колонии появились имена: Карабанов, Приходько, Голос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие.

8. ХАРАКТЕР И КУЛЬТУРА

Приход новых колонистов сильно расшатал наш некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к «малине».

Наши первые воспитанники были приведены в порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи отечественного анархизма еще менее склонны были подчиняться какому бы то ни было порядку. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и хулиганство по отношению к воспитательскому персоналу в колонии никогда не возрождалось. Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие умели сообщить

новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые и новые колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский персонал не является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого настроения, безусловно, лежала в работе наших воспитателей, настолько самоотверженной и, очевидно, трудной, что она естественно вызывала к себе уважение. Поэтому колонисты, за очень редким исключением, всегда были в хороших отношениях с нами, признавали необходимость работать и заниматься в школе, в сильной мере понимали, что все это вытекает из общих наших интересов. Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических формах и никогда не принимали формы протеста.

Мы отдавали себе отчет в том, что все это благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за ним не скрывается никакая, даже самая первоначальная культура.

Вопрос, почему колонисты продолжают жить в условиях нашей бедности и довольно тяжелого труда, почему они не разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921 год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не была в списке голодающих, но в самом городе все же было очень сурово и, пожалуй, голодно. Кроме того, в первые годы мы почти не получали квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большею частью наши ребята были дети из семьи, только недавно порвавшие с нею связь.

Хлопцы наши представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно, почти все привыкли к грязи и вшам, по отношению к другим людям у них выработалась постоянная защитно-угрожающая поза примитивного героизма.

Выделялись из всей этой толпы несколько человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун, Ветковский, Братченко, а из вновь прибывших — Карабанов и Митягин, остальные только очень постепен-

но и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям человеческой культуры, тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее.

В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма, не корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них побывали в классово враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было, пролетариат был для них чем-то далеким и неизвестным, к крестьянскому труду большинство относилось с глубоким презрением, не столько, впрочем, к труду, сколько к отсталому крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей припадочной в своем одиночестве личности.

Картина, в общем, была тягостная, но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе, и эти зачатки во что бы то ни стало нужно было спасти, нельзя было новым пополнениям позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что, если бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно было быть неисправимым оптимистом.

Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние.

Вот идет все как будто благополучно. Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса, сидит еще Калина Иванович и по обыкнове-

нию занимается каким-нибудь обобщением, торчит кто-нибудь из любопытных колонистов, у дверей Братченко с Гудом приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражным, и вдруг с криком врывается пацан:

— В спальне хлопцы режутся!

Я — бегом из комнаты. В спальне содом и крик. В углу две зверски ощерившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки перемешиваются с головокружительной руганью; кто-то кого-то «двигает» в ухо, Бурун отнимает у одного из героев финку, а издали ему кричат:

— А ты чего мешаешься? Хочешь получить мою расписку?

На кровати, окруженный толпой сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезанную руку.

Я никогда не разнимал дерущихся, не старался их перекричать.

За моей спиной Калина Иванович испуганно шепчет:

— Ой, скорийше, скорийше, голубчику, бо вони ж, паразиты, порежут один одного...

Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают. Быстро наступающая тишина приводит в себя и самых разъяренных. Прячутся финки, и опускаются кулаки, гневные и матерные монологи прерываются на полуслове. Но я продолжаю молчать: внутри меня самого закипают гнев и ненависть ко всему этому дикому миру. Это — ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю: сегодня не последний день.

Наконец в спальне устанавливается жуткая, тяжелая тишина, утихают даже глухие звуки напряженного дыхания.

Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и в приступе настоящей злобы и в совершенно сознательной уверенности, что так нужно:

— Ножи на стол! Да скорее, черт!..

На стол выкладываются ножи: финки, кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые, изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне. Возле стола стоит и улыбается Задоров, прелестный, милый Задоров, который сейчас кажется мне

единственным родным, близким человеком. Я еще коротко приказываю:

— Кистени!

— Один у меня, я отнял,— говорит Задоров.

Все стоят, опустив головы.

— Спать!..

Я не ухожу из спальни, пока все не укладываются.

На другой день ребята стараются не вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем.

Проходит месяц-другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких-то тайных углах слабо чадят, и если пытаются разгореться, то быстро притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять разъяренные, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за другом.

В один из вечеров я увидел, что мне необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я приказываю Чоботу, одному из самых неугомонных рыцарей финки, идти в мою комнату. Он покорно бредет. У себя я ему говорю:

— Тебе придется оставить колонию.

— А куда я пойду?

— Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Сегодня ты из-за того, что товарищ не уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место, где споры разрешаются ножом.

— Когда мне идти?

— Завтра утром.

Он угрюмо уходит. Утром, за завтраком, все ребята обращаются ко мне с просьбой: пусть Чобот останется, они за него ручаются.

— Чем ручаетесь?

Не понимают.

— Чем ручаетесь? Вот если он все-таки возьмет нож, что вы тогда будете делать?

— Тогда вы его выгоните.

— Значит, вы ничем не ручаетесь? Нет, он пойдет из колонии.

Чобот после завтрака подошел ко мне и сказал:

— Прощайте, Антон Семенович, спасибо за науку...

— До свиданья, не поминай лихом. Если будет трудно, приходи, но не раньше как через две недели.

Через месяц он пришел, исхудавший и бледный.

— Я вот пришел, как вы сказали.

— Не нашел такого места?

Он улыбнулся.

— Отчего «не нашел»? Есть такие места... Я буду в колонии, я не буду брать ножа в руки.

Колонисты любовно встретили нас в спальне:

— Все-таки простили! Мы ж говорили.

9. «ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЫЦАРИ НА УКРАИНЕ»

В один из воскресных дней напился Осадчий. Его привели ко мне потому, что он буйствовал в спальне. Осадчий сидел в моей комнате и, не останавливаясь, нес какую-то пьяно-обиженную чепуху. Разговаривать с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и приказал ложиться спать. Он покорно заснул.

Но, войдя в спальню, я услышал запах спирта. Многие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. Я не хотел подымать историю с розыском виновных и только сказал:

— Не только Осадчий пьян. Еще кое-кто выпил.

Через несколько дней в колонии снова появились пьяные. Часть из них избегала встречи со мной, другие, напротив, в припадке пьяного раскаяния приходили ко мне, слезливо болтали и признавались в любви.

Они не скрывали, что были в гостях на хуторе.

Вечером в спальне поговорили о вреде пьянства, провинившиеся дали обещание больше не пить, я сделал вид, будто до конца доволен развязкой, и даже не стал никого наказывать. У меня уже был маленький опыт, и я хорошо знал, что в борьбе с пьянством нужно бить не по колонистам — нужно бить кого-то другого. Кстати, и этот другой был недалеко.

Мы были окружены самогонным морем. В самой колонии очень часто бывали пьяные из служащих и крестьян. В это же время я узнал, что Голованы посылал ребят за самогоном. Голованы и не отказывался:

— Да что ж тут такого?

Калина Иванович, который сам никогда не пил, раскричался на Голованя:

— Ты понимаешь, паразит, что значит советская власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы ты самогоном наливался?

Головань неловко поворачивался на шатком и скрипучем стуле и оправдывался:

— Да что ж тут такого? Кто не пьет, спросите... У всякого аппарат, и каждый пьет, сколько ему по аппетиту. Пускай советская власть сама не пьет...

— Какая советская власть?

— Да кажная. И в городе пьют, и у хохлов пьют.

— Вы знаете, кто здесь продает самогонку? — спросил я у Софрона.

— Да кто его знает, я сам никогда не покупал. Нужно — пошлешь кого-нибудь. А вам на что? Отбирать будете?

— А что же вы думаете? И буду отбирать...

— Хе, сколько уже милиция отбирала, и то ничего не вышло.

На другой же день я в городе добыл мандат на беспощадную борьбу с самогоном на всей территории нашего сельсовета. Вечером мы с Калиной Ивановичем совещались. Калина Иванович был настроен скептически:

— Не берись ты за это грязное дело. Я тебе скажу, тут у них лавочка: председатель свой, понимаешь, Гречаный. А на хуторах, куда ни глянь, все Гречаные да Гречаные. Народ, знаешь, того, на конях не пашут, а все — волики. От ты посчитай: Гончаровка у них вот где! — Калина Иванович показал сжатый кулак.— Держуть, паразиты, и ничего не сделаешь.

— Не понимаю, Калина Иванович. А при чем тут самогонка?

— Ой, и чудак же ты, а еще освиченный человек! Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не чипай, а то заедят. Заедят, понимаешь?

В спальне я сказал колонистам:

— Хлопцы, прямо говорю вам: не дам пить никому. И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне помочь?

Большинство замялось, но другие накинулись на мое предложение со страстью. Карабанов сверкал черными огромными, как у коня, глазами:

— Это дуже хорошее дело. Дуже хорошее. Этих граков нужно трохи той... прижмать.

Я пригласил на помощь троих: Задорова, Волохова и Таранца. Поздно ночью в субботу мы приступили к составлению диспозиции. Вокруг моего ночника склонились над составленным мною планом хутора, и Таранец, запустивши руки в рыжие патлы, водил по бумаге веснушчатым носом и говорил:

— Нападем на одну хату, так в других попрячут. Троих мало.

— Разве так много хат с самогоном?

— Почти в каждой: у Мусия Гречаного варят, у Андрия Карповича варят, и у самого председателя Сергия Гречаного варят. Верхолы, так они все делают, и в городе бабы продают. Надо больше хлопцев, а то, знаете, понабивают нам морды — и все.

Волохов молча сидел в углу и зевал.

— Понабивают — как же! Возьмем одного Карабанова, и довольно. И пальцем никто не тронет. Я этих граков знаю. Они нашего брата боятся.

Волохов шел на операцию без увлечения. Он и в это время относился ко мне с некоторым отчуждением: не любил парень дисциплины. Но он был сильно предан Задорову и шел за ним, не проверяя никаких принципиальных положений.

Задоров, как всегда, спокойно и уверенно улыбался; он умел все делать, не растрачивая своей личности и не обращая в пепел ни одного грамма своего существа. И, как и всегда, я никому так не верил, как Задорову: так же, не растрачивая личности, Задоров может пойти на любой подвиг, если к подвигу его призовет жизнь.

И сейчас он сказал Таранцу:

— Ты не егози, Федор, говори коротко, с какой хаты начнем и куда дальше. А завтра видно будет. Карабанова нужно взять, это верно, он умеет с граками разговаривать, потому что и сам грак. А теперь идем спать, а то завтра нужно выходить пораньше, пока на хуторах не перепились. Так, Грицько?

— Угу,— просиял Волохов.

Мы разошлись. По двору гуляли Лидочка и Екатерина Григорьевна, и Лидочка сказала:

— Хлопцы говорят, что пойдете самогонку трусить? Ну, на что это вам сдалось? Что это, педагогическая работа? Ну на что это похоже?

— Вот это и есть педагогическая работа. Пойдемте завтра с нами.

— А что ж, думаете, испугалась? И пойду. Только это не педагогическая работа...

— Так вы идете?

— Иду.

Екатерина Григорьевна отозвала меня в сторону:

— Ну для чего вы берете этого ребенка?

— Ничего, ничего,— закричала Лидия Петровна,— я все равно пойду!

Таким образом у нас составилась комиссия из пяти человек.

Часов в семь утра мы постучали в ворота Андрия Карповича Гречаного, ближайшего нашего соседа. Наш стук послужил сигналом для сложнейшей собачьей увертюры, которая продолжалась минут пять.

Только после увертюры началось самое действие, как и полагается.

Оно началось выходом на сцену деда Андрия Гречаного, мелкого старикашки с облезлой головой, но сохранившего аккуратно подстриженную бородку. Дед Андрий спросил нас неласково:

— Чего тут добиваетесь?

— У вас есть самогонный аппарат, мы пришли его уничтожить,— сказал я.— Вот мандат от губмилиции...

— Самогонный аппарат? — спросил дед Андрий растерянно, бегая острыми взглядами по нашим лицам и живописным одеждам колонистов.

Но в этот момент бурно вступил фортиссимо собачий оркестр, потому что Карабанов успел за спиной деда продвинуться ближе к заднему плану и вытянуть предусмотрительно захваченным «дрючком» рыжего кудлатого пса, ответившего на это выступление оглушительным соло на две октавы выше обыкновенного собачьего голоса.

Мы бросились в прорыв, разгоняя собак. Волохов закричал на них властным басом, и собаки разбежались по углам двора, оттеняя дальнейшие события маловыразительной музыкой обиженного тявканья. Карабанов был

уже в хате, и когда мы туда вошли с дедом, он победоносно показывал нам искомое: самогонный аппарат.

— Ось! [1]

Дед Андрий топтался по хате и блестел, как в опере, новеньким молескиновым пиджачком.

— Самогон вчера варили? — спросил Задоров.

— Та вчера,— сказал дед Андрий, растерянно почесывая бородку и поглядывая на Таранца, извлекающего из-под лавки в переднем углу полную четверть розовато-фиолетового нектара.

Дед Андрей вдруг обозлился и бросился к Таранцу, оперативно правильно рассчитывая, что легче всего захватить его в тесном углу, перепутанном лавками, иконами и столом. Таранца он захватил, но четверть через голову деда спокойно принял Задоров, а деду досталась издевательски открытая, обворожительная улыбка Таранца:

— А что такое, дедушка?

— Як вам не стыдно! — с чувством закричал дед Андрий.— Совести на вас нету, по хатам ходите, грабите! И дивча с собою привели. Колы вже покой буде людям, колы вже на вас лыха годына посядэ?..

— Э, да вы, диду, поэт,— сказал с оживленной мимикой Карабанов и, подпершись дрючком, застыл перед дедом в декоративно-внимательной позе.

— Вон из моей хаты! — закричал дед Андрий и, схвативши у печи огромный рогач, неловко стукнул им по плечу Волохова.

Волохов засмеялся и поставил рогач на место, показывая деду новую деталь событий:

— Вы лучше туда гляньте.

Дед глянул и увидел Таранца, слезающего с печи со второй четвертью самогона, улыбающегося по-прежнему искренно и обворожительно. Дед Андрий сел на лавку, опустил голову и махнул рукой.

К нему подсела Лидочка и ласково заговорила:

— Андрию Карповичу! Вы ж знаете: запрещено ж законом варить самогонку. И хлеб же на это пропадает, а кругом же голод, вы же знаете.

---

[1] Ось — вот.

— Голод у ледаща [1]. А хто робыв, у того не буде голоду.

— А вы, диду, робылы? — звонко и весело спросил Таранец, сидя на печи.— А може, у вас робыв Степан Нечипоренко?

— Степан?

— Ага ж, Степан. А вы его выгнали и не заплатили и одежи не далы, так он в колонию просится.

Таранец весело щелкнул языком на деда и соскочил с печи.

— Куда все это девать? — спросил Задоров.

— Разбейте все на дворе.

— И аппарат?

— И аппарат.

Дед не вышел на место казни,— он остался в хате выслушивать ряд экономических, психологических и социальных соображений, которые с таким успехом начала перед ним развивать Лидия Петровна. Хозяйские интересы на дворе представляли собаки, сидевшие по углам, полные негодования. Только когда мы выходили на улицу, некоторые из них выразили запоздавший бесцельный протест.

Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал из хаты:

— Идите с нами, а то дед Андрий из вас колбас наделает...

Лидочка выбежала, воодушевленная беседой с дедом Андрием:

— А вы знаете, он все понял! Он согласился, что варить самогон — преступление.

Хлопцы ответили смехом. Карабанов прищурился на Лидочку:

— Согласился? От здорово! Як бы вы посидели с ним подольше, то он и сам разбил бы аппарат? Правда ж?

— Скажите спасибо, что бабы его дома не было,— сказал Таранец,— до церкви пошла, в Гончаровку. Про то вам еще с Верхолыхой поговорить придется.

Лука Семенович Верхола часто бывал в колонии по разным делам, и мы иногда обращались к нему по нужде: то хомут, то бричка, то бочка. Лука Семенович был

---

[1] Ледащ — лодырь.

талантливейший дипломат, разговорчивый, услужливый и вездесущий. Он был очень красив и умел холить курчавую ярко-рыжую бороду. У него было три сына: старший, Иван, был неотразим на пространстве радиусом десять километров, потому что играл на трехрядной венской гармонике и носил умопомрачительные зеленые фуражки.

Лука Семенович встретил нас приветливо:

— А, соседи дорогие! Пожалуйте, пожалуйте! Слышал, слышал, самовары шукаете? Хорошее дело, хорошее дело. Сидайте! Молодой человек, сидайте ж на ослони ось. Ну, как? Достали каменщиков для Трепке? А то я завтра поеду на Бригадировку, так привезу вам. Ох, знаете, и каменщики ж!.. Та чего ж вы, молодой человек, не сидаете? Та нэма в мене аппарата, нэма, я таким делом не займаюсь! Низзя! Что вы... как можно! Раз совецкая власть сказала — низзя, я ж понимаю, как же... Жинко, ты ж там не барыся,— дорогие ж гости!

На столе появилась миска, до краев полная сметаны, и горка пирогов с творогом. Лука Семенович упрашивал, не лебезил, не унижался. Он ворковал приветливым открытым басом, у него были манеры хорошего хлебосольного барина. Я заметил, как при виде сметаны дрогнули сердца колонистов: Волохов и Таранец глаз не могли отвести от дорогого угощения. Задоров стоял у двери и, краснея, улыбался, понимая полную безвыходность положения. Карабанов сидел рядом со мной и, улучив подходящий момент, шептал:

— От и сукин же сын!.. Ну, що ты робытымешь! Ий-богу, прыйдется исты. Я не вдержусь, ий-богу, не вдержусь!

Лука Семенович поставил Задорову стул:

— Кушайте, дорогие соседи, кушайте! Можно было б и самогончику достать, так вы ж по такому делу...

Задоров сел против меня, опустил глаза и закусил полпирога, обливая свой подбородок сметаной; у Таранца до самых ушей протянулись сметанные усы; Волохов пожирал пирог за пирогом без видимых признаков какой-либо эмоции.

— Ты еще подсыпь пирогов,— приказал Лука Семенович жене.— Сыграй, Иване...

— Та в церкви ж служиться,— сказала жинка.

— Это ничего,— возразил Лука Семенович,— для дорогих гостей можно.

Молчаливый, гладкий красавец Иван заиграл «Светит месяц». Карабанов лез под лавку от смеха:

— От так попали в гости!..

После угощения разговорились. Лука Семенович с великим энтузиазмом поддерживал наши планы в имении Трепке и готов был прийти на помощь всеми своими хозяйскими силами:

— Вы не сидить тут, в лесу. Вы скорийше туды перебирайтесь, там хозяйского глазу нэма. И берить мельницу, берить мельницу. Этой самый комбинат — он не уметь этого дела руководить. Мужики жалуются, дуже жалуются. Надо бывает крупчатки змолоть на пасху, на пироги ж, так месяц целый ходишь-ходишь, не добьешься. Мужик любит пироги исты, а яки ж пироги, когда нету самого главного — крупчатки?

— Для мельницы у нас еще пороху мало,— сказал я.

— Чего там «мало»? Люди ж помогут... Вы знаете, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят: вот хороший человек.

В этот лирический момент в дверях появился Таранец, и в хате раздался визг перепуганной хозяйки. У Таранца в руках была половина великолепного самогонного аппарата, самая жизненная его часть — змеевик. Как-то мы и не заметили, что Таранец оставил нашу компанию.

— Это на чердаке,— сказал Таранец,— там и самогонка есть. Еще теплая.

Лука Семенович захватил бороду кулаком и сделался серьезен — на самое короткое мгновение. Он сразу же оживился, подошел к Таранцу и остановился против него с улыбкой. Потом почесал за ухом и прищурил на меня один глаз:

— С этого молодого человека толк будет. Ну, что ж, раз такое дело, ничего не скажу, ничего... и даже не обижаюсь. Раз по закону, значить — по закону. Поломаете, значить? Ну что ж... Иван, ты им помоги...

Но Верхолыха не разделила лойяльности своего мудрого супруга. Она вырвала у Таранца змеевик и закричала:

— Та хто вам дасть, хто вам дасть ломать?! Зробите, а тоди — ломайте! Босяки чертови, иды, бо як двыну по голови...

Монолог Верхолыхи оказался бесконечно длинен. Притихшая до того в переднем углу Лидочка пыталась открыть спокойную дискуссию о вреде самогона, но Верхолыха обладала замечательными легкими. Уже были разбиты бутылки с самогоном, уже Карабанов железным ломом доканчивал посреди двора уничтожение аппарата, уже Лука Семенович приветливо прощался с нами и просил заходить, уверяя, что он не обижается, уже Задоров пожал руку Ивана, и уже Иван что-то захрипел на гармошке, а Верхолыха все кричала и плакала, все находила новые краски для характеристики нашего поведения и для предсказания нашего печального будущего. В соседних дворах стояли неподвижные бабы, выли и лаяли собаки, прыгая на протянутых через дворы проволоках, и вертели головами хозяева, вычищая в конюшнях.

Мы выскочили на улицу, и Карабанов повалился на ближайший плетень.

— Ой, не можу, ий-богу, не можу! От гости, так гости!.. Так як вона каже? Щоб вам животы попучило вид тией сметаны? Як у тебя с животом, Волохов?

В этот день мы уничтожили шесть самогонных аппаратов. С нашей стороны потерь не было. Только выходя из последней хаты, мы наткнулись на председателя сельсовета, Сергея Петровича Гречаного. Председатель был похож на казака Мамая: примасленная черная голова и тонкие усы, закрученные колечками. Несмотря на свою молодость, он был самым исправным хозяином в округе и считался очень разумным человеком. Председатель крикнул нам еще издали:

— А ну, постойте!

Постояли.

— Драствуйте, с праздником... А как же это так, разрешите полюбопытствовать, на каком мандате основано такое самовольное втручение[1], что разбиваете у людей аппараты, которые вы права не имеете?

Он еще больше закрутил усы и пытливо рассматривал наши незаконные физиономии.

---

[1] Втручение — вмешательство.

Я молча протянул ему мандат на «самовольное втручение».

Он долго вертел его в руках и недовольно возвратил мне:

— Это, конечно, разрешение, но только и люди обижаются. Если так будет делать какая-то колония, тогда совецкой власти будет нельзя сказать, чтобы благополучно могло кончиться. Я и сам борюсь с самогонением.

— И у вас же аппарат есть,— сказал тихо Таранец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцеремонно исследовать председательское лицо.

Председатель свирепо глянул на оборванного Таранца:

— Ты! Твое дело — сторона. Ты кто такой? Колоньский? Мы это дело доведем до самого верху, и тогда окажется, почему председателя власти на местах без всяких препятствий можно оскорблять разным проступникам.

Мы разошлись в разные стороны.

Наша экспедиция принесла большую пользу. На другой день возле кузницы Задоров говорил нашим клиентам:

— В следующее воскресенье мы еще не так сделаем: вся колония — пятьдесят человек — пойдет.

Селяне кивали бородами и соглашались:

— Та оно, конешно, что правильно. Потому же и хлеб расходуется, и раз запрещено, так оно правильно.

Пьянство в колонии прекратилось, но появилась новая беда — картежная игра. Мы стали замечать, что в столовой тот или иной колонист обедает без хлеба, уборка или какая-нибудь другая из неприятных работ совершается не тем, кому следует.

— Почему сегодня ты убираешь, а не Иванов?

— Он меня попросил.

Работа по просьбе становилась бытовым явлением, и уже сложились определенные группы таких «просителей». Стало увеличиваться число колонистов, уклоняющихся от пищи, уступающих свои порции товарищам.

В детской колонии не может быть большего несчастья, чем картежная игра. Она выводит колониста из общей сферы потребления и заставляет его добывать дополнительные средства, а единственным путем для этого яв-

ляется воровство. Я поспешил броситься в атаку на этого нового врага.

Из колонии убежал Овчаренко, веселый и энергичный мальчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои расспросы, почему убежал, ни к чему не привели. На второй день я встретил его в городе на толкучке, но, как его ни уговаривал, он отказался возвратиться в колонию. Беседовал он со мной в полном смятении.

Карточный долг в кругу наших воспитанников считался долгом чести. Отказ от выплаты этого долга мог привести не только к избиению и другим способам насилия, но и к общему презрению.

Возвратившись в колонию, я вечером пристал к ребятам:

— Почему убежал Овчаренко?

— Откуда же нам знать?

— Вы знаете.

Молчание.

В ту же ночь, вызвав на помощь Калину Ивановича, я произвел общий обыск. Результаты меня поразили: под подушками, в сундучках, в коробках, в карманах у некоторых колонистов нашлись целые склады сахару. Самым богатым оказался Бурун: у него в сундуке, который он с моего разрешения сам сделал в столярной мастерской, нашлось больше тридцати фунтов. Но интереснее всего была находка у Митягина. Под подушкой, в старой барашковой шапке, у него было спрятано на пятьдесят рублей медных и серебряных денег.

Бурун чистосердечно и с убитым видом признался:

— В карты выиграл.

— У колонистов?

— Угу.

Митягин ответил:

— Не скажу.

Главные склады сахару, каких-то чужих вещей, кофточек, платков, сумочек хранились в комнате, в которой жили три наших девочки: Оля, Раиса и Маруся. Девочки отказались сообщить, кому принадлежат запасы. Оля и Маруся плакали, Раиса отмалчивалась.

Девушек в колонии было три. Все они были присланы комиссией за воровство в квартирах. Одна из них, Оля Воронова, вероятно, попалась случайно в неприят-

ную историю,— такие случайности часто бывают у малолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Соколова были очень развязны и распущенны, ругались и участвовали в пьянстве ребят и в картежной игре, которая главным образом и происходила в их комнате. Маруся отличалась невыносимо истеричным характером, часто оскорбляла и даже била своих подруг по колонии, с хлопцами тоже всегда была в ссоре по всяким вздорным поводам, считала себя «пропащим» человеком и на всякое замечание и совет отзывалась однообразно:

— Чего вы стараетесь? Я — человек конченый.

Раиса была очень толста, неряшлива, ленива и смешлива, но далеко не глупа и сравнительно образованна. Она когда-то была в гимназии, и наши воспитательницы уговаривали ее готовиться на рабфак. Отец ее был сапожником в нашем городе, года два назад его зарезали в пьяной компании, мать пила и нищенствовала. Раиса утверждала, что это не ее мать, что ее в детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, что Раиса фантазирует:

— Она скоро скажет, что ее папаша принц был.

Раиса и Маруся держали себя независимо по отношению к мальчикам и пользовались с их стороны некоторым уважением, как старые и опытные «блатнячки». Именно поэтому им были доверены важные детали темных операций Митягина и других.

С прибытием Митягина блатной элемент в колонии усилился и количественно и качественно.

Митягин был квалифицированный вор, ловкий, умный, удачливый и смелый. При всем том он казался чрезвычайно симпатичным. Ему было лет семнадцать, а может быть, и больше.

В его лице была неповторимая «особая примета» — ярко-белые брови, сложенные из совершенно седых густых пучков. По его словам, эта примета часто мешала успеху его предприятий. Тем не менее ему и в голову не приходило, что он может заняться каким-либо другим делом, кроме воровства. В самый день своего прибытия в колонию он очень свободно и дружелюбно разговаривал со мной вечером:

— О вас хорошо говорят ребята, Антон Семенович.

— Ну, и что же?

— Это славно. Если ребята вас полюбят, это для них легче.

— Значит, и ты меня должен полюбить.

— Да нет... я долго в колонии жить не буду.

— Почему?

— Да на что? Все равно буду вором.

— От этого можно отвыкнуть.

— Можно, да я считаю, что незачем отвыкать.

— Ты просто ломаешься, Митягин.

— Ни чуточки не ломаюсь. Красть интересно и весело. Только это нужно умеючи делать, и потом — красть не у всякого. Есть много таких гадов, у которых красть сам бог велел. А есть такие люди — у них нельзя красть.

— Это ты верно говоришь,— сказал я Митягину,— только беда главная не для того, у кого украли, а для того, кто украл.

— Какая же беда?

— А такая: привык ты красть, отвык работать, все тебе легко, привык пьянствовать, остановился на месте: босяк — и все. Потом в тюрьму попадешь, а там еще куда...

— Будто в тюрьме не люди. На воле много живет — хуже, чем в тюрьме. Этого не угадаешь.

— Ты слышал об Октябрьской революции?

— Как же не слышал! Я и сам походил за Красной гвардией.

— Ну вот, теперь людям будет житье не такое, как в тюрьме.

— Это еще кто его знает,— задумался Митягин.— Сволочей все равно до черта осталось. Они свое возьмут не так, так иначе. Посмотрите, кругом колонии какая публика! Ого!

Когда я громил картежную организацию колонии, Митягин отказался сообщить, откуда у него шапка с деньгами.

— Украл?

Он улыбнулся:

— Какой вы чудак, Антон Семенович!.. Да, конечно же, не купил. Дураков еще много на свете. Эти деньги все дураками снесены в одно место, да еще с поклонами отдавали толстопузым мошенникам. Так чего я буду смотреть? Лучше я себе возьму. Ну, и взял. Вот только

в вашей колонии и спрятать негде. Никогда не думал, что вы будете обыски устраивать...

— Ну, хорошо. Деньги эти я беру для колонии. Сейчас составим акт и заприходуем. Пока не о тебе разговор.

Я заговорил с ребятами о кражах:

— Игру в карты я решительно запрещаю. Больше вы играть в карты не будете. Играть в карты — значит обкрадывать товарища.

— Пусть не играют.

— Играют по глупости. У нас в колонии многие колонисты голодают, не едят сахара, хлеба. Овчаренко из-за этих самых карт ушел из колонии, теперь ходит — плачет, пропадает на толкучке.

— Да, с Овчаренко... это нехорошо вышло,— сказал Митягин.

Я продолжал:

— Выходит так, что в колонии защищать слабого товарища некому. Значит, защита лежит на мне. Я не могу допускать, чтобы ребята голодали и теряли здоровье только потому, что подошла какая-то дурацкая карта. Я этого не допущу. Вот и выбирайте. Мне противно обыскивать ваши спальни, но когда я увидел в городе Овчаренко, как он плачет и погибает, так я решил с вами не церемониться. А если хотите, давайте договоримся, чтобы больше не играть. Можете дать честное слово? Я вот только боюсь... насчет чести у вас, кажется, кишка тонка: Бурун давал слово...

Бурун вырвался вперед:

— Неправда, Антон Семенович, стыдно вам говорить неправду!.. Если вы будете говорить неправду, тогда нам... Я про карты никакого слова не давал.

— Ну, прости, верно, это я виноват, не догадался сразу с тебя и на карты взять слово, потом еще на водку...

— Я водки не пью.

— Ну, добре, кончено. Теперь как же?

Вперед медленно выдвигается Карабанов. Он неотразимо ярок, грациозен и, как всегда, чуточку позирует. От него несет выдержанной в степях воловьей силой, и он как будто ее нарочно сдерживает.

— Хлопцы, тут дело ясное. Товарищей обыгрывать нечего. Вы хоть обижайтесь, хоть что, я буду против

карт. Так и знайте, ни в чем не засыплю, а за карты засыплю, а то и сам возьму за вязы, трохы подержу. Потому что я бачив Овчаренко, когда он уходил,— можно сказать, человека в могилу загоняем: Овчаренко, сами знаете, без воровского хисту [1]. Обыграли его Бурун с Раисой. Я считаю: нехай идут и шукают, и пусть не приходят, пока не найдут.

Бурун горячо согласился.

— Только на биса мне Раиса? Я и сам найду.

Хлопцы заговорили все сразу. Всем было по сердцу найденное соглашение. Бурун собственноручно конфисковал все карты и бросил в ведро. Калина Иванович весело отбирал сахар:

— Вот спасибо! Экономию сделали.

Из спальни меня проводил Митягин:

— Мне уйти из колонии?

Я ему грустно ответил:

— Нет, чего ж, поживи еще.

— Все равно красть буду.

— Ну и черт с тобой, кради. Не мне пропадать, а тебе.

Он испуганно отстал.

На другое утро Бурун отправился в город искать Овчаренко. Хлопцы тащили за ним Раису. Карабанов ржал на всю колонию и хлопал Буруна по плечам:

— Эх, есть еще лыцари на Украине!

Задоров выглядывал из кузницы и скалил зубы. Он обратился ко мне, как всегда, по-приятельски:

— Сволочной народ, а жить с ними можно.

— А ты кто? — спросил его свирепо Карабанов.

— Бывший потомственный скокарь, а теперь кузнец трудовой колонии имени Максима Горького, Александр Задоров,— вытянулся он.

— Вольно! — грассируя, сказал Карабанов и гоголем прошелся мимо кузницы.

К вечеру Бурун привел Овчаренко, счастливого и голодного.

---

[1] Хист — талант.

10. «ПОДВИЖНИКИ СОЦВОСА»

Таковых, считая в том числе и меня, было пятеро. Называли нас в то время «подвижниками соцвоса». Сами мы не только так никогда себя не называли, но никогда и не думали, что мы совершаем подвиг. Не думали так в начале существования колонии, не думали и тогда, когда колония праздновала свою восьмую годовщину.

Говоря о подвижничестве, имели в виду не только работников колонии имени Горького, поэтому в глубине души мы считали эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников детских домов и колоний.

В то время много было подвига в советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих выражениях и в своей удаче.

Люди мы были самые обычные, и у нас находилась пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно говоря, не знали: наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путаной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни.

О каждом нашем шаге можно было сказать что угодно, настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось еще хуже: в наших спорах почему-то не рождалась истина.

Были у нас только две вещи, которые не вызывали сомнений: наша твердая решимость не бросать дела, довести его до какого-то конца, пусть даже и печального. И было еще вот это самое «бытие» — у нас в колонии и вокруг нас.

Когда в колонию приехали Осиповы, они очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, дежурный воспитатель обязан был обедать вместе с колонистами. И Иван Иванович и его жена решительно мне заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что не могут пересилить своей брезгливости.

Я им сказал:

— Там будет видно.

В спальне во время вечернего дежурства Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого здесь не было. Так он и проводил свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и его жена говорили мне:

— Как вы можете сидеть на этой постели! Она же вшивая.

Я им говорил:

— Это ничего, как-нибудь образуется: вши выведутся, или еще как-нибудь...

Через три месяца Иван Иванович не только уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с собой собственную ложку, а брал обыкновенную деревянную из общей кучи на столе и проводил по ней для успокоения пальцами.

А вечером в спальне в задорном кружке хлопцев Иван Иванович сидел на кровати и играл в «вора и доносчика». Игра состояла в том, что всем играющим раздавались билетики с надписями «вор», «доносчик», «следователь», «судья», «кат» и так далее. Доносчик объявлял о выпавшем на его долю счастье, брал в руки жгут и старался угадать, кто вор. Все протягивали к нему руки, и из них нужно было ударом жгута отметить воровскую руку. Обычно он попадал на судью или следователя, и эти обиженные его подозрением честные граждане колотили доносчика по вытянутой руке согласно установленному тарифу за оскорбление. Если за следующим разом доносчик все-таки угадывал вора, его страдания прекращались, и начинались страдания вора. Судья приговаривал: пять горячих, десять горячих, пять холодных. Кат брал в руки жгут, и совершалась казнь.

Так как роли играющих все время менялись, и вор в следующем туре превращался в судью или ката, то вся игра имела главную прелесть в чередовании страдания и мести. Свирепый судья или безжалостный кат, делаясь доносчиком или вором, получал сторицею и от действующего судьи и от действующего ката, которые теперь вспоминали ему все приговоры и все казни.

Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна тоже играли в эту игру с хлопцами, но хлопцы относились к ним по-рыцарски: назначали в случае воровства три-че-

тыре холодных, кат делал во время казни самые нежные рожи и только поглаживал жгутом нежную женскую ладонь.

Играя со мной, ребята в особенности интересовались моей выдержкой, поэтому мне ничего другого не оставалось, как бравировать. В качестве судьи я назначал ворам такие нормы, что даже каты приходили в ужас, а когда мне приходилось приводить в исполнение приговоры, я заставлял жертву терять чувство собственного достоинства и кричать:

— Антон Семенович, нельзя же так!

Но зато и мне доставалось: я всегда уходил домой с опухшей левой рукой; менять руки считалось неприличным, а правая рука нужна была мне для писания.

Иван Иванович малодушно демонстрировал женскую линию тактики, и ребята к нему относились сначала деликатно. Я сказал как-то Ивану Ивановичу, что такая политика неверна: наши хлопцы должны расти выносливыми и смелыми. Они не должны бояться опасностей, тем более физического страдания. Иван Иванович со мной не согласился.

Когда в один из вечеров я оказался в одном круге с ним, я в роли судьи приговорил его к двенадцати горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжалостно дробил его руку свистящим жгутом. Он обозлился и отомстил мне. Кто-то из моих «корешков» не мог оставить такое поведение Ивана Ивановича без возмездия и довел его до перемены руки.

Иван Иванович в следующий вечер пытался увильнуть от участия в «этой варварской игре», но общая ирония колонистов пристыдила его, и в дальнейшем Иван Иванович с честью выдерживал испытание, не подлизывался, когда бывал судьей, и не падал духом в роли доносчика или вора.

Часто Осиповы жаловались, что много вшей приносят домой. Я сказал им:

— Со вшами нужно бороться не дома, а в спальнях...

Мы и боролись. С большими усилиями мы добились двух смен белья, двух костюмов. Костюмы эти составляли «латку на латке», как говорят украинцы, но все же они выпаривались, и насекомых оставалось в них минимальное количество. Вывести их совершенно нам удалось не

так скоро благодаря постоянному прибытию новеньких, общению с селянами и другим причинам.

Официальным образом работа воспитателей делилась на главное дежурство, рабочее дежурство и вечернее дежурство. Кроме того, по утрам воспитатели занимались в школе.

Главное дежурство представляло собой каторгу от пяти часов утра до звонка «спать». Главный дежурный руководил всем днем, контролировал выдачу пищи, следил за выполнением работы, разбирал всякие конфликты, мирил драчунов, уговаривал протестантов, выписывал продукты и проверял кладовую Калины Ивановича, следил за сменой белья и одежды. Работы главному дежурному было так много, что уже в начале второго года в помощь воспитателю стали дежурить старшие колонисты, надевая красные повязки на левый рукав.

Рабочий дежурный воспитатель просто принимал участие в какой-нибудь работе, обыкновенно там, где работало больше всего колонистов или где было больше новеньких. Участие воспитателя в работе было участием реальным, иначе в наших условиях было бы невозможно. Воспитатели работали в мастерских, на заготовках дров, в поле и в огороде, по ремонту.

Вечернее дежурство оказалось скоро простой формальностью: вечером в спальнях собирались все воспитатели — и дежурные и недежурные. Это не было тоже подвигом: нам некуда было пойти, кроме спален колонистов. В наших пустых квартирах было и неуютно и немного страшно по вечерам при свете наших ночников, а в спальнях после вечернего чая нас с нетерпением ожидали знакомые остроглазые веселые рожи колонистов с огромными запасами всяких рассказов, небылиц и былей, всяких вопросов: злободневных, философских, политических и литературных, с разными играми, начиная от «кота и мышки» и кончая «вором и доносчиком». Тут же разбирались и разные случаи нашей жизни, подобные вышеописанным, перемывались косточки соседей-хуторян, проектировались детали ремонта и будущей нашей счастливой жизни во второй колонии.

Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был удивительный мастер на сказки, рассказывал их умеючи, с

элементами театральной игры и богатой мимикой. Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им особенное наслаждение. В его сказках почти не было чудесного: фигурировали глупые мужики и умные мужики, растяпы-дворяне и хитроумные мастеровые, удачливые, смелые воры и одураченные полицейские, храбрые, победительные солдаты и тяжелые, глуповатые попы.

Вечерами в спальнях мы часто устраивали общие чтения. У нас с первого дня образовалась библиотека, для которой книги я покупал и выпрашивал в частных домах. К концу зимы у нас были почти все классики и много специальной политической и сельскохозяйственной литературы. Удалось собрать в запущенных складах губнаробраза много популярных книжек по разным отраслям знания.

Читать книги любили многие колонисты, но далеко не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общие чтения вслух, в которых обыкновенно участвовали все. Читали либо я, либо Задоров, обладавший прекрасной дикцией. В течение первой зимы мы прочитали многое из Пушкина, Короленко, Мамина-Сибиряка, Вересаева и в особенности Горького.

Горьковские вещи в нашей среде производили сильное, но двойственное впечатление. Карабанов, Таранец, Волохов и другие восприимчивее были к горьковскому романтизму и совершенно не хотели замечать горьковского анализа. Они с горящими глазами слушали «Макара Чудру», ахали и размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева и скучали над трагедией «Деда Архипа и Леньки». Карабанову в особенности понравилась сцена, когда старый Гордеев смотрит на уничтожение ледоходом своей «Боярыни». Семен напрягал все мускулы лица и голосом трагика восхищался:

— Вот это человек! Вот если бы такие все люди были!

С таким же восторгом он слушал историю гибели Ильи в повести «Трое».

— Вот молодец, так молодец! Вот это смерть: головою об камень...

Митягин, Задоров, Бурун снисходительно посмеивались над восторгом наших романтиков и задирали их за живое:

— Слушаете, олухи, а ничего не слышите.

— Я не слышу?

— А то слышишь? Ну, чего такого хорошего — головою об камень? Илья этот самый — дурак и слякоть... Какая-то там баба скривилась на него, так он и слезу пустил. Я на его месте еще б одного купца задавил, их всех давить нужно, и твоего Гордеева тоже.

Обе стороны сходились только в оценке Луки «На дне». Карабанов вертел башкой:

— Нет, такие старикашки — вредные. Зудит-зудит, а потом взял и смылся, и нет его. Я таких тоже знаю.

— Лука этот умный, стерва,— говорит Митягин.— Ему хорошо, он все понимает, так он везде свое возьмет: там схитрит, там украдет, а там прикинется добрым. Так и живет.

Сильно поразили всех «Детство» и «В людях». Их слушали, затаив дыхание, и просили читать «хоть до двенадцати». Сначала не верили мне, когда я рассказал действительную историю жизни Максима Горького, были ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись вопросом:

— Значит, выходит, Горький вроде нас? Вот, понимаешь, здо̀рово!

Этот вопрос их волновал глубоко и радостно.

Жизнь Максима Горького стала как будто частью нашей жизни. Отдельные ее эпизоды сделались у нас образцами для сравнений, основаниями для прозвищ, транспарантами для споров, масштабами для измерения человеческой ценности.

Когда в трех километрах от нас поселилась детская колония имени В. Г. Короленко, наши ребята недолго им завидовали. Задоров сказал:

— Маленьким этим как раз и хорошо называться Короленками. А мы — Горькие.

И Калина Иванович был того же мнения:

— Я Короленко этого видав и даже говорив с ним: вполне приличный человек. А вы, конешно, и теорехтически босяки и прахтически.

Мы стали называться колонией имени Горького без всякого официального постановления и утверждения. Постепенно в городе привыкли к тому, что мы так себя

называем, и не стали протестовать против наших новых печатей и штемпелей с именем писателя. К сожалению, списаться с Алексеем Максимовичем мы не смогли так скоро, потому что никто в нашем городе не знал его адреса. Только в 1925 году в одном иллюстрированном еженедельнике мы прочитали статью о жизни Горького в Италии; в статье была приведена итальянская транскрипция его имени: Massimo Gorky. Тогда наудачу мы послали ему первое письмо с идеально лаконическим адресом: Italia. Massimo Gorky.

Горьковскими рассказами и горьковской биографией увлекались и старшие и малыши, несмотря на то, что малыши почти все были неграмотны.

Малышей, в возрасте от десяти лет, у нас было человек двенадцать. Все это был народ живой, пронырливый, вороватый на мелочи и вечно донельзя измазанный. Приходили в колонию они всегда в очень печальном состоянии: худосочные, золотушные, чесоточные. С ними без конца возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на ее серьезность. Она умела их журить по-матерински, знала все их слабости, никому не верила на слово (я никогда не был свободен от этого недостатка), не пропускала ни одного преступления и открыто возмущалась всяким безобразием.

Но зато она замечательно умела самыми простыми словами, с самым человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из него выйдет — моряк или красный командир, или инженер; умела понимать всю глубину той страшной обиды, какую проклятая, глупая жизнь нанесла пацанам. Кроме того, она умела их и подкармливать: втихомолку, разрушая все правила и законы продовольственной части, легко преодолевала одним ласковым словом свирепый педантизм Калины Ивановича.

Старшие колонисты видели эту связь между Екатериной Григорьевной и пацанами, не мешали ей и благодушно, покровительственно всегда соглашались исполнить небольшую просьбу Екатерины Григорьевны: посмотреть, чтобы пацан искупался как следует, чтобы намылился как нужно, чтобы не курил, не рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее.

В значительной мере благодаря Екатерине Григорьевне в нашей колонии старшие ребята всегда любили пацанов, всегда относились к ним, как старшие братья: любовно, строго и заботливо.

11. ТРИУМФАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

Все больше и больше становилось ясным, что в первой колонии нам хозяйничать трудно. Все больше и больше наши взоры обращались ко второй колонии, туда, на берега Коломака, где так буйно весной расцветали сады и земля лоснилась матерым черноземом.

Но ремонт второй колонии подвигался необычайно медленно. Плотники, нанятые за гроши, способны были строить деревенские хаты, но становились втупик перед каким-нибудь сложным перекрытием. Стекла мы не могли достать ни за какие деньги, да и денег у нас не было. Два-три крупных дома были все-таки приведены в приличный вид уже к концу лета, но в них нельзя было жить, потому что они стояли без стекол. Несколько маленьких флигелей мы отремонтировали до конца, но там поселились плотники, каменщики, печники, сторожа. Ребят переселять смысла не было, так как без мастерских и хозяйства им делать было нечего.

Колонисты бывали во второй колонии ежедневно, значительную часть работы исполняли они. Летом десяток ребят жил в шалашах, работая в саду. Они присылали в первую колонию целые возы яблок и груш. Благодаря им трепкинский сад принял если не вполне культурный, то, во всяком случае, приличный вид.

Жители села Гончаровки были очень расстроены появлением среди трепкинских руин новых хозяев, да еще столь мало почтенных, оборванных и ненадежных. Наш ордер на шестьдесят десятин неожиданно для меня оказался ордером почти дутым: вся земля Трепке, в том числе и наш участок, была уже с семнадцатого года распахана крестьянами. В городе на наше недоумение улыбнулись:

— Если ордер у вас, то и земля, значит, ваша: выезжайте и работайте.

Но Сергей Петрович Гречаный, председатель сельсовета, был другого мнения:

— Вы понимаете, что значит, когда трудящий крестьянин получил землю по всем правильностям закона. Так он, значит, и буде пахать. А если кто пишет ордера разные и бумажки, то, безусловно, он против трудящихся нож в спину. И вы лучше не лезьте с этим ордером.

Пешеходные дорожки во вторую колонию вели к реке Коломаку, которую нужно было переплывать. Мы устроили на Коломаке свой перевоз и держали всегда дежурного лодочника, колониста. С грузом же и вообще на лошадях во вторую колонию можно было проехать только кружным путем, через гончаровский мост. В Гончаровке нас встречали достаточно враждебно. Парубки при виде нашего небогатого выезда насмехались:

— Эй, вы, ободранцы! Вы нам вшей на мосту не трусите! Даром сюда лазите: все одно выженым з Трепке.

Мы осели в Гончаровке не мирными соседями, а непрошеными завоевателями. И если бы в этой военной позиции мы не выдержали тона, показали бы себя неспособными к борьбе, мы обязательно потеряли бы и землю и колонию. Крестьяне понимали, что спор будет решен не в канцеляриях, а здесь, на полях. Они уже три года пахали трепкинскую землю, у них уже была какая-то давность, на которую они и опирались в своих протестах. Им во что бы то ни стало нужно было продлить эту давность, в этой политике заключалась вся их надежда на успех.

Точно так же для нас единственным выходом было как можно скорее приступить к фактическому хозяйству на земле.

Летом приехали землемеры намечать наши межи, но выйти в поле с инструментами побоялись, а показали нам на карте, по каким канавам, ярам и зарослям мы должны отсчитать нашу землю. С землемерским актом поехал я в Гончаровку, взяв с собой старших хлопцев.

Председатель сельсовета был теперь наш старый знакомый, Лука Семенович Верхола. Он нас встретил очень любезно и предложил садиться, но на землемерский акт даже не посмотрел.

— Дорогие товарищи, ничего не могу сделать. Мужички давно пашут, не могу обидеть мужичков. Просите в другом поле.

Когда на наши поля крестьяне выехали пахать, я вывесил объявление, что за вспашку нашей земли колония платить не будет.

Я сам не верил в значение принимаемых мер, не верил потому, что меня замораживало сознание: землю нужно отнимать у крестьян, у трудящихся крестьян, которым эта земля нужна, как воздух.

Но в один из ближайших вечеров в спальне Задоров подвел ко мне постороннего селянского юношу. Задоров был чем-то сильно возбужден.

— Вот вы послушайте его, вы только послушайте!

Карабанов в тон ему выделывал какие-то гопаковские па и орал на всю спальню:

— О! Дайте мне сюда Верхолу!

Колонисты обступили нас.

Юноша оказался комсомольцем с Гончаровки.

— Много комсомольцев на Гончаровке?

— Нас только три человека.

— Только три?

— Вы знаете, нам очень трудно,— сказал он.— Село кулацкое, хутора, знаете, верх ведут. Ребята послали к вам — перебирайтесь скорийше, куда дело пойдет, ого! У вас же хлопци — боевые хлопци. Як бы нам таких!

— Да вот с землей беда.

— Ось же я про землю и пришел. Берите силою. Не смотрите на этого рыжего черта — Луку. Вы знаете, у кого та земля, что вам назначена?

— Ну?

— Кажи, кажи, Спиридон!

Спиридон начал загибать пальцы:

— Гречаный Андрий Карпович...

— Дед Андрий? Так он же здесь имеет поле.

— Як бачите... Гречаный Петро, Гречаный Оноприй, Стомуха, той, шо биля церквы... ага, Серега... Стомуха Явтух та сам Лука Семенович. От и все. Шесть человек.

— Да что вы говорите! Как же это случилось? А комнезам ваш где?

— Комнезам у нас маленький. Комнезаму заткнуть рот самогонкой тай годи. А случилось так: земля ж та

осталась при усадьбе, собирались же там что-то делать. А сельсовет свой, поразбирали. Тай годи!

— Ну, теперь дело пойдет веселей! — закричал Карабанов.— Держись, Лука!

В начале сентября я возвращался из города. Было часа два дня. Трехэтажный наш шарабан неспеша подвигался вперед, сонно журчал рассказ Антона о характере Рыжего. Я и слушал его и думал о разных колонистских вопросах.

Вдруг Братченко замолчал, пристально глянул вдаль по дороге, приподнялся, хлестнул по лошади, и мы со страшным грохотом понеслись по мостовой. Антон колотил Рыжего, чего с ним никогда не бывало, и что-то кричал мне. Я наконец разобрал, в чем дело.

— Наши... с сеялкой!

У поворота в колонию мы чуть не столкнулись с летящей карьером, издающей странный жестяной звук сеялкой. Пара гнедых лошадок в беспамятстве перла вперед, напуганная треском непривычной для них колесницы. Сеялка с грохотом скатилась с каменной мостовой, зашуршала по песку и вновь загремела уже по нашей дороге в колонию. Антон нырнул с шарабана на землю и погнался за сеялкой, бросив вожжи мне на руки. На сеялке, на концах натянутых вожжей, каким-то чудом держались Карабанов и Приходько. Насилу Антон остановил странный экипаж. Карабанов, захлебываясь от волнения и утомления, рассказал нам о совершившихся событиях:

— Мы кирпичи складывали на дворе. Смотрим, выехали, важно так, сеялка и человек пять народу. Мы до них: забирайтесь, говорим. А нас четверо: был еще Чобот и... кто ж?

— Сорока,— сказал Приходько.

— Ага, и Сорока. Забирайтесь, говорю, все равно сеять не будете. А там черный такой, мабуть цыган... та вы его знаете, бац кнутом Чобота! Ну, Чобот ему в зубы. Тут, смотрим, Бурун летит с палкой. Я хватил коня за уздечку, а председатель меня за грудки...

— Какой председатель?

— Да какой же? Наш — рыжий, Лука Семенович. Ну, Приходько его как брыкнет сзади, он и покатился прямо в рылю носом. Я кажу Приходьку: сидай сам на

сеялку — и пайшли и пайшли! В Гончаровку вскочили, там парубки на дороге, так куды?.. Я по коням, так галопом и вынесли на мост, а тут уже на мостовую выехали... Там осталось наших трое, мабуть их здорово дядьки помолотили.

Карабанов весь трепетал от победного восторга. Приходько невозмутимо скручивал цигарку и улыбался. Я представил себе дальнейшие главы этой занимательной повести: комиссии, допросы, выезды...

— Черт бы вас побрал, опять наварили каши!

Карабанов был несказанно обескуражен моим недовольным видом:

— Так они ж первые...

— Ну, хорошо, поезжайте в колонию, там разберем.

В колонии нас встретил Бурун. На его лбу торчал огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Возле бочки с водой умывались Чобот и Сорока.

Карабанов схватил Буруна за плечи:

— Що, втик? От молодец!

— Они за сеялкой бросились, а потом увидели, что ихнее не варит, так за нами. Ой, и бежали ж!

— А они где?

— Мы в лодке переплыли, так они на берегу ругались. Мы их там и бросили.

— Ребята остались в колонии? — спросил я.

— Там пацаны: Тоська и еще двое. Тех не тронут.

Через час в колонию пришли Лука Семенович и двое селян. Хлопцы встретили их приветливо:

— Что, за сеялкой?

В кабинете нельзя было повернуться от толпы заинтересованных граждан. Положение было затруднительным.

Лука Семенович уселся за стол и начал:

— Позовите тех хлопцев, которые вот избили меня и еще двух человек.

— Вот что, Лука Семенович,— сказал я ему.— Если вас избили, жалуйтесь, куда хотите. Сейчас я никого звать не буду. Скажите, что еще вам нужно и чего вы пришли в колонию.

— Вы, значит, отказываетесь позвать?

— Отказываюсь.

— Ага! Значит, отказываетесь? Значит, будем разговаривать в другом месте.

— Хорошо.

— Кто отдаст сеялку?

— Кому?

— А вот хозяину.

Он показал на человека с цыганским лицом, черного, кудлатого и сумрачного.

— Это ваша сеялка?

— Моя.

— Так вот что: сеялку я отправлю в район милиции, как захваченную во время самовольного выезда на чужое поле, а вас прошу назвать свою фамилию.

— Моя фамилия? Гречаный Оноприй. На какое чужое поле? Мое поле. И было мое...

— Ну, об этом не здесь разговор. Сейчас мы составим акт о самовольном выезде и об избиении воспитанников, работавших на поле.

Бурун выступил вперед:

— Это тот самый, что меня чуть не убил.

— Та кому ты нужен?.. Убивать тебя? Хай ты сказився!

Беседа в таком стиле затянулась надолго. Я уже успел забыть, что пора обедать и ужинать, уже в колонии прозвонили спать, а мы сидели с селянами и то мирно, то возбужденно-угрожающе, то хитроумно-иронически беседовали.

Я держался крепко, сеялки не отдавал и требовал составления акта. К счастью, у селян не было никаких следов драки, колонисты же козыряли синяками и царапинами. Решил дело Задоров. Он хлопнул ладонью по столу и произнес такую речь:

— Вы бросьте, дядьки! Земля наша, и с нами вы лучше не связывайтесь. На поле мы вас не пустим. Нас пятьдесят человек, и хлопцы боевые.

Лука Семенович долго думал, наконец погладил свою бороду и крякнул:

— Да... Ну, черт с вами! Заплатите хоть за вспашку.

— Нет,— сказал я холодно.— Я предупреждал.

Еще молчание.

— Ну что ж, давайте сеялку.

— Подпишите акт землемеров.

— Та... давайте акт.

Осенью мы все-таки сеяли жито во второй колонии. Агрономами были все. Калина Иванович мало понимал в сельском хозяйстве, остальные понимали еще меньше, но работать за плугом и за сеялкой была у всех охота, кроме Братченко. Братченко страдал и ревновал, проклинал и землю, и жито, и наши увлечения:

— Мало им хлеба, жита захотели!

Восемь десятин в октябре зеленели яркими всходами. Калина Иванович с гордостью тыкал палкой с резиновым наперстком на конце куда-то в восточную часть неба и говорил:

— Надо, знаешь, там, чачавыцю посеять. Хорошая вещь — чачавыця.

Рыжий с Бандиткой трудились над яровым клином, а Задоров по вечерам возвращался усталый и пыльный.

— Ну его к бесу, трудная эта граковская работа. Пойду опять в кузницу.

Снег захватил нас на половине работы. Для первого раза это было сносно.

12. БРАТЧЕНКО И РАЙПРОДКОМИССАР

Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Чудом удалось Калине Ивановичу выпросить при каком-то расформировании старую корову, которая, по словам Калины Ивановича, была «яловая от природы»; чудом достали в далеком от нас ультрахозяйственном учреждении не менее старую — вороную кобылу, брюхатую, припадочную и ленивую; чудом появились в наших сараях возы, арбы и даже фаэтон. Фаэтон был для парной запряжки, очень красивый по тогдашним нашим вкусам и удобный, но никакое чудо не могло помочь нам организовать для этого фаэтона соответствующую пару лошадей.

Нашему старшему конюху, Антону Братченко, занявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную мастерскую, человеку очень энергичному и самолюбивому, много пришлось пережить неприятных минут, восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке имея вы-

сокого худощавого Рыжего и приземистую кривоногую Бандитку, как совершенно незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу спотыкалась, иногда падала на землю, и в таких случаях нашему богатому выезду приходилось заниматься восстановлением нарушенного благополучия посреди города, под насмешливые реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не выдерживал насмешек и вступал в жестокую битву с непрошеными зрителями, чем еще более дискредитировал конюшенную часть колонии имени Горького.

Антон Братченко ко всякой борьбе был страшно охоч, умел переругиваться с любым противником, и для этого дела у него был изрядный запас словечек, оскорбительных полутонов и талантов физиономических.

Антон не был беспризорным. Отец его служил в городе пекарем, была у него и мать, и он был единственным сыном у этих почтенных родителей. Но с малых лет Антон возымел отвращение к пенатам, дома бывал только ночью и свел крупное знакомство с беспризорными и ворами в городе. Он отличился в нескольких смелых и занятных приключениях, несколько раз попадал в допр и наконец очутился в колонии. Ему было всего пятнадцать лет, был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общителен и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где-то он выучился грамоте и знал напролет всю приключенческую литературу, но учиться ни за что не хотел, и я принужден был силой усадить его за учебный стол. На первых порах он часто уходил из колонии, но через два-три дня возвращался и при этом не чувствовал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть и меня просил:

— Вы со мною построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босяком буду.

В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанности в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью,

непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных действиях, в подлизывании ко мне, в наговорах, в бесхозяйственности, грозил кнутом отсутствующим врагам, хлопал дверью и, негодующий, уходил из моего кабинета. С воспитателями он был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, даже просто неприязненного, настолько в нем всегда преобладала человечески страстная нотка,— он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений.

Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лошадей и в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему развитию Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским языком, только для фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много читал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься в конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию — и всегда жить впроголодь, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и если ему забывали оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней.

Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Калиной Ивановичем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на поездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки, наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями о том, когда Рыжему или Малышу натерли шею, требованиями фуража и подковного железа. Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни лошадей и никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовало полколонии, они оказывались или в Трепке, или на соседском лугу.

Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлопцев, которые были влюблены в Антона в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой дисциплине, и поэтому в конюшне всегда

царил образцовый порядок: всегда было убрано, упряжь развешана в порядке, возы стояли правильными шеренгами, над головами лошадей висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны.

В июне, поздно вечером, прибежали ко мне из спальни:

— Козырь заболел, совсем умирает...

— Как это — «умирает»?

— Умирает: горячий и не дышит.

Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок, необходимо сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против любого моего распоряжения.

— Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город...

Антон не дал мне кончить.

— И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам!.. Целый день гоняли лошадей,— посмотрите, еще и доси не остыли... Не поеду!

— За доктором, ты понимаешь?

— Наплевать мне на ваших больных! Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят.

Я взбеленился:

— Немедленно сдай конюшню Опришко! С тобой невозможно работать!..

— Ну и сдам, что ж такого! Посмотрим, как вы с Опришко наездите. Вам кто ни наговорит, так вы верите: болен, умирает. А на лошадей никакого внимания,— пусть, значит, дохнут... Ну и пускай дохнут, а я лошадей все равно не дам.

— Ты слышал? Ты уже не старший конюх, сдай конюшню Опришко. Немедленно!

— Ну и сдам!.. Пусть кто хочет сдает, а я в колонии жить не хочу.

— Не хочешь — и не надо, никто не держит!

Антон со слезами в глазах полез в глубокий карман, вытащил связку ключей, положил на стол. В комнату вошел Опришко, правая рука Антона, и с удивлением уставился на плачущего начальника. Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но молча вытер рукавом нос и вышел.

Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за доктором, видели его шагающим по шоссе; он даже не попросился, чтобы его подвезли, а на приглашение отмахнулся рукой.

Через два дня вечером ко мне в комнату ввалился плачущий, с окровавленным лицом Опришко. Не успел я расспросить, в чем дело, прибежала вконец расстроенная Лидия Петровна, дежурная по колонии.

— Антон Семенович, идите в конюшню: там Братченко, просто не понимаю, такое выделывает...

По дороге в конюшню мы встретили второго конюха, огромного Федоренко, ревущего на весь лес.

— Чего ты?

— Да як же... хиба ж можно так? Взяв нарытники и як размахнется прямо по морди...

— Кто? Братченко?

— Та Братченко ж...

В конюшне я застал Антона и еще одного из конюхов за горячей работой. Он неприветливо со мной поздоровался, но, увидев за моей спиной Опришко, забыл обо мне и накинулся на него:

— Ты лучше сюда и не заходи, все равно буду бить чересседельником! Ишь, охотник нашелся кататься! Посмотрите, что он с Рыжим наделал!

Антон схватил одной рукой фонарь, а другой потащил меня к Рыжему. У коня действительно была отчаянно стерта холка, но на ране уже лежала белая тряпочка, и Антон любовно ее поднял и снова положил на место.

— Ксероформом присыпал,— сказал он серьезно.

— Все-таки, какое же ты имел право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь расправы, драться?..

— Вы думаете, это ему все? Пусть лучше не попадается мне на глаза: все равно бить буду!

В воротах конюшни стояла толпа колонистов и хохотала. Сердиться на Антона у меня не нашлось силы: уж слишком он сам был уверен в своей и лошадиной правоте.

— Слушай, Антон, за то, что ты побил хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в моей комнате.

— Да когда же мне?

— Довольно болтать! — закричал я на него.

— Ну, ладно, еще и сидеть там где-то...

Вечером он, сердитый, сидел у меня и читал книжку.

Зимой 1922 года для меня и Антона настали тяжелые дни. Овсяное поле, засеянное Калиной Ивановичем на сыпучем песке без удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. Луга у нас еще не было. К январю мы оказались без фуража. Кое-как перебивались, выпрашивали то в городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Калиной Ивановичем ни обивали порогов в продовольственных канцеляриях, все было напрасно.

Наконец наступила и катастрофа. Братченко со слезами повествовал мне, что лошади второй день без корма. Я молчал. Антон с плачем и ругательствами чистил конюшню, но другой работы у него уже и не было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Антон особенно напирал.

На другой день Калина Иванович возвратился из города злой и растерянный.

— Что ты будешь делать? Не дают... Что делать?

Антон стоял у дверей и молчал.

Калина Иванович развел руками и глянул на Братченко:

— Чи грабить итти, чи што? Что ты будешь делать?.. Ведь животная бессловесная.

Антон круто нажал на двери и выскочил из комнаты. Через час мне сказали, что он из колонии ушел.

— Куда?

— А кто ж его знает!.. Никому ничего не сказал.

На другой день он явился в колонию в сопровождении селянина с возом соломы. Селянин был в новом сеপряке и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанными втулками, кони лоснились. Селянин признал в Калине Ивановиче хозяина.

— Тут хлопец на дороге сказал, что продналог принимается...

— Какой хлопец?

— Да тут же був... Разом прийшов...

Антон выглядывал из конюшни и делал мне какие-то непонятные знаки.

Калина Иванович смущенно ухмыльнулся в трубку и отвел меня в сторону.

— Что ж ты будешь делать? Давай примем у него этот возик, а там видно будет.

Я уж понял, в чем дело.

— Сколько здесь?

— Да пудов двадцать будет. Я не важил.

Антон появился на месте действия и возразил:

— Сам говорил дорогою — семнадцать, а теперь двадцать? Семнадцать пудов.

— Сваливайте. Зайдете в канцелярию за распиской.

В канцелярии, то есть в небольшом кабинетике, который я для себя к этому времени выкроил среди колонистских помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, что у гражданина Ваця Онуфрия принято в счет причитающегося с него продналога объемного фуража — овсяной соломы — семнадцать пудов. Подпись. Печать.

Вацъ Онуфрий низко кланялся и за что-то благодарил.

Уехал. Братченко весело действовал со всей своей компанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович потирал руки и виновато посмеивался:

— Вот черт, попадет тебе за эту штуку, но что ж ты будешь делать? Не пропадать же животному. Она же государственная, все едино...

— А чего это дядько такой веселый уехал? — спросил я у Калины Ивановича.

— Да, а как же ты думаешь? То ему в город, на гору ехать, да там еще в очереди стоять, а тут он, паразит, сказал — семнадцать пудов, никто и не проверял, а может, там пятнадцать.

Через день к нам во двор въехал воз с сеном.

— Ось продналог. Тут Вацъ у вас здавав...

— А ваша как фамилия?

— Та и я ж з Вацив тоже Вацъ, Стэпан Вацъ.

— Сейчас.

Пошел я искать Калину Ивановича посоветоваться. На крыльце встретил Антона.

— Вот показал дорогу с продналогом, а теперь...

— Принимайте, Антон Семенович, оправдаемся.

Принимать было нельзя, не принимать тоже нельзя. Почему, спрашивается, у одного Вацяя приняли, а другому отказали?

— Иди, принимай сено, я пока расписку напишу.

И еще приняли мы воза два объемного фуража и пудов сорок овса.

Ни жив, ни мертв, ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, как богатырь.

Наконец я получил краткий, но выразительный запрос:

«Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог.

Райпродкомиссар *Агеев*»

Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить?

В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка, а в мой кабинет — перепуганный Братченко.

— Сюда идет,— сказал он, задыхаясь.

— Кто это?

— Мабуть насчет соломы... Сердитый.

Он присел за печкой и притих.

Райпродкомиссар был обыкновенный: в кожаной куртке, с револьвером, молодой и подтянутый.

— Вы заведующий?

— Я.

— Вы получили мой запрос?

— Получил.

— Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил принимать продналог?

— Мы принимали продналог без разрешения.

Райпродкомиссар соскочил со стула и заорал:

— Как это так — «без разрешения»? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это?

Я это знал.

— Кончайте как-нибудь,— сказал я райпродкомиссару глухо,— ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным.

Он забегал по диагонали моего бедного кабинета.

— Черт знает что такое! — бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь.

Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица, райпродкомиссаром Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел:

— Всякий бы не посмотрел, чи продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию?

Агеев остановился, удивленный:

— А ты кто такой? Тебе здесь что надо?

— Это наш старший конюх, он лицо более или менее заинтересованное,— сказал я.

Райпродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона:

— У вас хоть заприходовано? Черт знает что!..

Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал:

— Заприходовано ж, Антон Семенович?

Засмеялись и я и Агеев.

— Заприходовано.

— Где вы такого хорошего парня достали?

— Сами делаем,— улыбнулся я.

Братченко поднял глаза на райпродкомиссара и спросил серьезно, приветливо:

— Ваших вороных покормить?

— Что ж, покорми.

13. ОСАДЧИЙ

Зима и весна 1922 года были наполнены страшными взрывами в колонии имени Горького. Они следовали один за другим почти без передышки и в моей памяти сейчас сливаются в какой-то общий клубок несчастья.

Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, они были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить,— но совмещались. Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днем, полным труда, доверия, человеческого товарищеского чувства и всегда — смеха, шутки, подъема и очень хорошего, бодрого

тона. И почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в такую тяжелую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о мире и делались больными людьми, воспринимающими мир воспаленными нервами.

Неожиданно у нас открылся антисемитизм. До сих пор в колонии евреев не было. Осенью в колонию был прислан первый еврей, потом один за другим еще несколько. Один из них почему-то раньше работал в губрозыске, и на него первого обрушился дикий гнев наших старожилов.

В проявлении антисемитизма я сначала не мог даже различить, кто больше, кто меньше виноват. Вновь прибывшие колонисты были антисемитами просто потому, что нашли безобидные объекты для своих хулиганских инстинктов, старшие же имели больше возможности издеваться и куражиться над евреями.

Фамилия первого была Остромухов.

Остромухова стали бить по всякому поводу и без всякого повода. Избивать, издеваться на каждом шагу, отнять хороший пояс или целую обувь и дать взамен их негодное рванье, каким-нибудь хитрым способом оставить без пищи или испортить пищу, дразнить без конца, поносить разными словами и, самое ужасное, всегда держать в страхе и презрении,— вот что встретило в колонии не только Остромухова, но и Шнайдера, и Глейсера, и Крайника. Бороться с этим оказалось невыносимо трудно. Все делалось в полной тайне, очень осторожно и почти без риска, потому что евреи прежде всего запугивались до смерти и боялись жаловаться. Только по косвенным признакам, по убитому виду, по молчаливому и несмелому поведению можно было строить догадки, да просачивались самыми отдаленными путями, через дружеские беседы наиболее впечатлительных пацанов с воспитателями неуловимые слухи.

Все же совершенно скрыть от педагогического персонала регулярное шельмование целой группы колонистов было нельзя, и пришло время, когда разгул антисемитизма в колонии ни для кого уже секретом не был. Установили и список насильников. Все это были старые наши знакомые: Бурун, Митягин, Волохов, При-

ходько, но самую заметную роль в этих делах играли двое: Осадчий и Таранец.

Живость, остроумие и организационные способности давно выдвинули Таранца в первые ряды колонистов, но приход более старших ребят не давал Таранцу простора. Теперь наклонность к преобладанию нашла выход в пуганье евреев и в издевательствах над ними. Осадчий был парень лет шестнадцати, угрюмый, упрямый, сильный и очень запущенный. Он гордился своим прошлым, но не потому, что находил в нем какие-либо красоты, а просто из упрямства, потому что это его прошлое и никому никакого дела нет до его жизни.

Осадчий имел вкус к жизни и всегда внимательно следил за тем, чтобы его день не проходил без радости. К радостям он был очень неразборчив и большей частью удовлетворялся прогулками на село Пироговку, расположенное ближе к городу и населенное полукулаками-полумещанами. Пироговка в то время блистала обилием интересных девчат и самогона: эти предметы и составляли главную радость Осадчего. Неизменным его спутником бывал известный колонистский лодырь и обжора Галатенко.

Осадчий носил умопомрачительную холку, которая мешала ему смотреть на свет божий, но, очевидно, составляла важное преимущество в борьбе за симпатии пироговских девчат. Из-под этой холки он всегда угрюмо и, кажется, с ненавистью поглядывал на меня во время моих попыток вмешаться в его личную жизнь: я не позволял ему ходить на Пироговку и настойчиво требовал, чтобы он больше интересовался колонией.

Осадчий сделался главным инквизитором евреев. Осадчий едва ли был антисемитом. Но его безнаказанность и беззащитность евреев давали ему возможность блистать в колонии первобытным остроумием и геройством.

Поднимать явную, открытую борьбу против шайки наших изуверов нужно было осмотрительно: она грозила тяжелыми расправами прежде всего для евреев; такие, как Осадчий, в крайнем случае не остановились бы и перед ножом. Нужно было или действовать исподволь и очень осторожно, или прикончить дело каким-нибудь взрывом.

Я начал с первого. Мне нужно было изолировать Осадчего и Таранца. Карабанов, Митягин, Приходько, Бурун относились ко мне хорошо, и я рассчитывал на их поддержку. Но самое большее, что мне удалось,— это уговорить их не трогать евреев.

— От кого их защищать? От всей колонии?

— Не ври, Семен. Ты знаешь — от кого.

— Что с того, что я знаю? Я пойду на защиту, так не привяжу к себе Остромухова,— все равно поймают и набьют еще хуже.

Митягин сказал мне прямо:

— Я за это дело не берусь — не с руки, а трогать не буду: они мне не нужны.

Задоров больше всех сочувствовал моему положению, но он не умел вступить в прямую борьбу с такими, как Осадчий.

— Тут как-то нужно очень круто повернуть, не знаю. Да от меня все это скрывают, как и от вас. При мне никого не трогают.

Положение с евреями становилось тем временем все тяжелее. Их уже можно было ежедневно видеть в синяках, но при опросе они отказывались назвать тех, кто их избивает. Осадчий ходил по колонии гоголем и вызывающе посматривал на меня и на воспитателей из-под своей замечательной холки.

Я решил идти напролом и вызвал его в кабинет. Он решительно все отрицал, но всем своим видом показывал, что отрицает только из приличия, а на самом деле ему безразлично, что я о нем думаю.

— Ты избиваешь их каждый день.

— Ничего подобного,— говорил он неохотно.

Я пригрозил отправить его из колонии.

— Ну что ж. И отправляйте!

Он очень хорошо знал, какая это длинная и мучительная история — отправить из колонии. Нужно было долго хлопотать об этом в комиссии, представлять всякие опросы и характеристики, раз десять послать самого Осадчего на допрос да еще разных свидетелей.

Для меня, кроме того, не сам по себе Осадчий был занятен. На его подвиги взирала вся колония, и многие относились к нему с одобрением и с восхищением. Отправить его из колонии значило бы законсервировать

эти симпатии в виде постоянного воспоминания о пострадавшем герое Осадчем, который ничего не боялся, никого не слушал, бил евреев, и его за это «засадили». Да и не один Осадчий орудовал против евреев: Таранец не был так груб, как Осадчий, но гораздо изобретательнее и тоньше. Он никогда их не бил и на глазах у всех относился к евреям даже нежно, но по ночам закладывал тому или другому между пальцами ног бумажки и поджигал их, а сам укладывался в постель и представлялся спящим. Или, достав машинку, уговаривал какого-нибудь дылду вроде Федоренко остричь Шнайдеру полголовы, а потом имитировать, что машинка испорчена, и куражиться над бедным мальчиком, когда тот ходит за ним и просит со слезами окончить стрижку.

Спасение во всех этих бедах пришло самым неожиданным и самым позорным образом.

Однажды вечером отворилась дверь моего кабинета, и Иван Иванович ввел Остромухова и Шнайдера, обоих окровавленных, плюющих кровью, но даже не плачущих от привычного страха.

— Осадчий? — спросил я.

Дежурный рассказал, что Осадчий за ужином приставал к Шнайдеру, бывшему дежурным по столовой, заставлял его переменять порцию, подавать другой хлеб, и, наконец, за то, что Шнайдер, подавая суп, нечаянно наклонил тарелку и коснулся пальцами супа, Осадчий вышел из-за стола и при дежурном и при всей колонии ударил Шнайдера по лицу. Шнайдер, пожалуй, и промолчал бы, но дежурство оказалось не из трусливых, да у нас никогда и не было драк при дежурном. Иван Иванович приказал Осадчему выйти из столовой и пойти ко мне доложить. Осадчий из столовой направился к дверям, но в дверях остановился и сказал:

— Я к завколу пойду, но раньше этот жид у меня попоет!

Здесь произошло небольшое чудо. Остромухов, бывший всегда самым беззащитным из евреев, вдруг выскочил из-за стола и бросился к Осадчему:

— Я тебе не дам его бить!

Все это кончилось тем, что тут же, в столовой, Осадчий избил Остромухова, а выходя, заметил притаившегося в сенях Шнайдера и ударил его так сильно,

что у того выскочил зуб. Ко мне Осадчий идти отказался.

В моем кабинете Остромухов и Шнайдер размазывали кровь по лицам грязными рукавами клифтов, но не плакали и, очевидно, прощались с жизнью. Я тоже был уверен, что если сейчас не разрешу до конца все напряжение, то евреям нужно будет немедленно спасаться бегством или приготовиться к настоящим мукам. Меня подавляло и прямо замораживало то безразличие к побоям в столовой, которое проявили все колонисты, даже такие, как Задоров. Я вдруг почувствовал, что сейчас я так же одинок, как в первые дни колонии. Но в первые дни я и не ожидал поддержки и сочувствия ниоткуда, это было естественное и заранее учтенное одиночество, а теперь я уже успел избаловаться и привыкнуть к постоянному сотрудничеству колонистов.

В кабинете вместе с потерпевшими находилось несколько человек. Я сказал одному из них:

— Позови Осадчего.

Я был почти уверен, что Осадчий закусил удила и откажется прийти, и твердо решил в крайнем случае привести его сам, хотя бы и с револьвером.

Но Осадчий пришел, ввалился в кабинет в пиджаке внакидку, руки в карманах, по дороге двинул стулом. Вместе с ним пришел и Таранец. Таранец делал вид, что все это страшно интересно и он пришел только потому, что ожидается занимательное представление.

Осадчий глянул на меня через плечо и спросил:

— Ну, я пришел... Чего?

Я показал ему на Остромухова и Шнайдера:

— Это что такое?

— Ну, что ж такое! Подумаешь!.. Два жидка. Я думал, вы что покажете.

И вдруг педагогическая почва с треском и грохотом провалилась подо мною. Я очутился в пустом пространстве. Тяжелые счеты, лежавшие на моем столе, вдруг полетели в голову Осадчего. Я промахнулся, и счеты со звоном ударились в стену и скатились на пол.

В полном беспамятстве я искал на столе что-нибудь тяжелое, но вдруг схватил в руки стул и ринулся с ним на Осадчего. Он в панике шарахнулся к дверям, но пид-

жак свалился с его плеч на пол, и Осадчий, запутавшись в нем, упал.

Я опомнился, кто-то взял меня за плечи. Я оглянулся,— на меня смотрел Задоров и улыбался:

— Не стоит того эта гадина!

Осадчий сидел на полу и начинал всхлипывать. На окне притаился бледный Таранец, у него дрожали губы.

— Ты тоже издевался над этими ребятами!

Таранец сполз с подоконника.

— Даю честное слово, никогда больше не буду!

— Вон отсюда!

Он вышел на цыпочках.

Осадчий, наконец, поднялся с полу, держа пиджак в руке, а другой рукой ликвидировал последний остаток своей нервной слабости — одинокую слезу на грязной щеке. Он смотрел на меня спокойно, серьезно.

— Четыре дня отсидишь в сапожной на хлебе и на воде.

Осадчий криво улыбнулся и, не задумываясь, ответил:

— Хорошо, я отсижу.

На второй день ареста он вызвал меня в сапожную и попросил:

— Я не буду больше, простите.

— О прощении будет разговор, когда отсидишь свой срок.

Отсидев четыре дня, он уже не просил прощения, а заявил угрюмо:

— Я ухожу из колонии.

— Уходи.

— Дайте документ.

— Никаких документов!

— Прощайте!

— Будь здоров.

14. ЧЕРНИЛЬНИЦЫ ПО-СОСЕДСКИ

Куда ушел Осадчий, мы не знали. Говорили, что он отправился в Ташкент, потому что там все дешево и можно прожить весело, другие говорили, что у Осадчего

в нашем городе дядя, а третьи поправляли, что не дядя, а знакомый извозчик.

Я никак не мог прийти в себя после нового педагогического падения. Колонисты приставали ко мне с вопросами, не слышал ли я чего-нибудь об Осадчем.

— Да что вам Осадчий? Чего вы так беспокоитесь?

— Мы не беспокоимся,— сказал Карабанов,—а только лучше, если бы он был здесь. Вам было б лучше...

— Не понимаю.

Карабанов глянул на меня мефистофельским глазом:

— Мабуть, нехорошо у вас там, на душе...

Я на него раскричался:

— Убирайтесь от меня с вашими душевными разговорами! Вы что вообразили? Уже и душа в вашем распоряжении?..

Карабанов тихонько отошел от меня.

В колонии звенела жизнь, я слышал здоровый и бодрый тон колонии, под моим окном звучали шутки и проказы между делом (все почему-то собирались под моим окном), никто ни на кого не жаловался. И Екатерина Григорьевна однажды сказала мне с таким выражением, будто я тяжело больной, а она сестра милосердия:

— Вам нечего мучиться, пройдет.

— Да я и не мучусь. Пройдет, конечно. Как в колонии?

— Я и сама не знаю, как это объяснить. В колонии сейчас хорошо, человечно как-то. Евреи наши — прелесть: они немного испуганы всем, прекрасно работают и страшно смущаются. Вы знаете, старшие за ними ухаживают. Митягин, как нянька, ходит: заставил Глейзера вымыться, остриг, даже пуговицы пришил.

Да. Значит, все было хорошо. Но какой беспорядок и хлам заполняли мою педагогическую душу! Меня угнетала одна мысль: неужели я так и не найду, в чем секрет? Ведь, вот, как будто в руках было, ведь только ухватить оставалось. Уже у многих колонистов по-новому поблескивали глаза... и вдруг все так безобразно сорвалось. Неужели все начинать сначала?

Меня возмущали безобразно организованная педагогическая техника и мое техническое бессилие. И я с отвращением и злостью думал о педагогической науке:

«Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего нет. Какое-то шарлатанство».

Об Осадчем я думал меньше всего. Я его вывел в расход, записал в счет неизбежных в каждом производстве убытков и брака. Его кокетливый уход еще меньше меня смущал.

Да кстати, он скоро вернулся.

На нашу голову свалился новый скандал, при сообщении о котором я, наконец, узнал, что это значит, когда говорят, что волосы встали дыбом.

В тихую морозную ночь шайка колонистов-горьковцев с участием Осадчего вступила в ссору с пироговскими парубками. Ссора перешла в драку: с нашей стороны преобладало холодное оружие — финки, с их стороны горячее — обрезы. Бой кончился в нашу пользу. Парубки были оттеснены с того места, где собирается улица, а потом позорно бежали и заперлись в здании сельсовета. К трем часам здание сельсовета было взято приступом, то есть выломаны двери и окна, и бой перешел в энергичное преследование. Парубки повыскакивали в те же двери и окна и разбежались по домам, а колонисты возвратились в колонию с великим торжеством.

Самое ужасное было в том, что сельсовет оказался разгромленным вконец, и на другой день в нем нельзя было работать. Кроме окон и дверей, были приведены в негодность столы и лавки, разбросаны бумаги и разбиты чернильницы.

Бандиты утром проснулись, как невинные младенцы, и пошли на работу. В полдень пришел ко мне пироговский председатель и рассказал о событиях минувшей ночи.

Я смотрел с удивлением на этого старенького, щупленького, умного селянина: почему он со мною еще разговаривает, зачем он не зовет милицию, не берет под стражу всех этих мерзавцев и меня вместе с ними?

Но председатель повествовал обо всем не столько с гневом, сколько с грустью и больше всего беспокоился о

том, исправит ли колония окна и двери, исправит ли столы и не может ли колония сейчас выдать ему, пироговскому председателю, две чернильницы?

Я прямо обалдел от удивления и никак не мог понять, чем объяснить такое «человеческое» отношение к нам со стороны власти. Потом я решил, что председатель, как и я, еще не может вместить в себя весь ужас событий: он просто бормочет кое-что, чтобы хоть как-нибудь «реагировать».

Я по себе судил: я сам был только способен кое-что бормотать:

— Ну, хорошо... конечно, мы все исправим... А чернильницы? Да вот эти можно взять.

Председатель взял чернильницы и осторожно собрал в левой руке, прижимая к животу. Это были обыкновенные невыливайки.

— Так мы все исправим. Я сейчас же пошлю мастера. Вот только со стеклом придется подождать, пока привезем из города.

Председатель посмотрел на меня с благодарностью.

— Да нет, можно и завтра. Тогда знаете, как стекло будет, можно все сразу сделать...

— Ага... Ну, хорошо, значит, завтра.

Отчего же он все-таки не уходит, этот шляпа-председатель?

— Вы домой сейчас? — спросил я его.

— Да.

Председатель оглянулся, достал из кармана желтый платок и вытер им совершенно чистые усы. Подвинулся ближе ко мне.

— Тут, понимаете, такое дело... Там вчера ваши хлопцы забрали... Та там, знаете, народ молодой... и мой там мальчишка. Ну, народ молодой, для баловства, ни для чего другого, боже борони... Как товарищи, знаете, заводят, ну, и себе ж нужно. Я вже говорил время такое, правда... что у каждого есть...

— Да в чем дело? — спросил я его.— Простите, не понимаю.

— Обрез,— сказал в упор председатель.

— Обрез?

— Обрез же.

— Так что?

— Ах ты, господи, та я ж кажу: ну баловались, чи што, ну... отож вчера произошло... Так ваши забрали... у моего, и еще там не знаю, може, и потерял кто, бо, знаете, народ выпивший... И где они самогонку эту достают?

— Кто народ выпивший?

— Ах ты, господи, да кто ж... Да разве там разберешь? Я ж там не був, а разговоры такие, что ваши были все пьяные...

— А ваши?

Председатель замялся:

— Та я ж там не був... Што оно, правда, вчера воскресенье. Та я ж не про то. Дело, знаете, молодое, шо ж, и ваши мальчики, я ж ничего, ну, там... побились, никого ж и не убили и не поранили. Може, с ваших кого? — спросил он вдруг со страхом.

— Да с нашими я еще не говорил.

— Я не чув... а кто говорит, что были будто выстрелы, два чи три, те вже, мабуть, як тикалы, потому что ваши ж, знаете, народ горячий, а наши деревенские, конешно ж, пока повернулись туда-сюда... Хэ-хэ-хэ-хэ!..

Смеется старик и глазки сощурил, ласковый такой и родной-родной. Таких стариков «папашами» всегда называют. Смеюсь и я, глядя на него, а в душе беспорядок невыносимый.

— Значит, по-вашему, ничего страшного — подрались и помирятся?

— Вот именно, вот именно, помирятся. Хиба ж, як я молодой був, хиба ж так за девок бились? Моего брата Якова так и до смерти прибили парубки. Вы вот хлопцев позовите, поговорите с ними, чтоб, знаете, больше такого не было.

Я вышел на крыльцо.

— Позови тех, кто был вчера на Пироговке.

— А где они? — спросил меня шустрый пацан, пробегавший по каким-то срочным делам по двору.

— Не знаешь разве, кто был вчера на Пироговке?

— О, вы хитрый... Я вам лучше Буруна позову.

— Ну, зови Буруна.

Бурун явился на крыльцо.

— Осадчий в колонии?

— Пришел, работает в столярной.

— Скажи ему вот что: вчера наши надебоширили на Пироговке, и дело очень серьезное.

— Да, у нас говорили хлопцы.

— Так вот, скажи сейчас Осадчему, чтобы все собрались ко мне, тут председатель сидит у меня. Да чтобы не брехали, может очень печально кончиться.

В кабинете набилось «пироговцев» полно: Осадчий, Приходько, Чобот, Опришко, Галатенко, Голос, Сорока, еще кто-то, не помню. Осадчий держался свободно, как будто у нас с ним ничего не было. При постороннем я не хотел вспоминать старое.

— Вы вчера были на Пироговке, были пьяные, хулиганили, вас хотели утихомирить, так вы побили парней, разгромили сельсовет. Так?

— Не совсем так, как вы говорите,— выступил Осадчий.— Это действительно, что хлопцы были на Пироговке, а я там три дня жил, потому ж, знаете... Пьяные не были, это неправда. Вот ихний Панас еще днем гулял с Сорокой, и Сорока действительно был выпивши... немножко, да. Голосу кто-то поднес по знакомству. А так все были как следует. И ни с кем мы не заедались, гуляли, как и все. А потом подходит один там, Харченко, ко мне и кричит: «Руки вверх!», а сам обрез на меня. Ну, я ему, правда, и дал по морде. Ну, тут и пошло... Они злы на нас, что девчата с нами больше...

— Что ж пошло?

— Да ничего, подрались. Если бы они не стреляли, так ничего и не было бы. А Панас выстрелил, и Харченко тоже, ну, за ними и погнались. Мы их бить не хотели, только обрезы поотнимать, а они заперлись. Так Приходько — вы ж знаете его — как двинет...

— Двинет! Надвигали! Обрезы где? Сколько?

— Два.

Осадчий обернулся к Сороке:

— Принеси.

Принесли обрезы. Хлопцев я отпустил в мастерские. Председатель мялся возле обрезов:

— Так как же, можно забрать?

— Зачем же? Ваш сын не имеет права ходить с обрезом, и Харченко тоже. Я не имею права отдавать.

— Да нет, на что они мне? И не отдавайте, пусть у вас останутся, може, там в лесу когда попугать воров придется. Я к тому, знаете, вы вже не придавайте этому делу... Дело молодое, знаете.

— Это... чтобы я никуда не жаловался?

— Ну конешно ж...

Я рассмеялся:

— Да зачем же? Мы по-соседски.

— Во-во,— обрадовался дед,— по-соседски... Чего не бывает! Да если все до начальства...

Ушел председатель, отлегло от сердца.

Собственно говоря, я еще обязан был всю эту историю размазать на педагогическом транспаранте. Но и я и хлопцы так были рады, что все кончилось благополучно, что обошлось без педагогики на этот раз. Я их не наказывал; они мне слово дали на Пироговку без моего разрешения не ходить и наладить отношения с пироговскими парубками.

15. «НАШ — НАЙКРАЩИЙ»

К зиме 1922 года в колонии было шесть девочек. К тому времени выровнялась и замечательно похорошела Оля Воронова. Хлопцы заглядывались на нее не шутя, но Оля была со всеми одинаково ласкова, недоступна, и только Бурун был ее другом. За широкими плечами Буруна Оля никого не боялась в колонии и могла пренебрежительно относиться даже к влюбленности Приходько, самого сильного, самого глупого и бестолкового человека в колонии. Бурун не был влюблен, у них с Олей была действительно хорошая юношеская дружба; и это обстоятельство много прибавляло уважения среди колонистов и к Буруну и к Вороновой. Несмотря на свою красоту, Оля не была сколько-нибудь заметной. Ей очень нравилось сельское хозяйство; работа на поле, даже самая тяжелая, ее увлекала, как музыка, и она мечтала:

— Как выросту, обязательно за грака замуж выйду.

Верховодила у девчат Настя Ночевная. Прислали ее в колонию с огромнейшим пакетом, в котором много было написано про Настю: и воровка, и продавщица краденого, и содержательница «малины». И поэтому мы смот-

рели на Настю как на чудо. Это был исключительно честный и симпатичный человек. Насте не больше пятнадцати лет, но отличалась она дородностью, белым лицом, гордой посадкой головы и твердым характером. Она умела покрикивать на девчат без вздорности и визгливости, умела одним взглядом привести к порядку любого колониста и прочитать ему короткий внушительный выговор:

— Ты что это хлеб наломал и бросил? Богатым стал или у свиней техникум окончил? Убери сейчас же!..

И голос у Насти был глубокий, грудной, отдававший сдержанной силой.

Настя подружилась с воспитательницами, упорно и много читала и без всяких сомнений шла к намеченной цели — к рабфаку. Но рабфак был еще за далеким горизонтом для Насти, так же как и для других людей, стремившихся к нему: Карабанова, Вершнева, Задорова, Ветковского. Слишком уж были малограмотны наши первенцы и с трудом осиливали премудрости арифметики и политграмоты. Образованнее всех была Раиса Соколова, и ее мы отправили в киевский рабфак осенью 1921 года.

Собственно говоря, это было безнадежное предприятие, но уж очень хотелось нашим воспитательницам иметь в колонии рабфаковку. Цель прекрасная, но Раиса мало подходила для такого святого дела. Целое лето она готовилась в рабфак, но к книжке ее приходилось загонять силой, потому что Раиса ни к какому образованию не стремилась.

Задоров, Вершнев, Карабанов — всё люди, обладавшие вкусом к науке,— очень были недовольны, что на рабфаковскую линию выходит Раиса. Вершнев, колонист, отличавшийся замечательной способностью читать в течение круглых суток, даже в то время, когда он дует мехом в кузнице, большой правдолюб и искатель истины, всегда ругался, когда вспоминал о светозарном Раисином будущем. Заикаясь, он говорил мне:

— Как эттого нне ппонять? Раиса ввсе равно в ттюрьме кончит.

Карабанов выражался еще определеннее:

— Никогда не ожидал от вас такой дурости.

Задоров, не стесняясь присутствием Раисы, брезгливо улыбался и безнадежно махал рукой:

— Рабфаковка! Приклеили горбатого до стены.

Раиса кокетливо и сонно улыбалась в ответ на все эти сарказмы, и хотя на рабфак не стремилась, но была довольна: ей нравилось, что она поедет в Киев.

Я был согласен с хлопцами. Действительно, какая из Раисы рабфаковка! Она и теперь, готовясь в рабфак, получала из города какие-то подозрительные записки, тайком уходила из колонии; а к ней так же скрытно приходил Корнеев, неудавшийся колонист, пробывший в колонии всего три недели, обкрадывавший нас сознательно и регулярно, потом попавшийся в краже в городе, постоянный скиталец по угрозыскам, существо в высшей степени гнилое и отвратительное, один из немногих людей, от которых я отказывался с первого взгляда на них.

Экзамен в рабфаке Раиса выдержала. Но через неделю после этого счастливого известия наши откуда-то узнали, что Корнеев тоже отправился в Киев.

— Вот теперь начнется настоящая наука,— сказал Задоров.

Проходила зима. Раиса изредка писала, но ничего нельзя было разобрать из ее писем. То казалось, что у нее все благополучно, то выходило, что с ученьем очень трудно, и всегда не было денег, хотя она и получала стипендию. Раз в месяц мы посылали ей двадцать—тридцать рублей. Задоров уверял, что на эти деньги Корнеев хорошо поужинает, и это было похоже на правду. Больше всего доставалось воспитательницам, инициаторам киевской затеи.

— Ну, вот каждому человеку видно, что это не годится, а вам не видно. Как же это может быть: нам видно, а вам не видно?

В январе Раиса неожиданно приехала в колонию со всеми своими корзинками и сказала, что отпущена на каникулы. Но у нее не было никаких отпускных документов, и по всему ее поведению было видно, что возвращаться в Киев она не собирается. На мой запрос киевский рабфак сообщил, что Раиса Соколова перестала посещать институт и выехала из общежития неизвестно куда.

Вопрос был выяснен. Нужно отдать справедливость ребятам: они Раису не дразнили, не напоминали о не-

удачном рабфаке и как будто даже забыли обо всем этом приключении. В первые дни после ее приезда посмеялись всласть над Екатериной Григорьевной, которая и без того была смущена крайне, но вообще считали, что случилась самая обыкновенная вещь, которую они и раньше предвидели.

В марте ко мне обратилась Осипова с тревожным сомнением: по некоторым признакам, Раиса беременна.

Я похолодел. Мы находились в положении усложненном: подумайте, в детской колонии воспитанница беременна. Я ощущал вокруг нашей колонии, в городе, в наробразе, присутствие очень большого числа тех добродетельных ханжей, которые обязательно воспользуются случаем и поднимут страшный визг: в колонии половая распущенность, в колонии мальчики живут с девочками. Меня пугала и самая обстановка в колонии, и затруднительное положение Раисы как воспитанницы. Я просил Осипову поговорить с Раисой «по душам».

Раиса решительно отрицала беременность и даже обиделась:

— Ничего подобного! Кто это выдумал такую гадость? И откуда это пошло, что и воспитательницы стали заниматься сплетнями?

Осипова, бедная, в самом деле почувствовала, что поступила нехорошо. Раиса была очень полна, и кажущуюся беременность можно было объяснить просто нездоровым ожирением, тем более, что на вид действительно определенного ничего не было. Мы Раисе поверили.

Но через неделю Задоров вызвал меня вечером во двор, чтобы поговорить наедине.

— Вы знаете, что Раиса беременна?

— А ты откуда знаешь?

— Вот чудак! Да что же, не видно, что ли? Это все знают,— я думал, что и вы знаете.

— Ну, а если беременна, так что?

— Да ничего... Только чего она скрывает это? Ну, беременна — и беременна, а чего вид такой делает, что ничего подобного. Да вот и письмо от Корнеева. Тут... видите? — «дорогая женушка». Да мы это и раньше знали.

Беспокойство усилилось и среди педагогов. Наконец меня вся история начала злить.

— Ну чего так беспокоиться? Беременна, значит, родит. Если теперь скрывает, то родов нельзя же будет скрыть. Ничего ужасного нет, будет ребенок, вот и все.

Я вызвал Раису к себе и спросил:

— Скажи, Раиса, правду: ты беременна?

— И чего ко мне все пристают? Что это такое, в самом деле,— пристали все, как смола: беременна да беременна! Ничего подобного, понимаете или нет?

Раиса заплакала.

— Видишь ли, Раиса, если ты беременна, то не нужно этого скрывать. Мы тебе поможем устроиться на работу, хотя бы и у нас в колонии, поможем и деньгами. Для ребенка все нужно же приготовить, пошить и все такое...

— Да ничего подобного! Не хочу я никакой работы, отстаньте!

— Ну, хорошо, иди.

Так ничего в колонии и не узнали. Можно было бы отправить ее к врачу на исследование, но по этому вопросу мнения педагогов разделились. Одни настаивали на скорейшем выяснении дела, другие поддерживали меня и доказывали, что для девушки такое исследование очень тяжело и оскорбительно, что, наконец, и нужды в таком исследовании нет,— все равно рано или поздно вся правда выяснится, да и куда спешить: если Раиса беременна, то не больше как на пятом месяце. Пусть она успокоится, привыкнет к этой мысли, а тем временем и скрывать уже станет трудно.

Раису оставили в покое.

Пятнадцатого апреля в городском театре было большое собрание педагогов, на этом собрании я читал доклад о дисциплине. В первый вечер мне удалось закончить доклад, но вокруг моих положений развернулись страстные прения, пришлось обсуждение доклада перенести на второй день. В театре присутствовали почти все наши воспитатели и кое-кто из старших колонистов. Ночевать мы остались в городе.

Колонией в то время уже заинтересовались не только в нашей губернии, и на другой день народу в театре было видимо-невидимо. Между прочими вопросами, какие мне задавали, был и вопрос о совместном воспитании. Тогда совместное воспитание в колониях для правонару-

шителей было запрещено законом; наша колония была единственной в Союзе, проводившей опыт совместного воспитания.

Отвечая на вопрос, я мельком вспомнил о Раисе, но даже возможная беременность ее в моем представлении не меняла ничего в вопросе о совместном воспитании. Я доложил собранию о полном благополучии у нас в этой области.

Во время перерыва меня вызвали в фойе. Я наткнулся на запыхавшегося Братченко: он верхом прилетел в город и не захотел сказать ни одному из воспитателей, в чем дело.

— У нас несчастье, Антон Семенович. У девочек в спальне нашли мертвого ребенка.

— Как — мертвого ребенка?!

— Мертвого, совсем мертвого. В корзинке Раисиной. Ленка мыла полы и зачем-то заглянула в корзинку, может, взять что хотела, а там — мертвый ребенок.

— Что ты болтаешь?

Что можно сказать о нашем самочувствии? Я никогда еще не переживал такого ужаса. Воспитательницы, бледные и плачущие, кое-как выбрались из театра и на извозчике поехали в колонию. Я не мог ехать, так как мне еще нужно было отбиваться от нападений на мой доклад.

— Где сейчас ребенок? — спросил я Антона.

— Иван Иванович запер в спальне. Там, в спальне.

— А Раиса?

— Раиса сидит в кабинете, там ее стерегут хлопцы.

Я послал Антона в милицию с заявлением о находке, а сам остался продолжать разговоры о дисциплине.

Только к вечеру я был в колонии. Раиса сидела на деревянном диване в моем кабинете, растрепанная и в грязном переднике, в котором она работала в прачечной. Она не посмотрела на меня, когда я вошел, и еще ниже опустила голову. На том же диване Вершнев обложился книгами: очевидно, он искал какую-то справку, потому что быстро перелистывал книжку за книжкой и ни на кого не обращал никакого внимания.

Я распорядился снять замок на дверях спальни и корзинку с трупом перенести в бельевую кладовку. Позд-

но вечером, когда уже все разошлись спать, я спросил Раису:

— Зачем ты это сделала?

Раиса подняла голову, посмотрела на меня тупо, как животное, и поправила фартук на коленях.

— Сделала — и всё.

— Почему ты меня не послушала?

Она вдруг тихо заплакала.

— Я сама не знаю.

Я оставил ее ночевать в кабинете под охраной Вершнева, читательская страсть которого гарантировала его совершеннейшую бдительность. Мы все боялись, что Раиса над собой что-нибудь сделает.

Наутро приехал следователь, следствие заняло не много времени, допрашивать было некого. Раиса рассказала о своем преступлении в скупых, но точных выражениях. Родила она ребенка ночью, тут же в спальне, в которой спало еще пять девочек. Ни одна из них не проснулась. Раиса объяснила это, как самое простое дело:

— Я старалась не стонать.

Немедленно после родов она задушила ребенка платком. Отрицала преднамеренное убийство:

— Я не хотела так сделать, а он стал плакать.

Она спрятала труп в корзинку, с которой ездила на рабфак, и рассчитывала в следующую ночь вынести его и бросить в лесу. Думала, что лисицы его съедят и никто ничего не узнает. Утром пошла на работу в прачечную, где девочки стирали свое белье. Завтракала и обедала со всеми колонистами, была только «скучная», по словам хлопцев.

Следователь увез Раису с собой, а труп распорядился отправить в трупный покой одной из больниц для вскрытия.

Педагогический персонал этим событием был деморализован до последней степени. Думали, что для колонии настали последние времена.

Колонисты были в несколько приподнятом настроении. Девочек пугала вечерняя темнота и собственная спальня, в которой они ни за что не хотели ночевать без мальчиков. Несколько ночей у них в спальне торчали Задоров и Карабанов. Все это кончилось тем, что ни девочки, ни мальчики не спали и даже не раздева-

лись. Любимым занятием хлопцев в эти дни стало пугать девчат: они являлись под их окнами в белых простынях, устраивали кошмарные концерты в печных ходах, тайно забирались под кровать Раисы и вечером оттуда пищали благим матом.

К самому убийству хлопцы отнеслись, как к очень простой вещи. При этом все они составляли оппозицию воспитателям в объяснении возможных побуждений Раисы. Педагоги были уверены, что Раиса задушила ребенка в припадке девичьего стыда: в напряженном состоянии среди спящей спальни действительно нечаянно запищал ребенок,— стало страшно, что вот-вот проснутся.

Задоров разрывался на части от смеха, выслушивая эти объяснения слишком психологически настроенных педагогов.

— Да бросьте эту чепуху говорить! Какой там девичий стыд! Заранее все было обдумано, потому и не хотела признаться, что скоро родит. Все заранее обдумали и обсудили с Корнеевым. И про корзинку заранее, и чтобы в лес отнести. Если бы она от стыда сделала, разве она так спокойно пошла бы на работу утром? Я бы эту самую Раису, если бы моя воля, завтра застрелил бы. Гадиной была, гадиной всегда и останется. А вы про девичий стыд! Да у нее никакого стыда никогда не было.

— В таком случае какая же цель, зачем это она сделала? — ставили педагоги убийственный вопрос.

— Очень простая цель: на что ей ребенок? С ребенком возиться нужно — и кормить, и все такое. Очень нужен им ребенок, особенно Корнееву.

— Ну-у! Это не может быть...

— Не может быть? Вот чудаки! Конечно, Раиса не скажет, а я уверен, если бы ее взять в работу, так там такое откроется...

Ребята были согласны с Задоровым без малейших намеков на сомнение. Карабанов был уверен в том, что «такую штуку» Раиса проделывает не первый раз, что еще до колонии, наверное, что-нибудь было.

На третий день после убийства Карабанов отвез труп ребенка в какую-то больницу. Возвратился он в большом воодушевлении:

— Ой, чого я там тилько не бачив! Там в банках понаставлено всяких таких пацанов, мабуть, десятка три. Там таки страшни: з такою головою, одно — ножки скрючило, и не разберешь, чы чоловик, чы жаба яка. Наш — куды! Наш — найкращий.

Екатерина Григорьевна укоризненно покачала головой, но и она не могла удержаться от улыбки:

— Ну что вы говорите, Семен, как вам не стыдно!

Кругом хохочут ребята, им уже надоели убитые, постные физиономии воспитателей.

Через три месяца Раису судили. В суд был вызван весь педсовет колонии имени Горького. В суде царствовали психология и теория девичьего стыда. Судья укорял нас за то, что мы не воспитали правильного взгляда. Протестовать мы, конечно, не могли. Меня вызвали на совещание суда и спросили:

— Вы ее снова можете взять в колонию?

— Конечно.

Раиса была приговорена условно на восемь лет и немедленно отдана под ответственный надзор в колонию.

К нам она возвратилась как ни в чем не бывало, принесла с собой великолепные желтые полусапожки и на наших вечеринках блистала в вихре вальса, вызывая своими полусапожками непереносимую завись наших прачек и девчат с Пироговки.

Настя Ночевная сказала мне:

— Вы Раису убирайте с колонии, а то мы ее сами уберем. Отвратительно жить с ней в одной комнате.

Я поспешил устроить ее на работу на трикотажной фабрике.

Я несколько раз встречал ее в городе. В 1928 году я приехал в этот город по делам и неожиданно за буфетной стойкой одной из столовых увидел Раису и сразу ее узнал: она раздобрела и в то же время стала мускулистее и стройнее.

— Как живешь?

— Хорошо. Работаю буфетчицей. Двое детей и муж хороший.

— Корнеев?

— Э, нет,— улыбнулась она,— старое забыто. Его зарезали на улице давно... А знаете что, Антон Семенович?

— Ну?

— Спасибо вам, тогда не утопили меня. Я как пошла на фабрику, с тех пор старое выбросила.

16. ГАБЕРСУП

Весною нагрянула на нас новая беда — сыпной тиф. Первым заболел Костя Ветковский.

Врача в колонии не было. Екатерина Григорьевна, побывавшая когда-то в медицинском институте, врачевала в тех необходимых случаях, когда и без врача обойтись невозможно и врача приглашать неловко. Ее специальностью уже в колонии сделались чесотка и скорая помощь при порезах, ожогах, ушибах, а зимой, благодаря несовершенству нашей обуви, у нас много было ребят с отмороженными ногами. Вот, кажется, и все болезни, которыми снисходительно болели колонисты,— они не отличались склонностью возиться с врачами и лекарствами.

Я всегда относился к колонистам с глубоким уважением именно за их медицинскую непритязательность и сам многому у них в этой области научился. У нас сделалось совершенно привычным не считаться больным при температуре в тридцать восемь градусов, и соответствующей выдержкой мы один перед другим щеголяли. Впрочем, это было почти необходимым просто потому, что врачи к нам очень неохотно ездили.

Вот почему, когда заболел Костя и у него оказалась температура под сорок, мы отметили это как новость в колонистском быту. Костю уложили в постель и старались оказать ему всяческое внимание. По вечерам у его постели собирались приятели, а так как к нему многие относились хорошо, то его вечером окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю общества и не смущать ребят, мы тоже у кровати больного проводили вечерние часы.

Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно сообщила мне о своем беспокойстве: очень похоже на сып-

ной тиф. Я запретил ребятам подходить к его постели, но изолировать Костю как-нибудь по-настоящему было все равно невозможно: приходилось и заниматься в той же комнате и собираться вечером.

Еще через день, когда Ветковскому стало очень плохо, мы завернули его в ватное одеяло, которым он укрывался, усадили в фаэтон, и я повез его в город.

В приемной больницы ходят, лежат и стонут человек сорок. Врача долго нет. Видно, что тут давно сбились с ног и что помещение больного в больницу ничего особенно хорошего не сулит. Наконец приходит врач. Лениво подымает рубашку у нашего Ветковского, старчески кряхтит и лениво говорит записывающему фельдшеру:

— Сыпной. В больничный городок.

За городом, в поле, от войны осталось десятка два деревянных бараков. Я долго брожу между сестрами, больными, санитарами, выносящими закрытые простынями носилки. Говорят, что больного должен принять дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, и никто не хочет его найти. Я, наконец, теряю терпение и набрасываюсь на ближайшую сестру, употребляя слова «безобразие», «бесчеловечно», «возмутительно». Мой гнев приносит пользу: Костю раздевают и куда-то ведут.

Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли с такой же температурой Задоров, Осадчий и Белухин. Задорова, впрочем, я застал еще на ногах в тот самый момент, когда он отвечал на уговор Екатерины Григорьевны лечь в постель:

— И какая вы женщина странная! Ну чего я лягу? Я вот-сейчас пойду в кузницу, там меня Софрон моментально вылечит...

— Как вас Софрон вылечит? Что вы говорите глупости!..

— А вот тем самым, что и себя лечит: самогон, перец, соль, олеонафт и немного колесной мази! — заливается Задоров по обыкновению выразительно и открыто.

— Смотрите, Антон Семенович, до чего вы их распустили! — обращается ко мне Екатерина Григорьевна.— Он будет лечиться у Софрона! Ступайте, укладывайтесь!

От Задорова несло страшным жаром, и было видно, что он еле держится на ногах. Я взял его за локоть и молча направил в спальню. В спальне уже лежали в кроватях Осадчий и Белухин. Осадчий страдал и был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, что такие «боевые» парни всегда очень трудно переносят болезнь. Зато Белухин по обыкновению был в радужном настроении.

Не было в колонии человека веселее и радостнее Белухина. Он происходил из столбового рабочего рода в Нижнем Тагиле; во время голода отправился за хлебом, в Москве был задержан при какой-то облаве и помещен в детский дом, оттуда убежал и освоился на улице, снова был задержан и снова убежал. Как человек предприимчивый, он старался не красть, а больше спекулировал, но сам потом рассказывал о своих спекуляциях с добродушным хохотом, так они были всегда смелы, своеобразны и неудачны. Наконец Белухин убедился, что он для спекуляции не годится, и решил ехать на Украину.

Белухин когда-то учился в школе, знал обо всем понемножку, парень был разбитной и бывалый, но на удивление и дико неграмотный. Бывают такие ребята: как будто всю грамоту изучил, и дроби знает, и о процентах имеет понятие, но все это у него удивительно коряво и даже смешно получается. Белухин и говорил на таком же корявом языке, тем не менее умном и с огоньком.

Лежа в тифу, он был неистощимо болтлив, и, как всегда, его остроумие удваивалось случайно комическим сочетанием слов:

— Тиф — это медицинская интеллигентность, так почему она прицепилась к рабочему от природы? Вот когда социализм уродится, тогда эту бациллу и на порог не пустим, а если, скажем, ей приспичит по делу: паек получить или что, потому что и ей же, по справедливости, жить нужно, так обратись к моему секретарю-писателю. А секретарем приклепаем Кольку Вершнева, потому он с книжкой, как собака с блохой, не разлучается. Колька интеллигентность совершит, и ему — что блоха, что бацилла соответствует по демократическому равносилию.

— Я буду секретарем, а ты что будешь делать при социализме? — спрашивает Колька Вершнев, заикаясь.

Колька сидит в ногах у Белухина, по обыкновению с книжкой, по обыкновению взлохмаченный и в изодранной рубашке.

— А я буду законы писать, как вот тебя одеть, чтобы у тебя приспособленность к человечеству была, а не как к босяку, потому что это возмущает даже Тоську Соловьева. Какой же ты читатель, если ты на обезьяну похож? Да и то, не у всякого обезьянщика такая обезьяна черная выступает. Правда ж, Тоська?

Хлопцы хохотали над Вершневым. Вершнев не сердился и любовно посматривал на Белухина серыми добрыми глазами. Они были большими друзьями, пришли в колонию вместе и рядом работали в кузнице, только Белухин уже стоял у наковальни, а Колька предпочитал дуть мехом, чтобы иметь одну свободную руку для книжки.

Тоська Соловьев, чаще называвшийся Антоном Семеновичем,— были мы с ним двойные тезки,— имел от роду только десять лет. Он был найден Белухиным в нашем лесу умирающим от голода и уже в беспамятстве. На Украину он выехал из Самарской губернии вместе с родителями, в дороге потерял мать, а что потом было, и не помнит. У Тоськи хорошенькое, ясное детское лицо, и оно всегда обращено к Белухину. Тоська, видимо, прожил свою маленькую жизнь без особенно сильных впечатлений, и его навсегда поразил и приковал к себе этот веселый, уверенный зубоскал Белухин, который органически не мог бояться жизни и всему на свете знал цену.

Тоська стоит в головах у Белухина, и его глазенки горят любовью и восхищением. Он звенит взрывным дискантным смехом ребенка:

— Черная обезьяна!

— Вот Тоська у меня будет молодец,— вытаскивает его Белухин из-за кровати.

Тоська в смущении склоняется на белухинский живот, покрытый ватным одеялом.

— Слушай, Тоська, ты книжки не так читай, как Колька, а то, видишь, он всякую сознательность заморочил себе.

— Не он книжки читает, а книжки его читают,— сказал Задоров с соседней кровати.

Я сижу рядом за партией в шахматы с Карабановым и думаю: «Они, кажется, забыли, что у них тиф».

— Кто-нибудь там, позовите Екатерину Григорьевну.

Екатерина Григорьевна приходит в образе гневного ангела.

— Это что за нежности? Почему здесь Тоська вертится? Вы соображаете что-нибудь? Это ни на что не похоже!

Тоська испуганно срывается с кровати и отступает. Карабанов цепляется за его руку, приседает и в паническом ужасе дурашливо отшатывается в угол:

— И я боюсь...

Задоров хрипит:

— Тоська, так ты же и Антона Семеновича возьми за руку. Что же ты его бросил?

Екатерина Григорьевна беспомощно оглядывается среди радостной толпы.

— Совершенно так, как у зулусов.

— Зулусы — это которые без штанов ходят, а для продовольствия употребляют знакомых,— говорит важно Белухин.— Подойдет этак к барышне: «Позвольте вас сопроводить». Та, конечно, рада: «Ах, зачем же, я сама проводюся».— «Нет, как же можно, разве можно, чтобы самой?» Ну, до переулка доведет и слопает. И даже без горчицы.

Из дальнего угла раздается заливчатый дискант Тоськи. И Екатерина Григорьевна улыбается:

— Там барышень едят, а здесь малых детей пускают к тифозному. Все равно.

Вершнев находит момент отомстить Белухину:

— Зззулусы нне едят нникаких ббарышень. И, конечно, кккультурнее ттебя. Зззаразишь Тттоську.

— А вы, Вершнев, почему сидите на этой кровати? — замечает его Екатерина Григорьевна.— Немедленно уходите отсюда!

Вершнев смущенно начинает собирать свои книжки, разбросанные на кровати Белухина.

Задоров вступается:

— Он не барышня. Его Белухин не будет шамать.

Тоська уже стоит рядом с Екатериной Григорьевной и говорит как будто задумчиво:

— Матвей не будет есть черную обезьяну.

Вершнев под одной рукой уносит целую кучу книг, а под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыгает ногами, хохочет. Вся эта группа сваливается на кровать Вершнева, в самом дальнем углу.

Наутро глубокий воз, изготовленный по проекту Калины Ивановича и немного похожий на гроб, наполнен до отказа. Завернутые в одеяла, сидят на дне подводы наши тифозные. На края гроба положена доска, и на ней возвышаемся мы с Братченко. На душе у меня скверно, потому что предчувствую повторение той же канители, которая встретила Ветковского. И нет у меня никакой уверенности, что ребята едут именно лечиться.

Осадчий лежит на дне и судорожно стягивает одеяло на плечах. Из одеяла выглядывает черно-серая вата, у моих ног я вижу ботинок Осадчего, корявый и истерзанный. Белухин надел одеяло на голову, построил из него трубку и говорит:

— Народы эти подумают, что попы едут. Зачем такую массу попов везут?

Задоров улыбается в ответ, и по этой улыбке видно, как ему плохо.

В больничном городке прежняя обстановка. Я нахожу сестру, которая работает в палате, где лежит Костя. Она с трудом затормаживает стремительный бег по коридору.

— Ветковский? Кажется, в этой палате...

— В каком он состоянии?

— Еще ничего не известно.

Антон за ее спиной дергает кнутом по воздуху:

— Вот еще: неизвестно! Как же это — неизвестно?

— Это с вами мальчик? — брезгливо смотрит сестра на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к штанам которого прицепились соломинки.

— Мы из колонии имени Горького,— начинаю я осторожно.— Здесь наш воспитанник Ветковский. А сейчас я привез еще троих, кажется, тоже с тифом.

— Так вы обратитесь в приемную.

— Да в приемной толпа. А кроме того, я хотел бы, чтобы ребята были вместе.

— Мы не можем всяким капризам потурать!

Так и сказала: «потурать». И двинулась вперед.

Но Антон у нее на дороге:

— Как же это? Вы же можете поговорить с человеком!

— Идите в приемную, товарищи, нечего здесь разговаривать.

Сестра рассердилась на Антона, рассердился на Антона и я:

— Убирайся отсюда, не мешай!

Антон никуда, впрочем, не убирается. Он удивленно смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем же раздраженным тоном:

— Дайте себе труд выслушать два слова. Мне нужно, чтобы ребята выздоровели обязательно. За каждого выздоровевшего я уплачиваю два пуда пшеничной муки. Но я бы желал иметь дело с одним человеком. Ветковский у вас. Устройте так, чтобы и остальные ребята были у вас.

Сестра обалдевает, вероятно, от оскорбления.

— Как это — «пшеничной муки»? Что это — взятка? Я не понимаю!

— Это не взятка — это премия, понимаете? Если вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взятка: мы просим некоторого излишнего внимания к нашим больным, некоторой, может быть, добавочной работы. Дело, видите ли, в том, что они плохо питались, и у них нет, понимаете, родственников.

— Я без пшеничной муки возьму их к себе, если вы хотите. Сколько их?

— Сейчас я привез троих, но, вероятно, еще привезу.

— Ну идемте.

Я и Антон идем за сестрой. Антон хитро щурит глаза и кивает на сестру, но, видимо, и он поражен таким оборотом дела. Он покорно принимает мое нежелание отвечать его гримасам.

Сестра нас проводит в какую-то комнату в дальнем углу больницы, Антон привел наших больных.

У всех, конечно, тиф. Дежурный фельдшер несколько удивленно рассматривает наши ватные одеяла, но сестра убедительным голосом говорит ему:

— Это из колонии имени Горького, отправьте их в мою палату.

— А разве у вас есть места?

— Это мы устроим. Двое сегодня выписываются, а третью кровать найдем, где поставить.

Белухин весело с нами прощается:

— Привозите еще, теплее будет.

Его желание мы исполнили через день: привезли Голоса и Шнайдера, а через неделю еще троих.

На этом, к счастью, и кончилось.

Несколько раз Антон заезжал в больницу и узнавал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не удалось ничего поделать с колонистами.

Мы уже собирались кое за кем ехать в город, как вдруг в звенящий весенний полдень из лесу вышла тень, завернутая в ватное одеяло. Тень прямо вошла в кузницу и запищала:

— Ну, хлебные токари, как вы тут живете? А ты все читаешь? Смотри, вон у тебя мозговая нитка из уха лезет...

Ребята пришли в восторг: Белухин, хоть и худой и почерневший, был по-прежнему весел и ничего не боялся в жизни.

Екатерина Григорьевна накинулась на него: зачем пришел пешком, почему не подождал, пока приедут?

— Видите ли, Екатерина Григорьевна, я бы и подождал, но очень уж по шамовке соскучился. Как подумаю: там же наши житный хлеб едят, и кондёр едят, и кашу едят по полной миске,— так, понимаете, такая тоска у меня по всей психологии распространяется... не могу я наблюдать, как они этот габерсуп... ха-ха-ха-ха!..

— Что за габерсуп?

— Да это, знаете, Гоголь такой суп изобразил, так мне страшно понравилось. И в больнице этот габерсуп полюбили употреблять, а я как увижу его, так такая смешливость в моем организме,— не могу себя никак приспособить: хохочу, и все. Аж сестра уже ругаться начала, а мне после того еще охотнее — смеюсь и смеюсь. Как вспомню: габерсуп... А есть никак не могу: только за ложку — умираю со смеху. Так я и ушел от них... У вас что, обедали? Каша, небось, сегодня?

Екатерина Григорьевна достала где-то молока: нельзя же больному сразу кашу!

Белухин радостно поблагодарил:

— Вот спасибо, уважили умирающего.

Но молоко все же вылил в кашу. Екатерина Григорьевна махнула на него рукой.

Скоро возвратились и остальные.

Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки.

17. ШАРИН НА РАСПРАВЕ

Забывался постепенно «наш найкращий», забывались тифозные неприятности, забывалась зима с отмороженными ногами, с рубкой дров и «ковзалкой», но не могли забыть в наробразе моих «аракчеевских» формул дисциплины. Разговаривать со мной в наробразе начали тоже почти по-аракчеевски:

— Мы этот ваш жандармский опыт прихлопнем. Нужно строить соцвос, а не застенок.

В своем докладе о дисциплине я позволил себе усомниться в правильности общепринятых в то время положений, утверждавших, что наказание воспитывает раба, что необходимо дать полный простор творчеству ребенка, нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что, пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного, крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива.

В итоге я отстаивал линию создания сильного, если нужно, и сурового, воодушевленного коллектива, и только на коллектив возлагал все надежды; мои противники тыкали мне в нос аксиомами педологии и танцевали только от «ребенка».

Я был уже готов к тому, что колонию «прихлопнут», но злобы дня в колонии — посевная кампания и все тот

же ремонт второй колонии — не позволяли мне специально страдать по случаю наробразовских гонений. Кто-то меня, очевидно, защищал, потому что меня не прихлопывали очень долго. А чего бы, кажется, проще: взять и снять с работы.

Но в наробраз я старался не ездить: слишком неласково и даже пренебрежительно со мной там разговаривали. Особенно заедал меня один из инспекторов, Шарин — очень красивый, кокетливый брюнет с прекрасными вьющимися волосами, победитель сердец губернских дам. У него толстые, красные и влажные губы и круглые подчеркнутые брови. Кто его знает, чем он занимался до 1917 года, но теперь он великий специалист как раз по социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убежденный, что за ними скрываются педагогические и революционные ценности.

Ко мне он относился высокомерно-враждебно с того дня, когда я не удержался от действительно неудержимого смеха.

Заехал он как-то в колонию. В моем кабинете увидел на столе барометр-анероид.

— Что это за штука? — спросил он.

— Барометр.

— Какой барометр?

— Барометр,— удивился я,— погоду у нас предсказывает.

— Предсказывает погоду? Как же он может предсказывать погоду, когда он стоит у вас на столе? Ведь погода не здесь, а на дворе.

Вот в этот момент я и расхохотался неприлично, неудержимо. Если бы Шарин не имел такого ученого вида, если бы не его приват-доцентская шевелюра, если бы не его апломб ученого!

Он очень рассердился:

— Что вы смеетесь? А еще педагог. Как вы можете воспитывать ваших воспитанников? Вы должны мне объяснить, если видите, что я не знаю, а не смеяться.

Нет, я не способен был на такое великодушие,— я продолжал хохотать. Когда-то я слышал анекдот, почти буквально повторявший мой разговор с Шариным о барометре, и мне показалось удивительно забавным, что та-

кие глупые анекдоты повторяются в жизни и что в них принимают участие инспектора губнаробраза.

Шарин обиделся и уехал.

Во время моего доклада о дисциплине он меня «крыл» беспощадно:

— Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребенка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребенка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры — биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем...

Он в течение двух часов, почти не переводя духа и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной ученой резиной, но закончил с чисто житейским пафосом:

— Жизнь есть веселость.

Вот этот самый Шарин и нанес мне сокрушительный удар весной 1922 года.

Особый отдел Первой запасной прислал в колонию воспитанника с требованием обязательно принять. И раньше Особый отдел и ЧК, случалось, присылали ребят. Принял. Через два дня меня вызвал Шарин.

— Вы приняли Евгеньева?

— Принял.

— Какое вы имели право принять воспитанника без нашего разрешения?

— Прислал Особый отдел Первой запасной.

— Что мне Особый отдел? Вы не имеете права принимать без нашего разрешения.

— Я не могу не принять, если присылает Особый отдел. А если вы считаете, что он присылать не может, то как-нибудь уладьте с ним этот вопрос. Не могу же я быть судьей между вами и Особым отделом.

— Немедленно отправьте Евгеньева обратно.

— Только по вашему письменному распоряжению.

— Для вас должно быть действительно и мое устное распоряжение.

— Дайте письменное распоряжение.

— Я ваш начальник и могу вас сейчас арестовать на семь суток за неисполнение моего устного распоряжения.

— Хорошо, арестуйте.

Я видел, что человеку очень хочется использовать свое право арестовать меня на семь суток. Зачем искать другие поводы, когда уже есть повод?

— Вы не отправите мальчика?

— Не отправлю без письменного приказа. Мне выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем Шариным, чем Особым отделом.

— Почему Шариным выгоднее? — серьезно заинтересовался инспектор.

— Знаете, как-то приятнее. Все-таки по педагогической линии.

— В таком случае вы арестованы.

Он ухватил телефонную трубку.

— Милиция?.. Немедленно пришлите милиционера взять заведующего колонией Горького, которого я арестовал на семь суток... Шарин.

— Мне что же? Ожидать в вашем кабинете?

— Да, вы будете здесь ожидать.

— Может быть, вы меня отпустите на честное слово? Пока придет милиционер, я получу кое-что в складе и отправлю мальчика в колонию.

— Вы никуда не пойдете отсюда.

Шарин схватил с вешалки плюшевую шляпу, которая очень шла к его черной шевелюре, и вылетел из кабинета. Тогда я взял телефонную трубку и вызвал предгубисполкома. Он терпеливо выслушал мой рассказ:

— Вот что, голубчик, не расстраивайтесь и поезжайте домой спокойно. Впрочем, лучше подождите милиционера и скажите, чтобы он вызвал меня.

Пришел милиционер.

— Вы заведующий колонией?

— Я.

— Так, значит, идемте.

— Предгубисполкома распорядился, что я могу ехать домой. Просил вас позвонить.

— Я никуда не буду звонить, пускай в районе начальник звонит. Идемте.

На улице Антон с удивлением посмотрел на меня в сопровождении конвоя.

— Подожди меня здесь.

— А вас скоро выпустят?

— Ты откуда знаешь, что меня можно выпустить?

— А тут черный проходил, так сказал: поезжай домой, заведующий не поедет. А бабы вышли какие-то в шапочках, так говорят: ваш заведующий арестован.

— Подожди, я сейчас приду.

В районе пришлось ожидать начальника. Только к четырем часам он выпустил меня на свободу.

Подвода была нагружена доверху мешками и ящиками. Мы с Антоном мирно ползли по Харьковскому шоссе, думали о своих делах, он, вероятно,— о фураже и выпасе, а я — о превратностях судьбы, специально приготовленных для завколов. Несколько раз останавливались, поправляли расползавшиеся мешки, вновь взбирались на них и ехали дальше.

Антон уже дернул левую вожжу, поворачивая на дорогу к колонии, как вдруг Малыш хватил в сторону, вздернул голову, попробовал вздыбиться: с дороги к колонии на нас налетел, загудел, затрещал, захрипел и пронесся к городу автомобиль. Промелькнула зеленая плюшевая шляпа, и Шарин растерянно глянул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал воротник пальто усатый Черненко, председатель РКИ.

Антон не имел времени удивляться неожиданному наскоку автомобиля: что-то напутал Малыш в сложной и неверной системе нашей упряжи. Но и я не имел времени удивляться: на нас карьером неслась пара колонистских лошадей, запряженная в громыхающую гарбу, набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми Карабанов, втянув голову в плечи и свирепо сверкая черными цыганскими глазами вдогонку удирающему автомобилю. Гарба с разбегу пронеслась мимо нас, ребята что-то кричали, соскакивали с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись. Карабанов, наконец, очнулся и понял, в чем дело. На дорожном перекрестке образовалась целая ярмарка.

Хлопцы обступили меня. Карабанов, видимо, был недоволен, что все это так прозаически кончилось. Он даже не слез с гарбы, а со злобой поворачивал лошадей и ругался:

— Да, повертайся ж, сатана! От, черты б тебе, позаводылы кляч!..

Наконец он с последним взрывом гнева перетянул правую и галопом понесся в колонию, стоя на передке и угрюмо покачиваясь на ухабах.

— Что у вас случилось? Что это за пожарная команда? — спросил я.

— Чого вы як показылысь? — спросил Антон.

Перебивая друг друга и толкаясь, ребята рассказали мне о том, что случилось. Представление о событии у них было очень смутное, несмотря на то, что все они были его свидетелями. Куда они летели на парной гарбе и что собирались совершить в городе, для них тоже было покрыто мраком неизвестности, и мои вопросы на этот счет они встречали даже удивленно.

— А кто его знает? Там было бы видно.

Один Задоров мог связно поведать о происшедшем:

— Да вы знаете, это все как-то быстро произошло, прямо налетело откуда-то. Они проехали на машине, мало кто и заметил, работали все. Пошли к вам, там что-то делали, ну, кое-кто из наших проведал, говорит — в ящиках роются. Что такое? Хлопцы сбежались к вашему крыльцу, а тут и они вышли. Слышим, говорят Ивану Ивановичу: «Принимайте заведывание». Ну, тут такое заварилось, ничего не разберешь: кто кричит, кто уже за грудки берется, Бурун на всю колонию орет: «Куда Антона девали?» Настоящий бунт. Если бы не я и Иван Иванович, там бы до кулаков дошло, у меня даже пуговицы поотрывали. Черный, тот здорово испугался да к машине, а машина тут же. Они очень быстро тронули, а ребята бегом за машиной да кричат, руками размахивают, черт знает что. И как раз же Семен из второй колонии с пустой гарбой.

Мы вошли в колонию. Успокоенный Карабанов у конюшни распрягал лошадей и отбивался от наседавшего Антона:

— Вам лошади — все равно как автомобиль, смотри — запарили.

— Ты понимаешь, Антон, тут было не до коней. Понимаешь? — весело блестел зубами и глазами Карабанов.

— Да еще раньше тебя, в городе, понял. Вы тут обедали, а нас по милициям водили.

Воспитателей я нашел в состоянии последнего испуга. Иван Иванович был такой — хоть в постель укладывай.

— Вы подумайте, Антон Семенович, чем это могло кончиться? Такие свирепые рожи у всех,— я думал, без ножей не обойдется. Спасибо Задорову: один не потерял головы. Мы их разбрасываем, а они, как собаки, злые, кричат... Фу-у!..

Я ребят не расспрашивал и вообще сделал вид, что ничего особенного не случилось, и они меня тоже ни о чем не пытали. Это было для них, пожалуй, и неинтересно: горьковцы были большими реалистами, их могло занимать только то, что непосредственно определяло поведение.

В наробраз меня не вызывали, по своему почину я тоже не ездил. Через неделю пришлось мне зайти в губРКИ. Меня пригласили в кабинет к председателю. Черненко встретил меня, как родственника.

— Садись, голубь, садись,— говорил он, потрясая мою руку и разглядывая меня с радостной улыбкой.— Ах, какие у тебя молодцы! Ты знаешь, после того, что мне наговорил Шарин, я думал, встречу забитых, несчастных, ну, понимаешь, жалких таких... А они, сукины сыны, как завертелись вокруг нас: черти, настоящие черти. А как за нами погнались, черт, такое дело! Шарин сидит и все толкует: «Я думаю, они нас не догонят». А я ему отвечаю: «Хорошо, если в машине все исправно». Ах, какая прелесть! Давно такой прелести не видел. Я тут рассказал кой-кому, животы рвали, под столы лезли...

С этого дня началась у нас дружба с Черненко.

18. «СМЫЧКА» С СЕЛЯНСТВОМ

Ремонт имения Трепке оказался для нас невероятно громоздкой и тяжелой штукой. Домов было много, все они требовали не ремонта, а почти полной перестройки. С деньгами было всегда напряженно. Помощь губернских учреждений выражалась главным образом в выдаче нам разных нарядов на строительные материалы, с этими нарядами нужно было ездить в другие города — Киев, Харьков. Здесь к нашим нарядам относились свысока, материалы выдавали в размере десяти процен-

тов требуемого, а иногда и вовсе не выдавали. Полвагона стекла, которое нам после нескольких путешествий в Харьков удалось все же получить, были у нас отняты на рельсах, в самом нашем городе, гораздо более сильной организацией, чем колония.

Недостаток денег ставил нас в очень затруднительное положение с рабочей силой, на наемных рабочих надеяться почти не приходилось. Только плотничьи работы мы производили при помощи артели плотников.

Но скоро мы нашли источник денежной энергии. Это были старые, разрушенные сараи и конюшни, которых во второй колонии было видимо-невидимо. Трепке имели конный завод; в наши планы производство племенных лошадей пока что не входило, да и восстановление этих конюшен для нас оказалось бы не по силам,— «не к нашему рылу крыльцо», как говорил Калина Иванович.

Мы начали разбирать эти постройки и кирпич продавать селянам. Покупателей нашлось множество: всякому порядочному человеку нужно и печку поставить, и погреб выложить, а представители племени кулаков, по свойственной этому племени жадности, покупали кирпич просто в запас.

Разборку производили колонисты. В кузнице из разного старого барахла наделали ломиков, и «работа закипела».

Так как колонисты работали половину дня, а вторую половину проводили за учебными столами, то в течение дня ребята отправлялись во вторую колонию дважды: первая и вторая смены. Эти группы курсировали между колониями с самым деловым видом, что, впрочем, не мешало им иногда отвлекаться от прямого пути в погоне за какой-нибудь классической «зозулястой куркой», доверчиво вышедшей за пределы двора подышать свежим воздухом. Поимка этой курки, а тем более полное использование всех калорий, в ней заключающихся, были операциями сложными и требовали энергии, осмотрительности, хладнокровия и энтузиазма. Операции эти усложнялись еще и потому, что наши колонисты все-таки имели отношение к истории культуры и без огня обходиться не могли.

Походы на работу во вторую колонию вообще позволяли колонистам стать в более тесные отношения с кре-

стьянским миром, причем, в полном согласии с положениями исторического материализма, раньше всего колонистов заинтересовала крестьянская экономическая база, к которой они и придвинулись вплотную в описываемый период. Не забираясь далеко в рассуждения о различных надстройках, колонисты прямым путем проникали в каморки и погреба и, как умели, распоряжались собранными в них богатствами. Вполне правильно ожидая сопротивления своим действиям со стороны мелкособственнических инстинктов населения, колонисты старались проходить историю культуры в такие часы, когда инстинкты эти спят, то есть по ночам. И в полном согласии с наукой, колонисты в течение некоторого времени интересовались исключительно удовлетворением самой первичной потребности человека — в пище. Молоко, сметана, сало, пироги — вот краткая номенклатура, которая в то время применялась колонией имени Горького в деле «смычки» с селом.

Пока этим столь научно обоснованным делом занимались Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчие, Митягины, я мог спать спокойно, ибо эти люди отличались полным знанием дела и добросовестностью. Селяне по утрам после краткого переучета своего имущества приходили к заключению, что двух кувшинов молока не хватает, тем более, что и сами кувшины стояли тут же и свидетельствовали о своевременности переучета. Но замок на погребе находился в полной исправности и даже был заперт непосредственно перед переучетом, крыша была цела, собака ночью «не гавкав», и вообще все предметы, одушевленные и неодушевленные, глядели на мир открытыми и доверчивыми глазами.

Совсем другое началось, когда к прохождению курса первобытной культуры приступило молодое поколение. В этом случае замок встречал хозяина с перекошенной от ужаса физиономией, ибо самая жизнь его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым обращением с отмычкой, а то и с ломиком, предназначенным для дела восстановления бывшего имения Трепке. Собака, как вспомнил хозяин, ночью не только «гавкав», но прямо-таки «разрывався на части», и только хозяйская лень была причиной того, что собака не получила своевременного подкрепления. Неквалифицированная, грубая рабо-

та наших пацанов привела к тому, что скоро им самим пришлось переживать ужас погони разъяренного хозяина, поднятого с постели упомянутой собакой или даже с вечера поджидавшего непрошеного гостя. В этих погонях заключались уже первые элементы моего беспокойства. Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего никогда бы не сделало старшее поколение. Хозяин приходил тоже в колонию, будил меня и требовал выдачи преступника. Но преступник уже лежал в постели, и я имел возможность наивно спрашивать:

— Вы можете узнать этого мальчика?

— Да как же я его узнаю? Видел, как сюды побигло.

— А может быть, это не наш? — делал я еще более наивный подход.

— Как же — не ваш? Пока ваших не было, у нас такого не водилось.

Потерпевший начинал загибать пальцы и отмечать фактический материал, имевшийся в его распоряжении:

— Вчора в ночи у Мирошниченка молоко выпито, позавчора поломано замка у Степана Верхолы, в ту субботу пропало двое курей у Гречаного Петра, а за день перед тем... там вдова живет Стовбина, може, знаете, так приготовила на базарь два глечика сметаны, пришла, бедная женщина, в погреб, а там все чисто перевернуло и сметану попсувало. А у Василия Мощенко, а у Якова Верхолы, а у того горбатого, як его... Нечипора Мощенка...

— Да какие же доказательства?

— Да какие же доказательства? Вот я ж пришел, бо сюды побигло. Да больше и некому. Ваши ходят в Трепке и все подглядывают...

В то время я далеко не так добродушно относился к событиям. Жалко было и селян, досадно и тревожно было ощущать свое полное бессилие. Особенно неуютно было мне оттого, что я даже не знал всех историй, и можно было подозревать что угодно. А в то время, благодаря событиям зимы, у меня немного расшатались нервы.

В колонии на поверхности все представлялось благополучным. Днем все ребята работали и учились, вечером шутили, играли, на ночь укладывались спать и утром просыпались веселыми и довольными жизнью. А как раз ночью и происходили экскурсии на село. Старшие хлоп-

цы встречали мои возмущенные и негодующие речи покорным молчанием. На некоторое время жалобы крестьян утихали, но потом снова возобновлялись, разгоралась их вражда к колонии.

Наше положение осложнялось тем обстоятельством, что на большой дороге грабежи продолжались. Они приняли теперь несколько иной характер, чем прежде: грабители забирали у селян не столько деньги, сколько продукты, и при этом в самом небольшом количестве. Сначала я думал, что это не наших рук дело, но селяне в интимных разговорах доказывали:

— Ни, це, мабуть, ваши. От когось споймают, прибьют, тогда увидите.

Хлопцы с жаром успокаивали меня:

— Брешут граки! Может быть, кто-нибудь из наших и залез куда в погреб, ну... бывает. Но чтоб на дороге — так это чепуха!

Я увидел, что хлопцы искренне убеждены, что на дороге наши не грабят, видел и то, что такой грабеж старшими колонистами оправдан не будет. Это несколько уменьшало мое нервное напряжение, но только до первого слуха, до ближайшей встречи с селянским активом.

Вдруг, однажды вечером, в колонию налетел взвод конной милиции. Все выходы из наших спален были заняты часовыми, и начался повальный обыск. Я тоже был арестован в своем кабинете, и это как раз испортило всю затею милиции. Ребята встретили милиционеров в кулаки, выскакивали из окон, в темноте уже начали летать кирпичи, по углам двора завязались свалки. На стоявших у конюшни лошадей налетела целая толпа, и лошади разбежались по всему лесу. В мой кабинет после шумной ругани и борьбы ворвался Карабанов и крикнул:

— Выходьте скорийше, бо бида буде!

Я выскочил во двор, и вокруг меня моментально сгрудились оскорбленные, шипящие злобой колонисты. Задоров был в истерике:

— Когда это кончится? Пускай меня отправляют в тюрьму, надоело!.. Арестант я или кто? Арестант? Почему так, почему обыскивают, лазят все?..

Перепуганный начальник взвода все же старался не терять тона:

— Немедленно прикажите вашим воспитанникам идти по спальням и стать возле своих кроватей.

— На каком основании производите обыск? — спросил я начальника.

— Не ваше дело. У меня приказ.

— Немедленно уезжайте из колонии.

— Как это — «уезжайте»!

— Без разрешения завгубнаробразом обыска производить не дам, понимаете, не дам, буду препятствовать силой!

— Как бы мы вас не обшукали! — крикнул кто-то из колонистов, но я на него загремел:

— Молчать!

— Хорошо,— сказал с угрозой начальник,— вам придется разговаривать иначе...

Он собрал своих, кое-как, уже при помощи развеселившихся колонистов, нашли лошадей и уехали, сопровождаемые ироническими напутствиями.

В городе я добился выговора какому-то начальству. После этого налета события стали развиваться чрезвычайно быстро. Селяне приходили ко мне возмущенные, грозили, кричали:

— Вчора на дороге ваши отняли масло и сало у Явтуховой жинки.

— Брехня!

— Ваши! Только шапку на глаза надвынув, шоб не пизналы.

— Да сколько же их было?

— Та одын був, каже баба. Ваш був! И пинжачок такий же.

— Брехня! Наши не могут этим делом заниматься.

Селяне уходили, мы подавленно молчали, и Карабанов вдруг выпаливал:

— Брешут, а я говорю — брешут! Мы б знали.

Мою тревогу ребята давно уже разделяли, даже походы на погреба как будто прекратились. С наступлением вечера колония буквально замирала в ожидании чего-то неожиданно нового, тяжелого и оскорбительного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из спальни в спальню, по темным углам двора, лазили по лесу. Я изнервничался в это время, как никогда в жизни.

И вот...

В «один прекрасный вечер» разверзлись двери моего кабинета, и толпа ребят бросила в комнату Приходько. Карабанов, державший Приходько за воротник, с силой швырнул его к моему столу:

— Вот!

— Опять с ножом? — спросил я устало.

— Какое с ножом? На дороге грабил!

Мир обрушился на меня. Рефлективно я спросил молчащего и дрожащего Приходько:

— Правда?

— Правда,— прошептал он еле слышно, глядя в землю.

В какую-то миллионную часть мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер.

— А! Черт!.. С вами жить!

Но я не успел поднести револьвер к своей голове. На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят.

Очнулся я в присутствии Екатерины Григорьевны, Задорова и Буруна. Я лежал между столом и стенкой на полу, весь облитый водой. Задоров держал мою голову и, подняв глаза к Екатерине Григорьевне, говорил:

— Идите туда, там хлопцы... они могут убить Приходько...

Через секунду я был на дворе. Я отнял Приходько уже в состоянии беспамятства, всего окровавленного.

19. ИГРА В ФАНТЫ

Это было в начале лета 1922 года. В колонии о преступлении Приходько замолчали. Он был сильно избит колонистами, долго пришлось ему пролежать в постели, и мы не приставали к нему ни с какими расспросами. Мельком я слышал, что ничего особенного в подвигах Приходько и не было. Оружия у него не нашли.

Но Приходько все же был бандит настоящий. На него вся катастрофа в моем кабинете, его собственная беда никакого впечатления не произвели. И в дальнейшем он причинил колонии много неприятных пережива-

ний. В то же время он по-своему был предан колонии, и всякий ее враг не был гарантирован, что на его голову не опустится тяжелый лом или топор. Он был человек чрезвычайно ограниченный и жил, всегда задавленный ближайшим впечатлением, первыми мыслями, приходящими в его глупую башку. Зато и в работе лучше Приходько не было. В самых тяжелых заданиях он не ломал настроения, был страстен с топором и молотом, если они опускались и не на голову ближнего.

У колонистов после описанных тяжелых дней появилось сильное озлобление против крестьян. Ребята не могли простить, что они были причиной наших страданий. Я видел, что если хлопцы и удерживаются от слишком явных обид крестьянам, то удерживаются только потому, что жалеют меня.

Мои беседы и беседы воспитателей на тему о крестьянстве, о его труде, о необходимости уважать этот труд никогда не воспринимались ребятами как беседы людей, более знающих и более умных, чем они. С точки зрения колонистов, мы мало понимали в этих делах,— в их глазах мы были городскими интеллигентами, не способными понять всю глубину крестьянской непривлекательности.

— Вы их не знаете, а мы на своей шкуре знаем, что это за народ. Он за полфунта хлеба готов человека зарезать, а попробуйте у него выпросить что-нибудь... Голодному не даст ни за что, лучше пусть у него в каморке сгниет.

— Вот мы бандиты, пусть! Так мы все-таки знаем, что ошиблись, ну что ж... нас простили. Мы это знаем. А вот они — так им никто не нужен: царь был плохой, советская власть тоже плохая. Ему будет только тот хорош, кто от него ничего не потребует, а ему все даром даст. Граки, одно слово!

— Ой, я их не люблю, этих граков, видеть не могу, пострелял бы всех! — говорил Бурун, человек искони городской.

У Буруна на базаре всегда было одно развлечение: подойти к селянину, стоящему возле воза и с остервенением разглядывающему снующих вокруг него городских разбойников, и спросить:

— Ты урка?

Селянин в недоумении забывает о своей настороженности:

— Га?

— А-а! Ты — грак! — смеется Бурун и делает неожиданно молниеносное движение к мешку на возу: — Держи, дядько!

Селянин долго ругается, а это как раз и нужно Буруну: для него это все равно, что любителю музыки послушать симфонический концерт.

Бурун говорил мне прямо:

— Если бы не вы, этим куркулям хлопотно пришлось бы.

Одной из важных причин, послуживших порче наших отношений с крестьянством, была та, что колония наша находилась в окружении исключительно кулацких хуторов. Гончаровка, в которой жило большею частью настоящее трудовое крестьянство, была еще далека от нашей жизни. Ближайшие же наши соседи, все эти Мусии Карповичи и Ефремы Сидоровичи, гнездились в отдельно поставленных, окруженных не плетнями, а заборами, крытых аккуратно и побеленных белоснежно хатах, ревниво никого не пускали в свои дворы, а когда бывали в колонии, надоедали нам постоянными жалобами на продразверстку, предсказывали, что при такой политике советская власть не удержится, а в то же время выезжали на прекрасных жеребцах, по праздникам заливались самогоном, от их жен пахло новыми ситцами, сметаной и варениками, сыновья их представляли собой нечто вне конкурса на рынке женихов и очаровательных кавалеров, потому что ни у кого не было таких пригнанных пиджаков, таких новых темно-зеленых фуражек, таких начищенных сапог, украшенных зимой и летом блестящими, великолепными калошами.

Колонисты хорошо знали хозяйство каждого нашего соседа, знали даже состояние отдельной сеялки или жатки, потому что в нашей кузнице им часто приходилось налаживать и чинить эти орудия. Знали колонисты и печальную участь многих пастухов и работников, которых кулачье часто безжалостно выбрасывало из дворов, даже не расплатившись как следует.

По правде говоря, я и сам заразился от колонистов неприязнью к этому притаившемуся за воротами и заборами кулацкому миру.

Тем не менее постоянные недоразумения меня беспокоили. Прибавились к этому и враждебные отношения с сельским начальством. Лука Семенович, уступив нам трепкинское поле, не потерял надежды выбить нас из второй колонии. Он усиленно хлопотал о передаче сельсовету мельницы и всей трепкинской усадьбы для устройства якобы школы. Ему удалось при помощи родственников и кумовьев в городе купить для переноса в село один из флигелей второй колонии. Мы отбились от этого нападения кулаками и дрекольями; мне с трудом удалось ликвидировать продажу и доказать в городе, что флигель покупается просто на дрова для самого Луки Семеновича и его родственников.

Лука Семенович и его приспешники писали и посылали в город бесконечные жалобы на колонию, они деятельно поносили нас в различных учреждениях в городе, и по их настоянию был совершен налет милиции.

Еще зимою Лука Семенович вечером ввалился в мою комнату и начальственно потребовал:

— А покажите мне документы, куда вы деваете гроши, которые берете с селянства за кузнечные работы.

Я ему сказал:

— Уходите!

— Как?

— Вон отсюда!

Наверное, мой вид не предвещал никаких успехов в выяснении судьбы селянских денег, и Лука Семенович смылся беспрекословно. Но после того он уже сделался открытым врагом моим и всей нашей организации. Колонисты тоже ненавидели Луку со «всем пылом юности».

В июне, в жаркий полдень, на горизонте за озером показалось целое шествие. Когда оно приблизилось к колонии, мы различили потрясающие подробности: двое «граков» вели связанных Опришко и Сороку.

Опришко был во всех отошениях героической личностью и в колонии боялся только Антона Братченко, под рукой которого работал и от руки которого не один раз претерпевал. Он гораздо был больше Антона и сильнее

его, но использовать эти преимущества ему мешала ничем не объяснимая влюбленность в старшего конюха и его удачу. По отношению ко всем остальным колонистам Опришко держался с достоинством и никому не позволял на себе ездить. Ему помогал замечательный характер: был он всегда весел и любил такую же веселую компанию, а потому находился только в таких пунктах колонии, где не было ни одного опущенного носа и кислой физиономии. Из коллектора он ни за что не хотел отправляться в колонию, и мне пришлось лично ехать за ним. Он встретил меня, лежа на кровати, презрительным взглядом:

— Пошли вы к черту, никуда я не поеду!

Меня предупредили о его героических достоинствах, и поэтому я с ним заговорил очень подходящим тоном:

— Мне очень неприятно вас беспокоить, сэр, но я принужден исполнить свой долг и очень прошу вас занять место в приготовленном для вас экипаже.

Опришко был сначала поражен моим «галантерейным обращением» и даже поднялся с кровати, но потом прежний каприз взял в нем верх, и он снова опустил голову на подушку.

— Сказал, что не поеду!.. И годи!

— В таком случае, уважаемый сэр, я, к великому сожалению, принужден буду применить к вам силу.

Опришко поднял с подушки кудрявую голову и посмотрел на меня с неподдельным удивлением:

— Смотри ты, откуда такой взялся? Так меня и легко взять силой!

— Имейте в виду...

Я усилил нажим в голосе и уже прибавил к нему оттенок иронии:

— ...дорогой Опришко...

И вдруг заорал на него:

— Ну, собирайся, какого черта развалился! Вставай, тебе говорят!

Он сорвался с постели и бросился к окну:

— Ей-богу, в окно выпрыгну!

Я сказал ему с презрением:

— Или прыгай немедленно в окно, или отправляйся на воз,— мне с тобой волынить некогда.

Мы были на третьем этаже, поэтому Опришко засмеялся весело и открыто.

— Вот причепились!.. Ну, что ты скажешь? Вы заведующий колонией Горького?

— Да.

— Ну, так бы и сказали! Давно б поехали...

Он энергично бросился собираться в дорогу.

В колонии он участвовал решительно во всех операциях колонистов, но никогда не играл первую скрипку и, кажется, больше искал развлечений, чем какой-либо наживы.

Сорока был моложе Опришко, имел круглое смазливое лицо, был основательно глуп, косноязычен и чрезвычайно неудачлив. Не было такого дела, в котором он не «засыпался» бы. Поэтому, когда колонисты увидали его связанным рядом с Опришко, они были очень недовольны:

— Охота ж была Дмитру связываться с Сорокой...

Конвоирами оказались предсельсовета и Мусий Карпович — наш старый знакомый.

Мусий Карпович в настоящую минуту держался с видом обиженного ангела. Лука Семенович был идеально трезв и начальственно неприступен. Его рыжая борода была аккуратно расчесана, под пиджаком надета чистейшая вышитая рубаха,— очевидно, недавно был в церкви.

Председатель начал:

— Хорошо вы воспитываете ваших колонистов.

— А вам какое до этого дело?

— А вот какое: людям от ваших воспитанников житья нет, на дороге грабят, крадут все.

— Эй, дядя, а ты имел право связывать их? — раздалось из толпы колонистов.

— Он думает, что это старый режим...

— Вот взять его в работу...

— Замолчите! — сказал я колонистам.— В чем дело, рассказывайте.

Заговорил Мусий Карпович:

— Повесила жинка спидныцю[1] и одеяло на плетни, а эти двое проходили, смотрю — уже нету. Я за ними, а они — бегом. Куда ж мне за ними гнаться! Да спасибо Лука Семенович из церкви идут, так мы их и задержали...

— Зачем связали? — опять из толпы.

— Да чтоб не повтикалы. Зачем...

— Тут не о том разговор,— заговорил председатель,— а пойдем протокола писать.

— Да можно и без протокола. Вернули ж вам вещи?

— Мало чего! Обязательно протокола.

Председатель решил над нами покуражиться, и, правду сказать, основания были у него наилучшие: первый раз поймали колонистов на месте преступления.

Для нас такой оборот дела был очень неприятен. Протокол означал для хлопцев верный допр, а для колонии несмываемый позор.

— Эти хлопцы поймались в первый раз,— сказал я.— Мало ли что бывает между соседями! На первый раз нужно простить.

— Нет,— сказал рыжий,— какие там прощения! Пойдемте в канцелярию писать протокола.

Мусий Карпович тоже вспомнил:

— А помните, как меня таскали ночью? Топор и доси у вас, да штрафу заплатил сколько!

Да, крыть было нечем. Положили нас куркули на обе лопатки. Я направил победителей в канцелярию, а сам сказал хлопцам со злобой:

— Допрыгались, черт бы вас побрал! «Спидныци» вам нужны! Теперь позора не оберетесь... Вот колотить скоро начну мерзавцев. А эти идиоты в допре насидятся.

Хлопцы молчали, потому что действительно допрыгались.

После такой ультра-педагогической речи и я направился в канцелярию.

Часа два я просил и уламывал председателя, обещал, что такого больше никогда не будет, согласился сделать новый колесный ход для сельсовета по себестоимости. Председатель, наконец, поставил только одно условие:

— Пусть все хлопцы попросят.

За эти два часа я возненавидел председателя на всю жизнь. Между разговорами у меня мелькала кровожадная мысль: может быть, удастся поймать этого председателя в темном углу, будут бить — не отниму.

Так или иначе, а выхода не было. Я приказал колонистам построиться у крыльца, на которое вышло началь-

ство. Приложив руку к козырьку, я от имени колонии сказал, что мы очень сожалеем об ошибке наших товарищей, просим их простить и обещаем, что в дальнейшем такие случаи повторяться не будут. Лука Семенович сказал такую речь:

— Безусловно, что за такие вещи нужно поступать по всей строгости закона, потому что селянин — это безусловно труженик. И вот, если он повесил юбку, а ты ее берешь, то это враги народа, пролетариата. Мне, на которого возложили советскую власть, нельзя допускать такого беззакония, чтобы всякий бандит и преступник хватал. А что вы тут просите безусловно и обещаете, так это, кто его знает, как оно будет. Если вы просите низко и ваш заведующий, он должен воспитывать вас к честному гражданству, а не как бандиты. Я, безусловно, прощаю.

Я дрожал от унижения и злости. Опришко и Сорока, бледные, стояли в ряду колонистов.

Начальство и Мусий Карпович пожали мне руку, что-то говорили величественно-великодушное, но я их не слышал.

— Разойдись!

Над колонией разлилось и застыло знойное солнце. Притаились над землей запахи чебреца. Неподвижный воздух синими струями окостенел над лесом.

Я оглянулся вокруг. А вокруг была все та же колония, те же каменные коробки, те же колонисты, и завтра будет все то же: спидныци, председатель, Мусий Карпович, поездки в скучный, засиженный мухами город. Прямо передо мной была дверь в мою комнату, в которой стояли «дачка» и некрашеный стол, а на столе лежала пачка махорки.

«Куда деваться? Ну, что я могу сделать? Что я могу сделать?»

Я повернул в лес.

В сосновом лесу нет тени в полдень, но здесь всегда замечательно прибрано, далеко видно, и стройные сосенки так организованно, в таких непритязательных мизансценах умеют расположиться под небом.

Несмотря на то, что мы жили в лесу, мне почти не приходилось бывать в самой его гуще. Человеческие дела приковывали меня к столам, верстакам, сараям и

спальням. Тишина и чистота соснового леса, пропитанный смолистым раствором воздух притягивали к себе. Хотелось никуда отсюда не уходить и самому сделаться вот таким стройным, мудрым ароматным деревом и в такой изящной, деликатной компании стоять под синим небом.

Сзади хрустнула ветка. Я оглянулся: весь лес, сколько видно, был наполнен колонистами. Они осторожно передвигались в перспективе стволов, только в самых отдаленных просветах перебегали по направлению ко мне.

Я остановился, удивленный. Они тоже замерли на месте и смотрели на меня заостренными глазами, смотрели с каким-то неподвижным, испуганным ожиданием.

— Вы чего здесь? Чего вы за мною рыщете?

Ближайший ко мне Задоров отделился от дерева и грубовато сказал:

— Идемте в колонию.

У меня что-то брыкнуло в сердце.

— А что в колонии случилось?

— Да ничего... Идемте.

— Да говори, черт! Что вы, нанялись сегодня воду варить надо мной?

Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло еще два-три человека, остальные держались в сторонке. Задоров шепотом сказал:

— Мы уйдем, только сделайте для нас одно одолжение.

— Да что вам нужно?

— Дайте сюда револьвер.

— Револьвер?

Я вдруг догадался, в чем дело, и рассмеялся:

— Ах, револьвер! Извольте. Вот чудаки! Но ведь я же могу повеситься или утопиться в озере.

Задоров вдруг расхохотался на весь лес.

— Да нет, пускай у вас! Нам такое в голову пришло. Вы гуляете? Ну, гуляйте. Хлопцы, назад!

Что же случилось?

Когда я повернул в лес, Сорока влетел в спальню:

— Ой хлопци, голубчики ж, ой, скорийше идить в лес! Антон Семенович стреляться...

Его не дослушали и вырвались из спальни.

Вечером все были невероятно смущены, только Карабанов валял дурака и вертелся между кроватями, как бес. Задоров мило скалил зубы и все почему-то прижимался к цветущему личику Шелапутина. Бурун не отходил от меня и настойчиво-таинственно помалкивал. Опришко занимался истерикой: лежал в комнате у Козыря и ревел в грязную подушку. Сорока, избегая насмешек ребят, где-то скрылся.

Задоров сказал:

— Давайте играть в фанты.

И мы действительно играли в фанты. Бывают же такие гримасы педагогики: сорок достаточно оборванных, в достаточной мере голодных ребят при свете керосиновой лампочки самым веселым образом занимались фантами. Только без поцелуев.

20. О ЖИВОМ И МЕРТВОМ

Весною нас к стенке прижали вопросы инвентаря. Малыш и Бандитка просто никуда не годились, на них нельзя было работать. Ежедневно с утра в конюшне Калина Иванович произносил контрреволюционные речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и в безжалостном отношении к животным:

— Если ты строишь хозяйство, так и дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теорехтически это, конечно, лошадь, а прахтически так она падает, и жалко смотреть, а не то что работать.

Братченко вел прямую линию. Он любил лошадей просто за то, что они живые лошади, и всякая лишняя работа, наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод:

— А вот если бы тебя заставили потягать плуг? Интересно бы послушать, как бы ты запел.

Разговоры Калины Ивановича он понимал как директиву не давать лошадей ни для какой работы. Но мы и требовать не имели охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня, нужно было ранней весной перевести туда двух лошадей для вспашки и посева. Но переводить было нечего.

Как-то в разговоре с Черненко, председателем губернской РКИ, я рассказал о наших затруднениях: с мертвым инвентарем кое-как перекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда. Ведь шестьдесят десятин! А не обработаем,— что нам запоют селяне?

Черненко задумался и вдруг вскочил с радостью:

— Стой! У меня же здесь имеется хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на время трех, кстати и кормить не нужно будет, а вы месяца через полтора возвратите. Да вот поговори с нашим завхозом.

Завхоз РКИ оказался человеком крутым и хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей: за каждый месяц пять пудов пшеницы и колеса для их экипажа:

— У вас же есть колесная.

— Разве же так можно? Шкуру сдираете! С кого?

— Я заведующий хозяйством, а не добрая барыня. Лошади какие! Я бы не дал ни за что,— испортите, загоняете, знаю вас. Я таких лошадей два года собирал,— не лошади, а красота!

Впрочем, я мог бы наобещать ему по сто пудов пшеницы и колеса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади.

Завхоз написал договор в двух экземплярах, в котором все было изложено очень подробно и внушительно.

...именуемая в дальнейшем колонией... каковые колеса будут считаться переданными хозяйственной части губРКИ после приема их специальной комиссией и составления соответствующего акта... За каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной части губРКИ по десять фунтов пшеницы за одну лошадь... А в случае невыполнения колонией настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере пятикратной стоимости убытков...

На другой день Калина Иванович и Антон с большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили далеко на дороге; вся колония, даже воспита-

тели, томились в ожидании. Шелапутин с Тоськой выиграли больше всех: они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на коней. Калина Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать, настолько наполнили его существо важность и недоступность. Антон даже головы не повернул в нашу сторону,— вообще все живые существа потеряли для него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных сзади к нашему возу.

Калина Иванович вылез из гробика, стряхнул солому с пиджака и сказал Антону:

— Ты ж там смотри, поставить как следует, это тебе не какие-нибудь Бандитки.

Антон, бросив отрывистые распоряжения своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные станки, грозил чересседельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Ивановичу ответил по-приятельски грубовато:

— Упряжь гони, Калина Иванович, это барахло не годится!

Лошади были все вороные, высокие и упитанные. Они принесли с собою старые клички, и это в глазах колонистов сообщало им некоторую родовитость. Звали их: Зверь, Коршун и Мэри.

Впрочем, Зверь скоро разочаровал нас: это был видный жеребец, но для сельскохозяйственной работы не подходил, скоро уставал и задыхался. Зато Коршун и Мэри оказались во всех отношениях удобными конякам: сильными, тихими, красивыми. Надежды Антона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех городских извозчиков, правда, оказались напрасными, но в плуге и в сеялке они были великолепны, и Калина Иванович только кряхтел от удовольствия, докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев.

— Все это хорошо, знаешь, а только с этим РКИ связываться... как-то оно... Что захотят, то и сделают. А жалиться куда ж пойдешь? В РКИ?

Во второй колонии зашевелилась жизнь. Один из домов был закончен, и в нем поселилось шесть колонистов.

Жили они там без воспитателя и без кухарки, запаслись кое-какими продуктами из нашей кладовой и кое-как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На обязанности их лежало: охранять сад и постройки, держать переправу на Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли две лошади и где эмиссаром Братченко сидел Опришко. Сам Антон решил остаться в главной колонии; здесь было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды во вторую колонию, и его посещений побаивались не только конюхи, не только Опришко, но и все колонисты.

На полях второй колонии шла большая работа. Шестьдесят десятин все были засеяны, правда, без особенного агрономического умения и без правильного плана полей, но были там и пшеница озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овес. Несколько десятин было под картофелем и свеклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже шестьдесят колонистов.

Между первой и второй колониями в течение всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение: проходили группы колонистов на работу и с работы, проезжали наши подводы с семенным материалом, фуражом и продуктами для колонистов, проезжали наемные селянские подводы с материалами для постройки, Калина Иванович в стареньком кабриолете, который он где-то выпросил, верхом на Звере проносился Антон, замечательно ловко сидя в седле.

По воскресеньям почти вся колония отправлялась купаться к Коломаку,— колонисты, воспитатели, а за ними как-то понемногу приучились собираться на берегу уютной, веселой речушки соседние парубки и девчата, комсомольцы с Пироговки и Гончаровки и кулацкие сынки с наших хуторов. Наши столяры выстроили на Коломаке небольшую пристань, и мы держали на ней флаг с буквами «КГ». Между пристанью и нашим берегом целый день курсировала зеленая лодка с таким же флагом, обслуживаемая Митькой Жевелием и Витькой Богоявленским. Наши девчата, хорошо разбираясь в значении нашего представительства на Коломаке, из разных остатков девичьих нарядов сшили Митьке и Витьке матрос-

ские рубашки, и много пацанов как в колонии, так и на много километров кругом свирепо завидовали этим двум исключительно счастливым людям. Коломак сделался центральным нашим клубом.

В самой колонии было весело и звучно от постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы, от приезда селян-заказчиков, от воркотни Антона и сентенций Калины Ивановича, от неистощимого хохота и проделок Карабанова, Задорова и Белухина, от неудач Сороки и Галатенко, от струнного звона сосен, от солнца и молодости.

К этому времени мы уже забыли, что такое грязь, что такое вши и чесотка. Колония блистала чистотой и новыми заплатами, аккуратно наложенными на каждое подозрительное место все равно на каком предмете: на штанах, на заборе, на стенке сарая, на старом крылечке. В спальнях стояли те же «дачки», но на них запрещалось сидеть днем, и для этого специально имелись некрашеные сосновые лавки. В столовой такие же некрашеные столы ежедневно скоблились особыми ножами, сделанными в кузнице.

В кузнице к этому времени совершились существенные перемены. Дьявольский план Калины Ивановича был уже выполнен полностью: Голованя прогнали за пьянство и контрреволюционные собеседования с заказчиками, но кузнечное оборудование Головань и не пытался получить обратно,— безнадежное это было дело. Он только укоризненно и иронически покачал головой, когда уходил:

— И вы такие ж хозяева, як и вси,— ограбили чоловика, от и хозяева!

Белухина такими речами нельзя было смутить, человек недаром читал книжки и жил между людьми. Он бодро улыбнулся в лицо Голованя и сказал:

— Какой ты несознательный гражданин, Софрон! Работаешь у нас второй год, а до сих пор не понимаешь: это ведь орудия производства.

— Ну, я ж и кажу...

— А орудия производства должны, понимаешь, по науке, принадлежать пролетариату. А вот тебе и пролетариат стоит, видишь?

И показал Головаcю настоящих живых представителей славного класса пролетариев: Задорова, Вершнева и Кузьму Лешего.

В кузнице командует Семен Богданенко, настоящий потомственный кузнец, фамилия, пользующаяся старой славой в паровозных мастерских. У Семена в кузнице военная дисциплина и чистота: все гладилки, молотки и молоты чинно глядят каждый с назначенного ему места, земляной пол выметен, как в хате у хорошей хозяйки, на горне не просыпано ни одного грамма угля, а с заказчиками разговоры очень короткие и ясные:

— Здесь тебе не церковь — нечего торговаться.

Семен Богданенко грамотен, чисто выбрит и никогда не ругается.

В кузнице работы по горло: и наш инвентарь и селянский. Другие мастерские в это время почти прекратили работу, только Козырь с двумя колонистами попрежнему возился в своем колесном сарайчике: на колеса спрос не уменьшался.

Для хозяйственной части РКИ нужны были особые колеса — под резиновые шины, а таких колес Козырь никогда не делал. Он был очень смущен этой гримасой цивилизации и каждый вечер после работы грустил:

— Не знали мы этих резиновых шин. Господь наш Иисус Христос пешком ходил и апостолы... а теперь люди на железных шинах пусть бы ездили.

Калина Иванович строго говорил Козырю:

— А железная дорога? А автомобиль? Как, по-твоему? Что ж с того, что твой господь пешком ходив? Значит, некультурный или, может, деревенский, такой же, как и ты. А может, и ходив того, что голодранець, а як бы посадив кто на машину, так и понравилось бы. А то — «пешком ходив!» Стыдно старому человеку такое говорить.

Козырь несмело улыбнулся и растерянно шептал:

— Если б посмотреть, как это под резиновые шины, так, может, с божьей помощью и сделали бы. А на сколько ж спиц, господь его знает?

— Да ты пойди в РКИ и посмотри. Посчитай.

— Господи прости, где мне, старому, найти такое?

Как-то в середине июня Черненко захотел ребятам доставить удовольствие:

— Я тут кое с кем говорил, так к вам балерины приедут, пусть ребята посмотрят. У нас в оперном, знаешь, хорошие балерины. Ты вечерком их доставь туда.

— Это хорошо.

— Только смотри, народ они нежный, а твои бандиты их перепугают чем. Да на чем ты их довезешь?

— А у нас есть экипаж.

— Видел я. Не годится. Ты пришли лошадей, а экипаж пусть возьмут мой, здесь запрягут и — за балеринами. Да на дороге поставь охрану, а то еще попадутся кому в лапы: вещь соблазнительная.

Балерины приехали поздно вечером, всю дорогу дрожали, смешили Антона, который их успокаивал:

— Да что вы боитесь, у вас же и взять нечего. Это не зима: зимой шубы забрали бы.

Наша охрана, неожиданно вынырнувшая из лесу, привела балерин в такое состояние, что по приезде в колонию их немедленно нужно было поить валерьянкой.

Танцевали они очень неохотно и сильно не понравились ребятам. Одна, помоложе, с великолепной и выразительно смуглой спиной, в течение вечера всю эту спину истратила на выражение высокомерного и брезгливого равнодушия ко всей колонии. Другая, постарше, поглядывала на нас с нескрываемым страхом. Ее вид особенно раздражал Антона:

— Ну, скажите, пожалуйста, стоило пару коней гонять в город и обратно, а потом опять в город и обратно? Я вам таких и пешком приведу сколько угодно из города.

— Так те танцевать не будут! — смеется Задоров.

— Ого! Хиба ж так?

За роялем, давно уже украшавшим одну из наших спален,— Екатерина Григорьевна. Играет она слабо, и музыка ее не приспособлена к балету, а балерины не настолько деликатны, чтобы как-нибудь замять два-три такта. Они обиженно изнемогают от варварских ошибок и остановок. Кроме того, они страшно спешили на какой-то интересный вечер.

Пока у конюшни, при фонарях и шипящей ругани Антона, запрягали лошадей, балерины страшно волновались: они обязательно опоздают на вечер. От волнения и презрения к этой провалившейся в темноте колонии, к

этим притихшим колонистам, к этому абсолютно чуждому обществу они ничего даже не могли выразить, а только тихонько стонали, прислонившись друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу каких-то постромок и кричал, что он не поедет. Антон, не стесняясь присутствия гостей, отвечал Сороке:

— Ты кто —кучер или балерина? Так чего ты танцуешь на козлах? Ты не поедешь? Вставай!..

Сорока, наконец, дергает вожжами. Балерины замерли и в предсмертном страхе поглядывают на карабин, перекинутый через плечо Сороки. Все-таки тронулись. И вдруг снова крик Братченко:

— Да что ты, ворона, наделал? Чи тебе повылазило, чи ты сказывся, как ты запрягал? Куда ты Рыжего поставил, куда ты Рыжего всунул? Перепрягай! Коршуна под руку,— сколько раз тебе говорил!

Сорока не спеша стаскивает винтовку и укладывает на ноги балерин. Из фаэтона раздаются слабые звуки сдерживаемых рыданий.

Карабанов за моей спиной говорит:

— Таки добрало. А я думал, что не доберет. Молодцы хлопцы!

Через пять минут экипаж снова трогается. Мы сдержанно прикладываем руки к козырькам фуражек, без всякой, впрочем, надежды получить ответное приветствие. Резиновые шины запрыгали по камням мостовой, но в это время мимо нас летит вдогонку за экипажем нескладная тень, размахивает руками и орет:

— Стойте! Постойте ж, ради Христа! Ой, постойте ж, голубчики!

Сорока в недоумении натягивает вожжи, одна из балерин подхватывается с сиденья.

— От было забыл, прости, царица небесная! Дайте ось спицы посчитаю...

Он наклоняется над колесом, рыдания из фаэтона сильнее, и к ним присоединяется приятное контральто:

— Ну, успокойся же, успокойся...

Карабанов отталкивает Козыря от колеса:

— Иди ты, дед, к...

Но сам Карабанов не выдерживает, фыркает и опрокидывается в лес.

Я тоже выхожу из себя:

— Трогай, Сорока, довольно волынить! Нанялись, что ли?!

Сорока лупит с размаху Коршуна. Колонисты заливаются откровенным смехом, под кустом стонет Карабанов, даже Антон хохочет:

— Вот будет потеха, если еще и бандиты остановят! Тогда обязательно опоздают на вечер.

Козырь растерянно стоит в толпе и никак не может понять, какие важные обстоятельства могли помешать посчитать спицы.

За разными заботами мы и не заметили, как прошли полтора месяца. Завхоз РКИ приехал к нам минута в минуту.

— Ну, как наши лошади?

— Живут.

— Когда вы их пришлете?

Антон побледнел:

— Как это — «пришлете»? Ого, а кто будет работать?

— Договор, товарищи,— сказал завхоз черствым голосом,— договор. А пшеницу когда можно получить?

— Что вы! Надо же собрать да обмолотиться, пшеница еще в поле.

— А колеса?

— Да, понимаете, наш колесник спицы не посчитал, не знает, на сколько спиц делать колеса. И размеры ж...

Завхоз чувствовал себя большим начальством в колонии. Как же, завхоз РКИ!

— Придется платить неустойку по договору. По договору. И с сегодняшнего дня, знайте же, десять фунтов в день, десять фунтов пшеницы. Как хотите.

Завхоз уехал. Братченко со злобой проводил его беговые дрожки и сказал коротко:

— Сволочь!

Мы были очень расстроены. Лошади дозарезу нужны, но не отдавать же ему весь урожай!

Калина Иванович ворчал:

— Я им не отдам пшеницу, этим паразитам; пятнадцать пудов в месяц, а теперь еще по десять фунтов. Они там пишут все по теории, а мы, значит, хлеб ро-

бым. А потом им и хлеб отдай, и лошадей отдай. Где хочешь, бери, а пшеницы я не дам!

Ребята отрицательно относились к договору:

— Если им пшеницу отдавать, так пусть она лучше на корне посохнет. Або нехай забирают пшеницу, а лошадей нам оставят.

Братченко решил вопрос более примирительно:

— Вы можете и пшеницу отдавать, и жито, и картошку, а лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, а лошадей они не увидят.

Наступил июль. На лугу ребята косили сено, и Калина Иванович расстраивался:

— Плохо косят хлопцы, не умеют. Так это ж сено, а как же с житом будет, прямо не знаю. Жито ж семь десятин, да пшеницы восемь десятин, да яровая, да овес. Что ты его будешь делать? Надо непременно жатку покупать.

— Что ты, Калина Иванович? За какие деньги купишь жатку?

— Хоть лобогрейку. Стоила раньше полтораста рублей або двести.

Вечером он пришел ко мне и принес пригоршню жита:

— Видишь, через два дня, никак не позже, убирать.

Готовились косить жито косами. Жатву решили открыть торжественно, праздником первого снопа. В нашей колонии на теплом песке жито поспевало раньше, и это было удобно для устройства праздника, к которому мы готовились, как к очень большому торжеству. Было приглашено много гостей, варили хороший обед, выработали красивый и значительный ритуал торжественного начала жатвы. Уже украсили арками и флагами поле, уже пошили хлопцам свежие костюмы, но Калина Иванович был сам не свой.

— Пропал урожай! Пока выкосят, посыплется жито. Для ворон работали.

Но в сараях колонисты натачивали косы и приделывали к ним грабельки, успокаивая Калину Ивановича:

— Ничего не пропадет, Калина Иванович, все будет, как у настоящих граков.

Было назначено восемь косарей.

В самый день праздника рано утром разбудил меня Антон:

— Там дядько приехал и жатку привез.

— Какую жатку?

— Привез такую машину. Здоровая, с крыльями — жатка. Говорит: чи не купят?

— Так ты его отправь. За какие же деньги — ты же знаешь...

— А он говорит: може, променяют. Он на коня хочет променять.

Оделся я, вышел к конюшне. Посреди двора стояла жатвенная машина, еще не старая, видно, для продажи специально выкрашенная. Вокруг нее толпились колонисты, и тут же злобно посматривал на жатку, и на хозяина, и на меня Калина Иванович.

— Что это он, в насмешку приехав, что ли? Кто его сюда притащив?

Хозяин распрягал лошадей. Человек аккуратный, с благообразной сивой бородой.

— А почему продаешь? —спросил Бурун.

Хозяин оглянулся:

— Да сына женить треба. А у меня есть жатка,— другая жатка, с нас хватит, а вон коня нужно сыну дать.

Карабанов зашептал мне на ухо:

— Брешет. Я этого дядька знаю... Вы не с Сторожевого?

— Эге ж, с Сторожевого. А ты ж що ж тут? А чи ты не Семен Карабан? Панаса сынок?

— Так как же! — обрадовался Семен.— Так вы ж Омельченко? Мабуть, боитесь, що отберут? Ага ж?

— Та оно и то, що отобрать могуть, да и сына женить же...

— А хиба ваш сын доси не в банде?

— Що вы, Христос з вами!..

Семен принял на себя руководство всей операцией. Он долго беседовал с хозяином возле морд лошадей, они друг другу кивали головами, хлопали по плечам и локтям. Семен имел вид настоящего хозяина, и было видно, что и Омельченко относится к нему, как к человеку понимающему.

Через полчаса Семен открыл секретное совещание на крыльце у Калины Ивановича. На совещании присутствовали я, Калина Иванович, Карабанов, Бурун, Задоров, Братченко и еще двое-трое старших колонистов. Остальные в это время стояли вокруг жатки и молчаливо поражались тому, что на свете у некоторых людей существует такое механическое счастье.

Семен объяснил, что дядько хочет получить за жатку коня, что в Сторожевом будут производить учет машин и хозяин боится, что отберут даром, а коня не отберут, потому что он женит сына.

— Може, и правда, а може, и нет, не наше дело,— сказал Задоров,— а жатку нужно взять. Сегодня и в поле пустим.

— Какого же ты коня отдашь? — спросил Антон.— Малыш и Бандитка никуда не годятся, Рыжего, что ли, отдашь?

— Да хоть бы и Рыжего,— сказал Задоров.— Это же жатка!

— Рыжего? А ты это вид...

Карабанов перебил горячего Антона:

— Нет, Рыжего ж, конечно, нельзя отдавать. Один конь в колонии, на что Рыжего? Давайте дадим Зверя. Конь видный и на племя еще годится.

Семен хитро глядел на Калину Ивановича.

Калина Иванович даже не ответил Семену. Выбил трубку о ступеньку крыльца, поднялся:

— Некогда мне с вами глупостями заниматься.

И ушел в свою квартиру.

Семен проводил его прищуренным глазом и зашептал:

— Серьезно, Антон Семенович, отдавайте Зверя. Все перемелется, а жатка у нас будет.

— Посадят.

— Кого?.. Вас? Да никогда в жизни! Жатка ж дороже коня стоит. Пускай РКИ возьмет вместо Зверя жатку. Что ему, не все равно? Никакого же убытка, а мы успеем с хлебом. Все равно же от Зверя никакого толку...

Задоров увлекательно рассмеялся:

— Вот история! А в самом деле!..

Бурун молчал и, улыбаясь, шевелил у рта житным колосом.

Антон с сияющими глазами смеялся:

— Вот будет потеха, если РКИ жатку в фаэтон запряжет... вместо Зверя.

Ребята смотрели на меня горящими глазами.

— Ну, решайте, Антон Семенович... решайте, ничего нет страшного. Если и посадят, то не больше как на неделю.

Бурун, наконец, сделался серьезным и сказал:

— Как ни крути, а отдавать жеребца нужно. Иначе нас все дураками назовут. И РКИ назовет.

Я посмотрел на Буруна и сказал просто:

— Верно! Выводи, Антон, жеребца!

Все бросились к конюшне.

Хозяину Зверь понравился. Калина Иванович дергал меня за рукав и говорил шепотом:

— Чи ты сказывся? Што, тебе жизнь надоела? Та хай она сказыться и колония, и жито... Чего ты лезешь?

— Брось, Калина... Все равно. Будем жать жаткой.

Через час хозяин уехал с Зверем. А еще через два часа в колонию приехал Черненко и увидел во дворе жатку.

— О молодцы! Где это вы выдрали такую прелесть?

Хлопцы вдруг затихли, как перед грозой. Я с тоской посмотрел на Черненко и сказал:

— Случайно удалось.

Антон хлопнул в ладоши и подпрыгнул:

— Выдрали чи не выдрали, товарищ Черненко, а жатка есть. Хотите сегодня поработать?

— На жатке?

— На жатке.

— Идет, вспомним старину!.. А ну, давай ее проверим.

Черненко с ребятами до начала праздника возился с жаткой: смазывали, чистили, что-то прилаживали, проверяли.

На празднике после первого торжественного момента Черненко сам залез на жатку и застрекотал по полю. Карабанов давился от смеха и кричал на все поле:

— От! Хозяина сразу видно.

Завхоз РКИ ходил по полю и приставал ко всем:

— А что это Зверя не видно? Где Зверь?

Антон показывал кнутом на восток:

— Зверь во второй колонии. Там завтра жито жать будем, пусть отдохнет.

В лесу были накрыты столы. За торжественным обедом ребята усадили Черненко, угощали пирогами и борщом и занимали разговорами.

— Это вы славно устроили: жатку.

— Правда ж, добре?

— Добре, добре.

— А что лучше, товарищ Черненко, конь или жатка? — стреляет глазами по всему фронту Братченко.

— Ну, это разно сказать можно. Смотря, какой конь.

— Ну вот, например, если такой конь, как Зверь?

Завхоз РКИ опустил ложку и тревожно задвигал ушами. Карабанов вдруг прыснул и спрятал голову под стол. За ним в припадке смеха зашатались за столом хлопцы. Завхоз вскочил и давай оглядываться по лесу, как будто помощи ищет. А Черненко ничего не понимает:

— Чего это они? А разве Зверь — плохой конь?

— Мы променяли Зверя на жатку, сегодня променяли,— сказал я отнюдь без всякого смеха.

Завхоз повалился на лавку, а Черненко и рот разинул. Все притихли.

— Променяли на жатку? — пробормотал Черненко и глянул на завхоза.

Обиженный завхоз вылез из-за стола.

— Мальчишеское нахальство и больше ничего. Хулиганство, своеволие...

Черненко вдруг радостно улыбнулся:

— Ах, сукины сыны! В самом деле? Что же с жаткой будем делать?

— Ну, что же, у нас договор: пятикратный размер убытков,— жестоко пилил завхоз.

— Брось! — сказал Черненко с неприязнью.— Ты на такую вещь не способен.

— Я?

— Вот именно, не способен, а поэтому закройся. А вот они способны. Им нужно жать, так они знают, что хлеб дороже твоих пятикратных, понимаешь? А что они нас с тобой не боятся, так это тоже хорошо. Одним словом, мы им жатку сегодня дарим.

Разрушая парадные столы и душу завхоза РКИ, ребята подбросили Черненко вверх. Когда он, отряхиваясь и хохоча, встал, наконец, на ноги, к нему подошел Антон и сказал:

— Ну, а Мэри и Коршун как же?

— Что — «как же»?

— Ему отдавать? — кивнул Антон на завхоза.

— А что же, и отдашь.

— Не отдам,— сказал Антон.

— Отдашь, довольно с тебя жатки! — рассердился Черненко.

Но Антон тоже рассердился:

— Забирайте вашу жатку! На черта ваша жатка? Что, в нее Карабанова запрягать будем?

Антон ушел в конюшню.

— Ах, и сукин же сын! — сказал озабоченно Черненко.

Кругом притихли. Черненко оглянулся на завхоза:

— Влезли мы с тобой в историю. Ты им продай как-нибудь там в рассрочку, черт с ними: хорошие ребята, даром что бандиты. Пойдем, найдем этого черта вашего сердитого.

Антон в конюшне лежал на куче сена.

— Ну, Антон, я тебе лошадей продал.

Антон поднял голову:

— А не дорого?

— Как-нибудь заплатите.

— Вот это дело,— сказал Антон,— вы умный человек.

— Я тоже так думаю,— улыбнулся Черненко.

— Умнее вашего завхоза.

21. ВРЕДНЫЕ ДЕДЫ

Летом по вечерам чудесно в колонии. Просторно раскинулось ласковое живое небо, опушка леса притихла в сумерках, силуэты подсолнухов на краях огородов собрались и отдыхают после жаркого дня, теряется в неясных очертаниях вечера прохладный и глубокий спуск к озеру. У кого-нибудь на крыльце сидят, и слышен не-

внятный говор, а сколько человек там и что за компания — не разберешь.

Наступает такой час, когда как будто еще светло, но уже трудно различать и узнавать предметы. В этот час в колонии всегда кажется пусто. Спрашиваешь себя: да куда же это подевались хлопцы? Пройдитесь по колонии, и вы увидете их всех. Вот в конюшне человек пять совещаются у висящего на стене хомута, в пекарне целое заседание,— через полчаса будет готов хлеб, и все люди, прикосновенные к этому делу, к ужину, к дежурству по колонии, расположились на скамьях в чисто убранной пекарне и тихонько беседуют. Возле колодца разные люди случайно оказались вместе: тот с ведром бежал за водой, тот шел мимо, а третьего остановили потому, что еще утром была в нем нужда: все забыли о воде и вспомнили о чем-то другом, может быть, и неважном... но разве бывает что-нибудь неважное в хороший летний вечер?

У самого края двора, там, где начинается спуск к озеру, на поваленной вербе, давно потерявшей кору, уселась целая стайка, и Митягин рассказывает одну из своих замечательных сказок:

— ...Значит, утром и приходят люди в церковь, смотрят — нет ни одного попа. Что такое? Куда попы девались? А сторож и говорит: «То ж, наверное, наших попов черт носил сегодня в болото. У нас же четыре попа».— «Четыре».— «Ну, так оно и есть: четыре попа за ночь в болото перетащил...»

Ребята слушают тихонько, с горящими глазами, иногда только радостно взвизгивает Тоська: ему не столько нравится черт, сколько глупый сторож, который целую ночь смотрел и не разобрал, своих попов или чужих черт таскал в болото. Представляются все эти одинаковые, безыменные жирные попы, все это хлопотливое, тяжелое предприятие,— подумайте, перетаскать их всех на плечах в болото! — все это глубокое безразличие к их судьбе, такое же вот безразличие, какое бывает при истреблении клопов.

В кустах бывшего сада слышится взрывный смех Оли Вороновой, ей отвечает баритонный поддразнивающий говорок Буруна, снова смех, но уже не одной Оли, а целого девичьего хора, и на поляну вылетает Бурун, придерживая на голове смятую фуражку, а за ним весе-

лая пестрая погоня. На полянке остановился заинтересованный Шелапутин и не знает, что ему делать— смеяться или удирать, ибо у него тоже с девочками старые счеты.

Но тихие, задумчивые, лирические вечера не всегда соответствовали нашему настроению. И кладовые колонии, и селянские погреба, и даже квартиры воспитателей не перестали еще быть ареной дополнительной деятельности, хотя и не столь продуктивной, как в первый год нашей колонии. Пропажа отдельных вещей в колонии вообще сделалась редким явлением. Если и появлялся в колонии новый специалист по таким делам, то очень быстро начинал понимать, что ему приходится иметь дело не с заведующим, а с значительной частью коллектива, а коллектив в своих реакциях был чрезвычайно жесток. В начале лета мне с трудом удалось вырвать из рук колонистов одного из новеньких, которого ребята поймали при попытке залезть через окно в комнату Екатерины Григорьевны. Его били с той слепой злобой и безжалостностью, на которую способна только толпа. Когда я очутился в этой толпе, меня с такой же злобой отшвырнули в сторону, и кто-то закричал в горячке:

— Уберите Антона к чертям!

Летом в колонию был прислан комиссией Кузьма Леший. Его кровь наверняка наполовину была цыганской. На смуглом лице Лешего были хорошо пригнаны и снабжены прекрасным вращательным аппаратом огромные черные глаза, и этим глазам от природы было дано определенное назначение: смотреть за тем, что плохо лежит и может быть украдено. Все остальные части тела Лешего слепо подчинялись распорядительным приказам цыганских глаз: ноги несли Лешего в ту сторону, в которой находился плохо лежащий предмет, руки послушно протягивались к нему, спина послушно изгибалась возле какой-нибудь естественной защиты, уши напряженно прислушивались к разным шорохам и другим опасным звукам. Какое участие принимала голова Лешего во всех этих операциях — невозможно сказать. В дальнейшей истории колонии голова Лешего была достаточно оценена, но в первое время она для всех колонистов казалась самым ненужным предметом в его организме.

И горе и смех были с этим Лешим! Не было дня, чтобы он в чем-нибудь не попался: то сопрет с воза,

только что прибывшего из города, кусок сала, то в кладовке из-под рук стянет горсть сахарного песку, то у товарища из кармана вытрусит махорку, то по дороге из пекарни в кухню слопает половину хлеба, то у воспитателя в квартире во время делового разговора возьмет столовый нож. Леший никогда не пользовался сколько-нибудь сложным планом или самым пустяковым инструментом: так уж он был устроен, что лучшим инструментом считал свои руки. Хлопцы пробовали его бить, но Леший только ухмылялся:

— Да чего ж там бить меня? Я ж и сам не знаю, как оно так случилось, хоть бы и вы были на моем месте.

Кузьма очень веселый парень. В свои шестнадцать лет он вложил большой опыт, много путешествовал, много видел, сидел понемногу во всех губернских тюрьмах, был грамотен, остроумен, страшно ловок и неустрашим в движениях, замечательно умел «садить гопака» и не знал, что такое смущение.

За эти все качества ему многое прощали колонисты, но все же его исключительная вороватость нам начинала надоедать. Наконец он попал в очень неприятную историю, которая надолго привязала его к постели. Как-то ночью залез он в пекарню и был крепко избит поленом. Наш пекарь, Костя Ветковский, давно уже страдал от постоянных недостатков хлеба при сдаче, от уменьшенного припека, от неприятных разговоров с Калиной Ивановичем. Костя устроил засаду и был удовлетворен свыше меры: прямо на его засаду ночью прилез Леший. Наутро пришел Леший к Екатерине Григорьевне и просил помощи. Рассказал, что лазил на дерево рвать шелковицы и вот так исцарапался. Екатерина Григорьевна очень удивилась такому кровавому результату простого падения с дерева, но ее дело маленькое: перевязала Лешему физиономию и отвела в спальню, ибо без ее помощи Леший до спальни не добрался бы. Костя до поры до времени никому не рассказывал о подробностях ночи в пекарне: он занят был в свободное время в качестве сиделки у постели Кузьмы и читал ему «Приключения Тома Сойера».

Когда Леший выздоровел, он сам рассказал обо всем происшедшем и сам первый смеялся над своим несчастьем.

Карабанов сказал Лешему:

— Слухай, Кузьма, если бы мне так не везло, я давно бы бросил красть. Ведь так тебя и убьют когда-нибудь.

— Я и сам так думаю, чего это мне не везет? Это, наверное, потому, что я не настоящий вор. Надо будет еще раза два попробовать, а если ничего не выйдет, то и бросить. Правда же, Антон Семенович?

— Раза два? — ответил я.— В таком случае не нужно откладывать, попробуй сегодня, все равно ничего не выйдет. Не годишься ты на такие дела.

— Не гожусь?

— Нет. Вот кузнец из тебя хороший выйдет, Семен Петрович говорил.

— Говорил?

— Говорил. Только он еще говорил, что ты в кузнице два новых метчика спер,— наверное, они у тебя сейчас в карманах.

Леший покраснел, насколько могла покраснеть его черная рожа.

Карабанов схватил Лешего за карман и заржал так, как умел ржать только Карабанов:

— Ну, конечно же, у него! Вот тебе уже первый раз и есть — засыпался.

— От черт! — сказал Леший, выгружая карманы.

Вот только такие случаи встречались у нас внутри колонии. Гораздо хуже было с так называемым окружением. Селянские погреба по-прежнему пользовались симпатиями колонистов, но это дело теперь было в совершенстве упорядочено и приведено в стройную систему. В погребных операциях принимали участие исключительно старшие, малышей не допускали и безжалостно и искренне возбуждали против них уголовные обвинения при малейшей попытке спуститься под землю. Старшие достигли настолько выдающейся квалификации, что даже кулацкие языки не смели обвинять колонию в этом грязном деле. Кроме того, я имел все основания думать, что оперативным руководством всех погребных дел состоит такой знаток, как Митягин.

Митягин рос вором. В колонии он не брал потому, что уважал людей, живущих в колонии, и прекрасно понимал, что взять в колонии — значит обидеть хлопцев.

Но на городских базарах и у селян ничего святого не было для Митягина. По ночам он часто не бывал в колонии, по утрам его с трудом поднимали к завтраку. По воскресеньям он всегда просился в отпуск и приходил поздно вечером, иногда в новой фуражке или шарфе и всегда с гостинцами, которыми угощал всех малышей. Малыши Митягина боготворили, но он умел скрывать от них свою откровенную воровскую философию.

Ко мне Митягин относился по-прежнему любовно, но о воровстве мы с ним никогда не говорили. Я знал, что разговоры ему помочь не могли.

Все-таки Митягин меня сильно беспокоил. Он был умнее и талантливее многих колонистов и поэтому пользовался всеобщим уважением. Свою воровскую натуру он умел показывать в каком-то неотразимо привлекательном виде. Вокруг него всегда был штаб из старших ребят, и этот штаб держался с митягинской тактичностью, с митягинским признанием колонии, с уважением к воспитателям. Чем занималась вся эта компания в темные тайные часы, узнать было затруднительно. Для этого нужно было либо шпионить, либо выпытывать кое у кого из колонистов, а мне казалось, что таким путем я сорву развитие так трудно родившегося тона.

Если я случайно узнавал о том или другом похождении Митягина, я откровенно громил его на собрании, иногда накладывал взыскание, вызывал к себе в кабинет и ругал наедине. Митягин обыкновенно отмалчивался с идеально спокойной физиономией, приветливо и расположенно улыбался, уходя, неизменно говорил ласково и серьезно:

— Спокойной ночи, Антон Семенович!

Он был открытым сторонником чести колонии и очень негодовал, когда кто-нибудь «засыпался».

— Я не понимаю, откуда берется это дурачье? Лезет, куда у него руки не стоят.

Я предвидел, что с Митягиным придется расстаться. Обидно было признать свое бессилие и жалко было Митягина. Он сам, вероятно, тоже считал, что в колонии ему сидеть нечего, но и ему не хотелось покидать колонию, где у него завелось порядочное число приятелей и где все малыши липли к нему, как мухи на сахар.

Хуже всего было то, что митягинской философией начинали заражаться такие, казалось бы, крепкие колонисты, как Карабанов, Вершнев, Волохов. Настоящую и открытую оппозицию Митягину составлял один Белухин. Интересно, что вражда Митягина и Белухина никогда не принимала форм сварливых столкновений, никогда они не вступали в драки и даже не ссорились. Белухин открыто говорил в спальне, что, пока в колонии будет Митягин, у нас не переведутся воры. Митягин слушал его с улыбкой и отвечал незлобиво:

— Не всем же, Матвей, быть честными людьми. Какого б черта стоила твоя честность, если бы воров не было? Ты только на мне и зарабатываешь.

— Как — я на тебе зарабатываю? Что ты врешь?

— Да обыкновенно как. Я вот украду, а ты не украдешь, вот тебе и слава. А если бы никто не крал, все были бы одинаковые. Я так считаю, что Антону Семеновичу нужно нарочно привозить таких, как я. А то таким, как ты, никакого ходу не будет.

— Что ты все врешь! — говорил Белухин.— Ведь есть же такие государства, где воров нету. Вот Дания, и Швеция, и Швейцария. Я читал, что там совсем нет воров.

— Н-н-ну, это б-б-брехня,— вступился Вершнев,— и т-там к-к-крадут. А ч-что ж х-хорошего, ч-что воров н-нет? Зато они... Ддания и Швейцар-р-рия — мелочь.

— А мы что?

— А м-мы, в-вот в-видишь, в-вот у-у-у-увидишь, к-как себя п-п-покажем, в-вот р-р-революция, в-видишь, к-к-к-какая!..

— Такие, как вы, первые против революции стоите, вот что!..

За такие речи больше всех и горячее всех сердился Карабанов. Он вскакивает с постели, потрясает кулаком в воздухе и свирепо прицеливается черными глазами в добродушное лицо Белухина:

— Ты чего здесь разошелся? Думаешь, если я с Митягиным лишнюю булку съем, так это вред для революции? Вы всё привыкли на булки мерять...

— Да что ты мне свою булку в глаза стромляешь? Не в булке дело, а в том, что ты, как свинья, ходишь, носом землю разрываешь.

К концу лета деятельность Митягина и его товарищей была развернута в самом широком масштабе на соседних баштанах. В наших краях в то время очень много сеяли арбузов и дынь, некоторые зажиточные хозяева отводили под них по нескольку десятин.

Арбузные дела начались с отдельных набегов на баштаны. Кража с баштана на Украине никогда не считалась уголовным делом. Поэтому и селянские парни всегда разрешали себе совершать небольшие вторжения на соседский баштан. Хозяева относились к этим вторжениям более или менее добродушно: на одной десятине баштана можно собрать до двадцати тысяч штук арбузов, утечка какой-нибудь сотни за лето не составляла особенного убытка. Но все же среди баштана всегда стоял курень, и в нем жил какой-нибудь старый дед, который не столько защищал баштан, сколько производил регистрацию непрошеных гостей.

Иногда ко мне приходил такой дед и заявлял жалобу:

— Вчера ваши лазили по баштану. Так вы им скажите, что недобре так делать. Нехай прямо приходят в курень, и чего ж там, всегда можно человеку угощение сделать. Скажи мени, и я тебе самый лучший арбуз выберу.

Я передал просьбу деда хлопцам. Они воспользовались ею в тот же вечер, но в предлагаемую дедом систему внесли небольшие коррективы: пока в курене съедался выбранный дедом самый лучший арбуз и велись приятельские разговоры о том, какие были арбузы в прошлом году и какие были в то лето, когда японец воевал, на территории всего баштана хозяйничали нелегальные гости и уже без всяких разговоров набивали арбузами подолы рубах, наволочки и мешки. В первый вечер, воспользовавшись любезным приглашением деда, Вершнев предложил отправиться к деду в гости Белухину. Другие колонисты не протестовали против такого предпочтения. Матвей возвратился с баштана довольный:

— Честное слово, так это хорошо: и поговорили, и удовольствие человеку произвели.

Вершнев сидел на лавке и мирно улыбался. В дверь ввалился Карабанов.

— Ну что, Матвей, погостювал?

— Да, видишь, Семен, можно жить по-соседски.

— Тебе хорошо: ты арбузов наелся, а нам же как?

— Да чудак! Поди и ты к нему.

— Вот тебе раз! Как тебе не стыдно? Если человек пригласил, так уже всем идти. Это по-свински выйдет. Нас шестьдесят человек.

На другой день Вершнев вновь предложил Белухину идти в гости к деду. Белухин великодушно отказался: пусть идут другие.

— Где я там буду искать других? Идем, что ли? Да ведь ты можешь и не есть арбузов. Посидишь, побалакаешь.

Белухин сообразил, что Вершнев прав. Ему даже понравилась идея: пойти к деду в гости и показать, что колонисты ходят не из-за того, чтобы съесть арбуз.

Но дед встретил гостей очень недружелюбно, и Белухину ничего не удалось показать. Напротив, дед показал им винтовку и сказал:

— Вчера ваши проступники, пока вы здесь балакали, половину баштана снесли. Разве так можно делать? Нет, с вами, видно, нужно по-другому. Вот я буду стрелять.

Белухин, смущенный, возвратился в колонию и в спальне раскричался. Ребята хохотали, и Митягин говорил:

— Ты что, в адвокаты к деду нанялся? Ты вчера по закону слопал лучший арбуз, чего тебе еще нужно? А мы, может быть, и никакого не видели. Какие у деда доказательства?

Дед ко мне больше не приходил. Но многие признаки показывали, что началась настоящая арбузная вакханалия.

Однажды утром я заглянул в спальню и увидел, что весь пол в спальне завален арбузными корками. Я набросился на дежурного, кого-то наказал, потребовал, чтобы этого больше не было. Действительно, в следующие дни в спальнях было по-обычному чисто.

Тихие, прекрасные летние вечера, полные журчащих бесед, хороших, ласковых настроений и неожиданно звонкого смеха, переходили в прозрачные торжественные ночи.

Над заснувшей колонией бродят сны, запахи сосны и чебреца, птичьи шорохи и отзвуки собачьего лая в каком-то далеком государстве. Я выхожу на крыльцо. Из-за угла показывается дежурный колонист-сторож, спрашивает, который час. У его ног купается в прохладе и неслышно чапает пятнистый Букет. Можно спокойно идти спать.

Но этот покой прикрывал очень сложные и беспокойные события.

Как-то спросил меня Иван Иванович:

— Это вы распорядились, чтобы лошади свободно гуляли по двору целыми ночами? Их могут покрасть.

Братченко возмутился:

— А что же, лошадям так нельзя уже и свежим воздухом подышать?

Через день спросил Калина Иванович:

— Чего это кони в спальни заглядывают?

— Как «заглядывают»?

— А ты посмотри: как утро, они и стоят под окнами. Чего они там стоят?

Я проверил: действительно, ранним утром все наши лошади и вол Гаврюшка, подаренный нам за ненадобностью и старостью хозяйственной частью наробраза, располагались перед окнами спален в кустах сирени и черемухи и неподвижно стояли часами, очевидно, ожидая какого-то приятного для них события.

В спальне я спросил:

— Чего это лошади в ваши окна заглядывают?

Опришко поднялся с постели, выглянул в окно, ухмыльнулся и крикнул кому-то:

— Сережа, а пойди спроси этих идиотов, чего они стоят перед окнами.

Под одеялами хмыкнули. Митягин, потягиваясь, пробасил:

— Не нужно было в колонии таких любопытных скотов заводить, а то вам теперь беспокойство...

Я навалился на Антона:

— Что это за таинственные происшествия? Почему лошади торчат здесь каждое утро? Чем их сюда приманивают?

Белухин отстранил Антона:

— Не беспокойтесь, Антон Семенович, лошадям никакого вреда не будет. Антон нарочно их сюда водит, значит, приятность здесь ожидается.

— Ну, ты, заболтал уже! — сказал Карабанов.

— Да мы вам скажем. Вы от запретили корки набрасывать на пол, а у нас не без того, что у кого-нибудь арбуз окажется...

— Как это — «окажется»?

— Да как? То дед кому подарит, то деревенские принесут...

— Дед подарит? — спросил я укоризненно.

— Ну, не дед, так как-нибудь иначе. Так куда же корки девать? А тут Антон выгнал лошадей прогуляться. Хлопцы и угостили.

Я вышел из спальни.

После обеда Митягин приволок ко мне в кабинет огромный арбуз:

— Вот попробуйте, Антон Семенович.

— Где ты достал? Убирайся со своим арбузом!.. И вообще я за вас возьмусь серьезно.

— Арбуз самый честный, и специально для вас выбирали. Деду за этот кавун заплачено чистою монетою. А за нас, конечно, взяться давно пора, мы за это не обижаемся.

— Проваливай и с кавуном и с разговорами!

Через десять минут с тем же арбузом пришла целая депутация. К моему удивлению, речь держал Белухин, прерывая ее на каждом слове для того, чтобы захохотать:

— Эти скоты, Антон Семенович, если бы вы знали, сколько поедают кавунов каждую ночь! Что же тут скрывать... У одного Волохова... он... это, конечно, неважно. Как они достают — пускай будет на ихней совести, но безусловно, что и меня угощают, разбойники, нашли, понимаете, в моей молодой душе слабость: люблю страшно арбузы. Даже и девочки пропорцию свою получают и Тоське дают: нужно сказать, что в ихних душах все-таки помещаются благородные чувства. Ну, а знаем же, что вы кавунов не кушаете, только одни неприятности из-за этих проклятых кавунов. Так что примите уже этот скромный подарок. Я же человек честный, не какой-ни-

будь Вершнев, вы мне поверьте, деду за этот кавун заплачено, может, и больше того, сколько в нем производительности заложено человеческого труда, как говорит наука экономической политики.

Закончив таким образом, Белухин сделался вдруг серьезен, положил арбуз на мой стол и скромно отошел в сторону.

Непричесанный и по-обычному истерзанный Вершнев выглядывал из-за Митягина.

— П-п-политической э-экономии, а не экономической п-политики.

— Один черт,— сказал Белухин.

Я спросил:

— Чем заплатили деду?

Карабанов загнул палец.

— Вершнев припаял до кружки ручку, Гуд латку положил на чобот, а я посторожил за него полночи.

— Воображаю, сколько за эти полночи вы прибавили к этому арбузу!

— Верно, верно,— сказал Белухин.— Это я могу подтвердить по чести. Мы теперь с этим дедом контакт держим. А вот там к лесу есть баштан, так там, правда, такой вредный сидит, всегда стреляет.

— А ты что, тоже на баштан начал ходить?

— Нет, я не хожу, но выстрелы слышу: бывает, пойдешь пройтиться...

Я поблагодарил ребят за прекрасный арбуз.

Через несколько дней я увидел и вредного деда. Он пришел ко мне, вконец расстроенный.

— Что же это такое будет? То тащили по ночам больше, а то уже и днем спасения не стало, приходят в обед целыми бандами, хоть плачь,— за одним погонишься, а другие по всему баштану.

Я ребятам пригрозил, что буду сам ходить помогать охране или найму сторожей за счет колонии.

Митягин сказал:

— Вы этому граку верьте. Не в арбузах дело, а в том, что пройти нельзя мимо баштана.

— Да чего вам мимо баштана ходить? Куда там дорога?

— Какое его дело, куда мы идем? Чего он палит?

Еще через день Белухин меня предупредил:

— С этим дедом добром не кончится. Здорово хлопцы обижаются. Дед уже боится один сидеть в курене, с ним еще двое дежурят, и все с ружьями. А хлопцы этого вытерпеть не могут.

В ту же ночь колонисты пошли на этот баштан цепью. Мои занятия по военному делу пошли на пользу. В полночь половина колонии залегла на меже баштана, вперед выслали дозоры и разведку. Когда деды подняли тревогу, хлопцы закричали «ура» и кинулись в атаку. Сторожа отступили в лес и в панике забыли в курене ружья. Часть ребят занялась реализацией победы, скатывая арбузы к меже под горку, остальные приступили к репрессиям: подожгли огромный курень.

Один из сторожей прибежал в колонию и разбудил меня. Мы поспешили к месту боя.

Курень на горке полыхал огромным костром, и от него стояло такое зарево, как будто горело целое село. Когда мы подбежали к баштану, на нем раздалось несколько выстрелов. Я увидел колонистов, залегших правильными отделениями в арбузных зарослях. Иногда эти отделения поднимались на ноги и перебегали к горящему куреню. Где-то на правом фланге командовал Митягин.

— Не лезь прямо, заходи сбоку.

— Кто это стреляет? — спросил я деда.

— Да кто его знает? Там же никого нэма. Мабуть, то винтовку хтось забув, мабуть, то винтовка сама стреляет.

Дело было, собственно говоря, закончено. Увидев меня, ребята как сквозь землю провалились. Дед повздыхал и ушел домой. Я возвратился в колонию. В спальнях был мертвый покой. Все не только спали, но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого храпа. Я сказал негромко:

— Довольно дурака валять, вставайте.

Храп прекратился, но все продолжали настойчиво спать.

— Вставайте, вам говорят.

С подушек поднялись лохматые головы. Митягин глядел на меня и не узнавал:

— В чем дело?

Но Карабанов не выдержал:

— Да брось, Митяга, чего там!

Все меня обступили и начали с увлечением рассказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец вдруг подпрыгнул, как обваренный:

— Там же в курене ружья!

— Сгорели...

— Дерево сгорело, а то все годится.

И вылетел из спальни.

Я сказал:

— Может быть, это все и весело, но все-таки это настоящий разбой. Я больше терпеть не могу. Если вы хотите продолжать так и дальше, нам будет не по дороге. Что это такое в самом деле: ни днем, ни ночью нет покоя ни колонии, ни всей округе!

Карабанов схватил меня за руку:

— Больше этого не будет. Мы и сами видим, что довольно. Правда ж, хлопцы?

Хлопцы загудели что-то подтверждающее.

— Это все слова,— сказал я.— Предупреждаю, что если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я кое-кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше повторять не буду.

На другой день на пострадавший баштан приехали подводы, собрали все, что на нем еще осталось, и уехали.

На моем столе лежали дула и мелкие части сгоревших ружей.

22. АМПУТАЦИЯ

Ребята не сдержали своего обещания. Ни Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на баштаны, ни нападений на коморы и погреба селян. Наконец они организовали новое, очень сложное предприятие, которое увенчалось целой какофонией приятных и неприятных вещей.

Однажды ночью они залезли на пасеку Луки Семеновича и утащили два улья вместе с медом и пчелами. Ульи они принесли в колонию ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. На радостях устроили пир, в котором принимали участие мно-

гие колонисты. Наутро можно было составить точный реестр участников,— все они ходили по колонии с красными, распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться за помощью к Екатерине Григорьевне.

Вызванный в кабинет Митягин с первого слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того, удивился:

— Ничего тут такого нет! Не себе взяли улья, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии пчеловодство не нужно, можно и отнести.

— Что ты отнесешь? Мед съели, пчелы пропали.

— Ну, как хотите. Я хотел — как лучше.

— Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оставишь нас в покое... Ты уже взрослый человек, со мной ты никогда не согласишься, давай расстанемся.

— Я и сам так думаю.

Митягина необходимо было удалить как можно скорее. Для меня было уже ясно, что с этим решением я непростительно затянул и прозевал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива. Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в ограблении пасеки, но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и дни, наполненные все теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку развития нашего тона, знаменовали, следовательно, застой. И на фоне этого застоя для всякого пристального взгляда уже явными сделались непритязательные рисунки: развязность колонистов, какая-то специальная колонистская вульгарность по отношению и к колонии и к делу, утомительное и пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная книга, политические вопросы стали располагаться в коллективе на каких-то далеких флангах, уступив центральное место беспорядочным и дешевым приключениям и бесконечным разговорам о них. Все это отразилось и на внешнем облике колонистов и всей колонии: разболтанное движение, неопрятный и неглубокий позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь.

Я написал Митягину выпускное удостоверение, дал пять рублей на дорогу,— он сказал, что едет в Одессу,— и пожелал ему счастливого пути.

— С хлопцами попрощаться можно?

— Пожалуйста.

Как они там прощались, не знаю. Митягин ушел перед вечером, и провожала его почти вся колония.

Вечером все ходили печальные, малыши потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи.

В мой кабинет пришел Леший и сказал:

— А жалко Митягу.

Он долго ждал ответа, но я ничего не ответил Лешему. Так он и ушел.

Занимался я очень долго. Часа в два, выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни. Разбудил Антона и спросил:

— Кто на чердаке?

Антон недовольно подернул плечом и неохотно ответил:

— Там Митягин.

— Чего он там сидит?

— А я знаю?

Я поднялся на чердак. Вокруг конюшенного фонаря сидело несколько человек: Карабанов, Волохов, Леший, Приходько, Осадчий. Они молча смотрели на меня. Митягин что-то делал в углу чердака, я еле-еле заметил его в темноте.

— Идите все в кабинет.

Пока я отпирал дверь кабинета, Карабанов распорядился:

— Нечего всем сюда собираться. Пойду я и Митягин.

Я не протестовал.

Вошли. Карабанов свободно развалился на диване. Митягин остановился в углу у дверей.

— Ты зачем возвратился в колонию?

— Было одно дело.

— Какое дело?

— Наше одно дело.

Карабанов смотрел на меня пристальным горячим взглядом. Он вдруг весь напружинился и гибким, змеи-

ным движением наклонился над моим столом, приблизив свои полыхающие глаза прямо к моим очкам:

— Знаете что, Антон Семенович? Знаете, что я вам скажу? Пойду и я вместе с Митягой.

— Какое дело вы затевали на чердаке?

— Дело, по правде сказать, пустое, но для колонии оно все равно неподходящее. А я пойду с Митягой. Раз мы к вам не подходим, что же, пойдем шукать своего счастья. Може, у вас будут кращие колонисты.

Он всегда немного кокетничал и сейчас разыгрывал обиженного, вероятно, надеясь, что я устыжусь собственной жестокости и оставлю Митягина в колонии.

Я посмотрел Карабанову в глаза и еще раз спросил:

— На какое дело вы собирались?

Карабанов ничего не ответил и вопрошающе посмотрел на Митягина.

Я вышел из-за стола и сказал Карабанову:

— Револьвер у тебя есть?

— Нет,— ответил он твердо.

— Покажи карманы.

— Неужели будете обыскивать, Антон Семенович?

— Покажи карманы.

— Нате, смотрите! — закричал Карабанов почти в истерике и вывернул все карманы в брюках и в тужурке, высыпая на пол махорку и крошки житного хлеба.

Я подошел к Митягину.

— Покажи карманы.

Митягин неловко полез по карманам. Вытащил кошелек, связку ключей и отмычек, смущенно улыбнулся и сказал:

— Больше ничего нет.

Я продвинул руку за пояс его брюк и достал оттуда браунинг среднего размера. В обойме было три патрона.

— Чей?

— Это мой револьвер,— сказал Карабанов.

— Что же ты врал, что у тебя ничего нет? Эх, вы... Ну, что же? Убирайтесь из колонии к черту и немедленно, чтобы здесь и духу вашего не осталось! Понимаете?

Я сел к столу, написал Карабанову удостоверение. Он молча взял бумажку, презрительно посмотрел на пятерку, которую я ему протянул, и сказал:

— Обойдемся. Прощайте.

Он судорожно протянул ко мне руку и крепко, до боли сжал мои пальцы, что-то хотел сказать, потом вдруг бросился к дверям и исчез в ночном их просвете. Митягин не протянул руки и не сказал прощального слова. Он размашисто запахнул полы клифта и неслышными воровскими шагами побрел за Карабановым.

Я вышел на крыльцо. У крыльца собралась толпа ребят. Леший бегом бросился за ушедшими, но добежал только до опушки леса и вернулся. Антон стоял на верхней ступеньке и что-то мурлыкал. Белухин вдруг нарушил тишину:

— Так. Ну, что же, я признаю, что это сделано правильно.

— Может, и правильно,— сказал Вершнев, — т-т-только все-т-т-таки ж-жалко.

— Кого жалко? — спросил я.

— Да вот С-семена с-с-с Митягой. А разве в-в-вам н-не ж-жалко?

— Мне тебя жалко, Колька.

Я направился к своей комнате, и слышал, как Белухин убеждал Вершнева:

— Ты дурак, ты ничего не понимаешь, книжки для тебя без последствия проходят.

Два дня ничего не было слышно об ушедших. Я за Карабанова мало беспокоился: у него отец в Сторожевом. Побродит по городу с неделю и пойдет к отцу. В судьбе же Митягина я не сомневался. Еще с год погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах, попадется в чем-нибудь серьезном, вышлют его в другой город, а лет через пять-шесть обязательно либо свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороги для него не назначено. А может быть, и Карабанова собьет. Сбили же его раньше, пошел же он на вооруженный грабеж.

Через два дня в колонии стали шептаться:

— Говорят, Семен с Митягой грабят на дороге. Ограбили вчера мясников с Решетиловки.

— Кто говорит?

— Молочница у Осиповых была, так говорила, что Семен и Митягин.

Колонисты по углам шушукались и умолкали, когда к ним подходили. Старшие поглядывали исподлобья, не

хотели ни читать, ни разговаривать, по вечерам устраивались по двое, по трое и неслышно и скупо перебрасывались словами.

Воспитатели старались не говорить со мною об ушедших. Только Лидочка однажды сказала:

— А ведь жалко ребят?

— Давайте, Лидочка, договоримся,— ответил я.— Вы будете наслаждаться жалостью без моего участия.

— Ну и не надо! — обиделась Лидия Петровна.

Дней через пять я возвращался из города в кабриолете. Рыжий, подкормленный на летней благодати, охотно рысил домой. Рядом со мной сидел Антон и, низко свесив голову, о чем-то думал. Мы привыкли к нашей пустынной дороге и не ожидали уже на ней ничего интересного.

Вдруг Антон сказал:

— Смотрите: то не наши хлопцы? О! Да то ж Семен с Митягиным!

Впереди на безлюдном шоссе маячили две фигуры. Только острые глаза Антона могли так точно определить, что это был Митягин с товарищем. Рыжий быстро нес нас навстречу к ним. Антон забеспокоился и поглядывал на мою кобуру.

— А вы все-таки переложите наган в карман, чтобы ближе был.

— Не мели глупостей.

— Ну, как хотите.

Антон натянул вожжи.

— От хорошо, что мы вас побачилы,— сказал Семен.— Тогда, знаете, простились как-то не по-хорошему.

Митягин улыбался, как всегда, приветливо.

— Что вы здесь делаете?

— Мы хотим с вами побачиться. Вы же сказали, чтоб в колонии духа нашего не было, так мы туда и не пошли.

— Почему ты не поехал в Одессу? — спросил я Митягина.

— Да пока и здесь жить можно, а на зиму в Одессу.

— Работать не будешь?

— Посмотрим, как оно выйдет,— сказал Митягин.— Мы на вас не в обиде, Антон Семенович, вы не думайте, что на вас в обиде. Каждому своя дорога.

Семен сиял открытой радостью.

— Ты с Митягиным будешь?

— Я еще не знаю. Тащу его: пойдем к старику, к моему батьку, а он ломается.

— Да батько же его грак, чего я там не видел?

Они проводили меня до поворота в колонию.

— Вы ж нас лыхом не згадуйте,— сказал Семен на прощанье.— Эх, давайте с вами поцелуемся!

Митягин засмеялся:

— Ох, и нежная ты тварь, Семен, не будет с тебя толку.

— А ты лучше? — спросил Семен.

Они оба расхохотались на весь лес, помахали фуражками, и мы разошлись в разные стороны.

23. СОРТОВЫЕ СЕМЕНА

К концу осени в колонии наступил хмурый период — самый хмурый за всю нашу историю. Изгнание Карабанова и Митягина оказалось очень болезненной операцией. То обстоятельство, что были изгнаны «самые грубые хлопцы», пользовавшиеся до того времени наибольшим влиянием в колонии, лишило колонистов правильной ориентировки.

И Карабанов и Митягин были прекрасными работниками. Карабанов во время работы умел размахнуться широко и со страстью, умел в работе находить радость и других заражать ею. У него из-под рук буквально рассыпались искры энергии и вдохновения. На ленивых и вялых он только изредка рычал, и этого было достаточно, чтобы устыдить самого отъявленного лодыря. Митягин в работе был великолепным дополнением к Карабанову. Его движения отличались мягкостью и вкрадчивостью, действительно воровские движения, но у него все выходило ладно, удачливо и добродушно-весело. А к жизни колонии они оба были чутко отзывчивы и энергичны в ответ на всякое раздражение, на всякую злобу колонистского дня.

С их уходом вдруг стало скучно и серо в колонии. Вершнев еще больше закопался в книги, Белухин шутил как-то чересчур серьезно и саркастически, такие, как Во-

лохов, Приходько, Осадчий, сделались чрезмерно серьезны и вежливы, малыши скучали и скрытничали, вся колонистская масса вдруг приобрела выражение взрослого общества. По вечерам трудно стало собрать бодрую компанию: у каждого находились собственные дела. Только Задоров не уменьшил своей бодрости и не спрятал прекрасную свою открытую улыбку, но никто не хотел разделить его оживления, и он улыбался в одиночку, сидя над книжкой или над моделью паровой машины, которую он начал еще весной.

Способствовали этому упадку и неудачи наши в сельском хозяйстве. Калина Иванович был плохим агрономом, имел самые дикие представления о севообороте и о технике посева, а к тому же и поля мы получили от селян страшно засоренными и истощенными. Поэтому, несмотря на грандиозную работу, которую проделали колонисты летом и осенью, наш урожай выражался в позорных цифрах. На озимой пшенице было больше сорняков, чем пшеницы, яровые имели жалкий вид, еще хуже было с бураками и картофелем.

И в воспитательских квартирах царила такая же депрессия.

Может быть, мы просто устали: с начала колонии никто из нас не имел отпуска. Но сами воспитатели не ссылались на усталость. Возродились старые разговоры о безнадежности нашей работы, о том, что соцвос с «такими» ребятами невозможен, что это напрасная трата души и энергии.

— Бросить все это нужно,— говорил Иван Иванович.— Вот был Карабанов, которым мы даже гордились, пришлось прогнать. Никакой особенной надежды нет и на Волохова, и на Вершнева, и на Осадчего, и на Таранца, и на многих других. Стоит ли из-за одного Белухина держать колонию?

Екатерина Григорьевна, и та изменила нашему оптимизму, который раньше делал ее первой моей помощницей и другом. Она сближала брови в пристальном раздумье, и результаты раздумья были у нее странные, неожиданные для меня:

— Вы знаете что? А вдруг мы делаем какую-то страшную ошибку: нет совсем коллектива, понимаете, никакого коллектива, а мы все говорим о коллективе, мы

сами себя просто загипнотизировали собственной мечтой о коллективе.

— Постойте, — останавливал ее я,— как «нет коллектива»? А шестьдесят колонистов, их работа, жизнь, дружба?

— Это знаете что? Это игра, интересная, может быть, талантливая игра. Мы ею увлеклись и ребят увлекли, но это на время. Кажется, уже игра надоела, всем стало скучно, скоро совсем бросят, все обратится в обыкновенный неудачный детский дом.

— Когда одна игра надоедает, начинают играть в другую,— пыталась поправить испорченное настроение Лидия Петровна.

Мы рассмеялись грустно, но я сдаваться и не думал:

— Обыкновенная интеллигентская тряпичность у вас, Екатерина Григорьевна, обыкновенное нытье. Нельзя ничего выводить из ваших настроений, они у вас случайны. Вам страшно хотелось бы, чтобы и Митягин и Карабанов были нами осилены. Так всегда ничем не оправданный максимализм, каприз, жадность потом переходят в стенания и опускание рук. Либо все, либо ничего — обыкновенная российская припадочная философия.

Все это я говорил, подавляя в себе, может быть, ту же самую интеллигентскую тряпичность. Иногда и мне приходили в голову тощие мысли: нужно бросить, не стоит Белухин или Задоров тех жертв, которые отдаются на колонию; приходило в голову, что мы уже устали и поэтому успех невозможен.

Но старая привычка к молчаливому, терпеливому напряжению меня не покидала. Я старался в присутствии колонистов и воспитателей быть энергичным и уверенным, нападал на малодушных педагогов, старался убедить их в том, что беды временные, что все забудется. Я преклоняюсь перед той огромной выдержкой и дисциплиной, которые проявили наши воспитатели в то тяжелое время.

Они по-прежнему всегда были на месте минута в минуту, всегда были деятельны и восприимчивы к каждому неверному тону в колонии, на дежурство выходили по заведенной у нас прекрасной традиции в самом лучшем своем платье, подтянутыми и прибранными.

Колония шла вперед без улыбок и радости, но шла с хорошим, чистым ритмом, как налаженная, исправная машина. Я заметил и положительные последствия моей расправы с двумя колонистами: совершенно прекратились набеги на село, стали невероятными погребные и баштанные операции. Я делал вид, что не замечаю подавленных настроений колонистов, что новая дисциплинированность и лояльность по отношению к селянам ничего особенного не представляют, что все вообще идет по-прежнему и что все по-прежнему идет вперед.

В колонии обнаружилось много нового, важного дела. Мы начали постройку оранжереи во второй колонии, начали проводить дорожки и выравнивать дворы после ликвидации трепкинских руин, строили изгородки и арки, приступили к постройке моста через Коломак в самом узком его месте, в кузнице делали железные кровати для колонистов, приводили в порядок сельскохозяйственный инвентарь и лихорадочно торопились с окончанием ремонта домов во второй колонии. Я сурово заваливал колонию все новой и новой работой и требовал от всего колонистского общества прежней точности и четкости в работе.

Не знаю почему, вероятно, по неизвестному мне педагогическому инстинкту, я набросился на военные занятия.

Уже и раньше я производил с колонистами занятия по физкультуре и военному делу. Я никогда не был специалистом-физкультурником, а у нас не было средств для приглашения такого специалиста. Я знал только военный строй и военную гимнастику, знал только то, что относится к боевому участку роты. Без всякого размышления и без единой педагогической судороги я занял ребят упражнениями во всех этих полезных вещах.

Колонисты пошли на такое дело охотно. После работы мы ежедневно по часу или два всей колонией занимались на нашем плацу, который представлял собой просторный квадратный двор. По мере того как увеличивались наши познания, мы расширяли поле деятельности. К зиме наши цепи производили очень интересные и сложные военные движения по всей территории нашей хуторской группы. Мы очень красиво и методически правильно производили наступления на отдельные объекты —

хаты и клуни, увенчивая их атакой в штыки и паникой, которая охватывала впечатлительные души хозяев и хозяек. Притаившиеся за белоснежными стенами жители, услышав наши воинственные крики, выбегали во двор, спешно запирали коморы и сараи и распластывались на дверях, ревниво испуганным взглядом взирая на стройные цепи колонистов.

Ребятам все это очень понравилось, и скоро у нас появились настоящие ружья, так как нас с радостью приняли в ряды Всевобуча, искусственным образом игнорируя наше правонарушительское прошлое.

Во время занятий я был требователен и неподкупен, как настоящий командир; ребята и к этому относились с большим одобрением. Так у нас было положено начало той военной игре, которая потом сделалась одним из основных мотивов всей нашей музыки.

Я прежде всего заметил хорошее влияние правильной военной выправки. Совершенно изменился облик колониста: он стал стройнее и тоньше, перестал валиться на стол и на стену, мог спокойно и свободно держаться без подпорок. Уже новенький колонист стал заметно отличаться от старого. И походка ребят сделалась увереннее и пружиннее, и голову они стали носить выше, забыли привычку засовывать руки в карманы.

В своем увлечении военным строем колонисты много внесли и придумали сами, используя свои естественные мальчишеские симпатии к морскому и боевому быту. В это именно время было введено в колонии правило: на всякое приказание как знак всякого утверждения и согласия отвечать словом «есть», подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом пионерского салюта. В это время завелись в колонии и трубы.

До тех пор сигналы давались у нас звонком, оставшимся еще от старой колонии. Теперь мы купили два корнета, и несколько колонистов ежедневно ходили в город к капельмейстеру и учились играть на корнетах по нотам. Потом были написаны сигналы на всякий случай колонистской жизни, и к зиме мы сняли колокол. На крыльцо моего кабинета выходил теперь трубач и бросал в колонию красивые полнокровные звуки сигнала.

В вечерней тишине в особенности волнующе звучат звуки корнета над колонией, над озером, над хуторскими

крышами. Кто-нибудь в открытое окно спальни пропоет тот же сигнал молодым, звенящим тенором, кто-нибудь вдруг сыграет на рояле.

Когда в наробразе узнали о наших военных увлечениях, слово «казарма» надолго сделалось нашим прозвищем. Все равно, я и так был огорчен много, учитывать еще одно маленькое огорчение не было охоты. И некогда было.

Еще в августе я привез из опытной станции двух поросят. Это были настоящие англичане, и поэтому они дорогой страшно протестовали против переселения в колонию и все время проваливались в какую-то дырку в возу. Поросята возмущались до истерики и злили Антона.

— Мало и так мороки, так еще поросят придумали...

Англичан отправили во вторую колонию, а любителей ухаживать за ними из малышей нашлось больше чем достаточно. В это время во второй колонии жило до двадцати ребят, и жил там же воспитатель, довольно никчемный человек, со странной фамилией Родимчик. Большой дом, который у нас назывался литерой А, был уже закончен, он назначался для мастерских и классов, а теперь в нем временно расположились ребята. Были закончены и другие дома и флигеля. Оставалось еще много работы в огромном двухэтажном ампире, который предназначался для спален. В сараях, в конюшнях, в амбарах с каждым днем прибивались новые доски, штукатурились стены, навешивались двери.

Сельское хозяйство получило мощное подкрепление. Мы пригласили агронома, и по полям колонии заходил Эдуард Николаевич Шере, существо, положительно непонятное для непривычного колонистского взора. Было для всякого ясно, что выращен Шере из каких-то особенных сортовых семян и поливали его не благодатные дожди, а фабричная эссенция, специально для таких Шере изобретенная.

В противоположность Калине Ивановичу, Шере никогда ничем не возмущался и не восторгался, всегда был настроен ровно и чуточку весело. Ко всем колонистам, даже к Галатенко, он обращался на «вы», никогда не повышал голоса, но и в дружбу ни с кем не вступал. Ребят очень поразило, когда в ответ на грубый отказ Приходько: «Чего я там не видел на смородине? Я не хочу

работать на смородине!» —Шере приветливо и расположенно удивился, без позы и игры:

— Ах, вы не хотите? В таком случае скажите вашу фамилию, чтобы я как-нибудь случайно не назначил вас на какую-нибудь работу.

— Я — куда угодно, только не на смородину.

— Вы не беспокойтесь, я без вас обойдусь, знаете, а вы где-нибудь в другом месте работу найдете.

— Так почему?

— Будьте добры, скажите вашу фамилию, мне некогда заниматься лишними разговорами.

Бандитская красота Приходько моментально увяла. Пожал Приходько презрительно плечами и отправился на смородину, которая только минуту назад так вопиюще противоречила его назначению в мире.

Шере был сравнительно молод, но тем не менее умел доводить колонистов до обалдения своей постоянной уверенностью и нечеловеческой работоспособностью. Колонистам представлялось, что Шере никогда не ложится спать. Просыпается колония, а Эдуард Николаевич уже меряет поле длинными, немного нескладными, как у породистого молодого пса, ногами. Играют сигнал спать, а Шере в свинарне о чем-то договаривается с плотником. Днем Шере одновременно можно было видеть и на конюшне, и на постройке оранжереи, и на дороге в город, и на развозке навоза в поле; по крайней мере, у всех было впечатление, что все это происходит в одно и то же время, так быстро переносили Шере его замечательные ноги.

В конюшне Шере на другой же день поссорился с Антоном. Антон не мог понять и прочувствовать, как это можно к такому живому и симпатичному существу, как лошадь, относиться так математически, как это настойчиво рекомендовал Эдуард Николаевич.

— Что это он выдумывает? Важить? Видели такое, чтобы сено важить? Говорит, вот тебе норма: и не меньше и не больше. И норма какая-то дурацкая — всего понемножку. Лошади подохнут, так я отвечать буду? А работать, говорит, по часам. И тетрадку придумал: записывай, сколько часов работали.

Шере не испугался Антона, когда тот по привычке закричал, что не даст Коршуна, потому что Коршун, по

проектам Антона, должен был через день совершать какие-то особые подвиги. Эдуард Николаевич сам вошел в конюшню, сам вывел и запряг Коршуна и даже не глянул на окаменевшего от такого поношения Братченко. Антон надулся, швырнул кнут в угол конюшни и ушел. Когда он к вечеру все-таки заглянул в конюшню, он увидел, что там хозяйничают Орлов и Бублик. Антон пришел в глубоко оскорбленное состояние и отправился ко мне с прошением об отставке, но посреди двора на него налетел с бумажкой в руке Шере и, как ни в чем не бывало, вежливо склонился над обиженной физиономией старшего конюха.

— Слушайте, ваша фамилия, кажется, Братченко? Вот для вас план на эту неделю. Видите, здесь точно обозначено, что полагается делать каждой лошади в тот или другой день, когда выезжать и прочее. Видите, вот здесь написано, какая лошадь дежурная для поездки в город, а какая выходная. Вы рассмотрите с вашими товарищами и завтра скажите мне, какие вы находите нужным сделать изменения.

Антон удивленно взял листок бумажки и побрел в конюшню.

На другой день вечером можно было видеть кучерявую прическу Антона и стриженную под машинку острую голову Шере склонившимися над моим столом за важным делом. Я сидел за чертежным столиком за работой, но минутами прислушивался к их беседе.

— Это вы верно заметили. Хорошо, пусть в среду в плуге ходят Рыжий и Бандитка...

— ...Малыш буряка есть не будет, у него зубов...

— Это ничего, знаете, можно мельче нарезать, вы попробуйте...

— ...Ну, а если еще кому нужно в город?

— Пешком пройдется. Или пусть нанимает на селе. Нас с вами это не касается.

— Ого! — сказал Антон.— Это правильно.

Правду нужно сказать, транспортная потребность очень слабо удовлетворялась одной дежурной лошадью. Калина Иванович ничего не мог поделать с Шере, ибо тот сразил его воодушевленную хозяйскую логику невозмутимо прохладным ответом:

— Меня совершенно не касается ваша транспортная потребность. Возите ваши продукты на чем хотите или купите себе лошадь. У меня шестьдесят десятин. Я буду очень вам благодарен, если вы об этом больше говорить не будете.

Калина Иванович трахнул кулаком по столу и закричал:

— Если мне нужно, я и сам запрягу!

Шере что-то записывал в блокнот и даже не посмотрел на сердитого Калину Ивановича. Через час, уходя из кабинета, он предупредил меня:

— Если план работы лошадей будет нарушен без моего согласия, я в тот же день уезжаю из колонии.

Я спешно послал за Калиной Ивановичем и сказал ему:

— Ну его к черту, не связывайся с ним.

— Да как же я буду с одной конячкой, и в город же поехать нужно, и воду навозить, и дров подвезти, и продукты во вторую колонию...

— Что-нибудь придумаем.

И придумали.

И новые люди, и новые заботы, и вторая колония, и никчемный Родимчик во второй колонии, и новая фигура подтянутого колониста, и прежняя бедность, и нарастающее богатство,— все это многоликое море нашей жизни незаметно для меня самого прикрыло последние остатки подавленности и серой тоски. С тех пор я только смеяться стал реже, и даже внутренняя живая радость уже была не в силах заметно уменьшить внешнюю суровость, которую, как маску, надели на меня события и настроения конца 1922 года. Маска эта не причиняла мне страданий, я ее почти не замечал. Но колонисты всегда ее видели. Может быть, они и знали, что это маска, но у них все же появился по отношению ко мне тон несколько излишнего уважения, небольшой связанности, может быть, и некоторой боязни, не могу этого точно назвать. Но зато я всегда видел, как они радостно расцветали и особенно близко и душевно приближались ко мне, если случалось повеселиться с ними, поиграть или повалять дурака, просто, обнявшись, походить по коридору.

В колонии же всякая суровость и всякая ненужная серьезность исчезли. Когда все это изменилось и наладилось, никто не успел заметить. Как и раньше, кругом звучали смех и шутки, как и раньше, все неистощимы были на юмор и энергию, только теперь все это было украшено полным отсутствием какой бы то ни было разболтанности и несообразного, вялого движения.

Калина Иванович нашел-таки выход из транспортных затруднений. Для вола Гаврюшки, на которого Шере не посягал,— ибо какой же толк в одном воле? — было сделано одинарное ярмо, и он подвозил воду, дрова и вообще исполнял все дворовые перевозки. А в один из прелестных апрельских вечеров вся колония покатывалась со смеху, как давно уже не покатывалась: Антон выезжал в кабриолете в город за какой-то посылкой, и в кабриолет был запряжен Гаврюшка.

— Там тебя арестуют,— сказал я Антону.

— Пусть попробуют,— ответил Антон,— теперь все равны. Чем Гаврюшка хуже коня?.. Тоже трудящийся.

Гаврюшка без всякого смущения повлек кабриолет к городу.

24. ХОЖДЕНИЕ СЕМЕНА ПО МУКАМ

Шере повел дело энергично. Весенний сев он производил по шестипольному плану, сумел сделать этот план живым событием в колонии. На поле, в конюшне, в свинарне, в спальне, просто на дороге или у перевоза, в моем кабинете и в столовой вокруг него всегда организовывалась новая сельскохозяйственная практика. Ребята не всегда без спора встречали его распоряжения, и Шере никогда не отказывался выслушивать деловое возражение, иногда приветливо и сухо, в самых скупых выражениях приводил небольшую ниточку аргументов и заканчивал безапелляционно:

— Делайте так, как я вам говорю.

Он по-прежнему проводил весь день в напряженной и в то же время несуетливой работе, по-прежнему за ним трудно было угнаться, и в то же время он умел терпеливо простоять у кормушки два-три часа или пять часов проходить за сеялкой, бесконечно мог, через каждые десять минут, забегать в свинарню и приставать,

как смола, к свинарям с вежливыми и назойливыми вопросами:

— В котором часу вы давали поросятам отруби? Вы не забыли записать? Вы записываете так, как я вам показывал? Вы приготовили все для купанья?

У колонистов к Шере появилось отношение сдержанного восторга. Разумеется, они были уверены, что «наш Шере» только потому так хорош, что он наш, что во всяком другом месте он был бы менее великолепен. Этот восторг выражался в молчаливом признании его авторитета и в бесконечных разговорах об его словах, ухватках, недоступности для всяких чувств и его знаниях.

Я не удивлялся этой симпатии. Я уже знал, что ребята не оправдывают интеллигентского убеждения, будто дети могут любить и ценить только такого человека, который к ним относится любовно, который их ласкает. Я убедился давно, что наибольшее уважение и наибольшая любовь со стороны ребят, по крайней мере таких ребят, какие были в колонии, проявляются по отношению к другим типам людей. То, что мы называем высокой квалификацией, уверенное и четкое знание, уменье, искусство, золотые руки, немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе — вот что увлекает ребят в наибольшей степени.

Вы можете быть с ними сухи до последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их, если они торчат у вас под рукой, можете даже безразлично относиться к их симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не оглядывайтесь: они все на вашей стороне, и они не выдадут. Все равно, в чем проявляются эти ваши способности, все равно, кто вы такой: столяр, агроном, кузнец, учитель, машинист.

И наоборот, как бы вы ни были ласковы, занимательны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если все у вас оканчивается браком или «пшиком»,— никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения, иногда снисходительного и иронического, иногда гневного и уничтожающе враждебного, иногда назойливо шельмующего.

Как-то в спальне у девочек ставил печник печку. Заказали ему круглую утермарковскую. Печник забрел к нам мимоходом, протолкался в колонии день, у кого-то починил плиту, поправил стенку в конюшне. У него была занятная наружность: весь кругленький, облезший и в то же время весь сияющий и сахарный. Он сыпал прибаутками и словечками, и по его словам выходило, что печника, равного ему, на свете нет.

Колонисты ходили за ним толпой, очень недоверчиво относились к его рассказам и встречали его повествования часто не теми реакциями, на которые он рассчитывал.

— Тамочки, детки, были, конечно, печники и постарше меня, но граф никого не хотел признавать. «Позовите,— говорит,— братцы, Артемия. Этот если уж складет печку, так будет печка». Оно, конечно, что я молодой был печник, а печка в графском доме, сами понимаете... Бывало, посмотришь на печку, значит, а граф и говорит: «Ты, Артемий, уж постарайся...»

— Ну, и выходило что-нибудь? — спрашивают колонисты.

— Ну, а как же: граф всегда посмотрит...

Артемий важно задирает облезшую голову и изображает графа, осматривающего печку, которую построил Артемий. Ребята не выдерживают и заливаются смехом: очень уж Артемий мало похож на графа.

Утермарковку Артемий начал с торжественными и специальными разговорами, вспомнил по этому поводу все утермарковские печки, и хорошие, сложенные им, и никуда не годные, сложенные другими печниками. При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего искусства и перечислял все трудности работы утермарковской печки:

— Самое главное здесь — радиусом провести правильно. Другой не может с радиусом работать.

Ребята совершали в спальню девочек целые паломничества и, притихнув, наблюдали, как Артемий «проводит радиусом».

Артемий много тараторил, пока складывал фундамент. Когда же перешел к самой печке, в его движениях появилась некоторая неуверенность, и язык остановился.

Я зашел посмотреть на работу Артемия. Колонисты расступились и заинтересованно на меня поглядывали. Я покачал головой:

— Что же это она такая пузатая?

— Пузатая? — спросил Артемий.— Нет, не пузатая, это она кажет, потому что не закончено, а потом будет как следует.

Задоров прищурил глаз и посмотрел на печку:

— А у графа тоже так «казало»?

Артемий не понял иронии:

— Ну, а как же, это уже всякая печка, пока не кончена. Вот и ты, например...

Через три дня Артемий позвал меня принимать печку. В спальне собралась вся колония. Артемий топтался вокруг печки и задирал голову. Печка стояла посреди комнаты, выпирая во все стороны кривыми боками и... вдруг рухнула, загремела, завалила комнату прыгающим кирпичом, скрыла нас друг от друга, но не могла скрыть в ту же секунду взорвавшегося хохота, стонов и визга. Многие были ушиблены кирпичами, но никто уже не был в состоянии заметить свою боль. Хохотали и в спальне, и, выбежав из спальни, в коридорах, и на дворе, буквально корчились в судорогах смеха. Я выбрался из разрушения и в соседней комнате наткнулся на Буруна, который держал Артемия за ворот и уже прицеливался кулаком по его засоренной лысине.

Артемия прогнали, но его имя надолго сделалось синонимом ничего не знающего, хвастуна и «партача». Говорили:

— Да что это за человек?

— Артемий, разве не видно!

Шере в глазах колонистов меньше всего был Артемием, и поэтому в колонии его сопровождало всеобщее признание, и работа по сельскому хозяйству пошла у нас споро и удачно. У Шере были еще и дополнительные способности: он умел найти выморочное имущество, обернуться с векселем, вообще кредитнуться, поэтому в колонии стали появляться новенькие корнерезки, сеялки, буккеры, кабаны и даже коровы. Три коровы, подумайте! Где-то близко запахло молоком.

В колонии началось настоящее сельскохозяйственное увлечение. Только ребята, кое-чему научившиеся в мас-

терских, не рвались в поле. На площадке за кузницей Шере выкопал парники, и столярная готовила для них рамы. Во второй колонии парники готовились в грандиозных размерах.

В самый разгар сельскохозяйственной ажитации, в начале февраля, в колонию зашел Карабанов. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями. Он кое-как сбросил их с себя и ввалился ко мне:

— Зашел посмотреть, как вы живете.

Улыбающиеся, обрадованные рожи заглядывали в кабинет: колонисты, воспитатели, прачки.

— О, Семен. Смотри! Здорово!

До вечера Семен бродил по колонии, побывал в «Трепке», вечером пришел ко мне, грустный и молчаливый.

— Расскажи же, Семен, как ты живешь?

— Да как живу... У батька.

— А Митягин где?

— Ну его к черту! Я его бросил. Поехал в Москву, кажется.

— А у батька как?

— Да что ж, селяне, как обыкновенно. Батько еще молодец... Брата убили...

— Как это?

— Брат у меня партизан, убили петлюровцы в городе, на улице.

— Что же ты думаешь? У батька будешь?

— Нет... У батька не хочу... Не знаю...

Он дернулся нерешительно и придвинулся ко мне.

— Знаете что, Антон Семенович,— вдруг выстрелил он,— а что, если я останусь в колонии? А?

Семен быстро глянул на меня и опустил голову к самым коленям.

Я сказал ему просто и весело:

— Да в чем дело? Конечно, оставайся. Будем все рады.

Семен сорвался со стула и весь затрепетал от сдерживаемой горячей страсти:

— Не можу, понимаете, не можу! Первые дни таксяк, а потом — ну, не можу, вот и все. И хожу, роблю, чи там за обидом как вспомню, прямо хоть кричи! Я вам так скажу: вот привязался к колонии, и сам не знал,

думал — пустяк, а потом — все равно, пойду, хоть посмотрю. А сюды пришел да как побачил, що у вас тут делается, тут же прямо так у вас добре! От ваш Шере...

— Не волнуйся так, чего ты? — сказал я ему.— Ну и было бы сразу прийти. Зачем так мучиться?

— Да я и сам так думал, да как вспомню все это безобразие, как мы над вами куражились, так аж...

Он махнул рукой и замолчал.

— Добре,— сказал я,— брось все.

Семен осторожно поднял голову:

— Только... может быть, вы что-нибудь думаете, может, думаете: кокетую, как вы говорили. Так нет. Ой, если бы вы знали, чему я только научился! Вы мне прямо скажите, верите вы мне?

— Верю,— сказал я серьезно.

— Нет, вы правду скажите: верите?

— Да пошел ты к черту! — сказал я, смеясь.— Я думаю, прежнего ж не будет?

— От видите, значит, не совсем верите...

— Напрасно ты, Семен, так волнуешься. Я всякому человеку верю, только одному больше, другому меньше: одному на пятак, другому на гривенник.

— А мне на сколько?

— А тебе на сто рублей.

— А я вот так совсем вам не верю! — «вызверился» Семен.

— Вот тебе и раз!

— Ну, ничего, я вам еще докажу...

Семен ушел в спальню.

С первого же дня он сделался правой рукой Шере. У него была ярко выраженная хлеборобская жилка, он много знал, и многое сидело у него в крови «з дида, з прадида» — степной унаследованный опыт. В то же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и стройность агрономической техники.

Семен следил за Шере ревнивым взглядом и старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться. Только спокойствию Эдуарда Николаевича он подражать не умел и всегда был взволнован и приподнят, вечно бурлил то негодованием, то восторгом, то телячьей радостью.

Недели через две я позвал Семена и сказал просто:

— Вот доверенность. Получишь в финотделе пятьсот рублей.

Семен открыл рот и глаза, побледнел и посерел, неловко сказал:

— Пятьсот рублей? И что?

— И больше ничего,— ответил я, заглядывая в ящик стола,— привезешь их мне.

— Ехать верхом?

— Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий случай.

Я передал Семену тот самый револьвер, который осенью вытащил из-за пояса Митягина, с теми же тремя патронами. Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через десять минут я услышал треск подков по мостовой: мимо моего окна карьером пролетел всадник.

Перед вечером Семен вошел в кабинет, подпоясанный, в коротком полушубке кузнеца, стройный и тонкий, но сумрачный. Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер.

Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным и невыразительным голосом, на какой только был способен:

— Ты считал?

— Считал.

Я небрежно бросил пачку в ящик.

— Спасибо, что потрудился. Иди обедать.

Карабанов для чего-то передвинул слева направо пояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал тихо:

— Добре.

И вышел.

Прошло две недели. Семен, встречаясь со мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся.

Так же угрюмо он выслушал мое новое приказание:

— Поезжай, получи две тысячи рублей.

Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая в карман браунинг, потом сказал, подчеркивая каждое слово:

— Две тысячи? А если я не привезу денег?

Я сорвался с места и заорал на него:

— Пожалуйста, без идиотских разговоров! Тебе дают поручение, ступай и сделай. Нечего «психологию» разыгрывать!

Карабанов дернул плечом и прошептал неопределенно:

— Ну, что ж...

Привезя деньги, он пристал ко мне:

— Посчитайте.

— Зачем?

— Посчитайте, я вас прошу!

— Да ведь ты считал?

— Посчитайте, я вам кажу.

— Отстань!

Он схватил себя за горло, как будто его что-то душило, потом рванул воротник и зашатался.

— Вы надо мною издеваетесь! Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть! Вы нарочно рискуете, я знаю, нарочно...

Он задохнулся и сел на стул.

— Мне приходится дорого платить за твою услугу.

— Чем платить? — рванулся Семен.

— А вот наблюдать твою истерику.

Семен схватился за подоконник и прорычал:

— Антон Семенович!

— Ну, чего ты? — уже немного испугался я.

— Если бы вы знали! Если бы вы только знали! Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы бог послал кого-нибудь, чтоб ото лесом кто-нибудь набросился на меня... Пусть бы десяток, чи там сколько... я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусав бы, рвал, как собака, аж пока убили бы... И знаете, чуть не плачу. И знаю ж: вы отут сидите и думаете: чи привезет, чи не привезет? Вы ж рисковали, правда?

— Ты чудак, Семен! С деньгами всегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думал так: если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерешь, а меня они легко поймают.

Семен радостно прищурил один глаз:

— Ой, и хитрый же вы, Антон Семенович!

— Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хит-

рости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве ты этого не видел?

— Нет, я думал, что вы этого не знали,— сказал Семен, вышел из кабинета и заорал на всю колонию:

Вылиталы орлы
З-за крутой горы,
Вылиталы, гуркоталы
Роскоши шукалы.

25. КОМАНДИРСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Зима двадцать третьего года принесла нам много важных организационных находок, надолго вперед определивших формы нашего коллектива. Важнейшая из них была — отряды и командиры.

И до сих пор в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского есть отряды и командиры, имеются они и в других колониях, разбросанных по Украине.

Разумеется, очень мало общего можно найти между отрядами горьковцев эпохи 1927—1928 годов или отрядами коммунаров-дзержинцев и первыми отрядами Задорова и Буруна. Но нечто основное было уже и зимой двадцать третьего года. Принципиальное значение системы наших отрядов стало заметно гораздо позднее, когда наши отряды потрясали педагогический мир широким маршем наступления и когда они сделались мишенью для остроумия некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе не называли, как «командирской» педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов заключается роковой приговор.

В 1923 году никто не предполагал, что в нашем лесу создается важный институт, вокруг которого будет разыгрываться столько страстей.

Дело началось с пустяка.

Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам в этом году не дали дров. По-прежнему мы пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние заготовки этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал снова топливный кризис.

По правде сказать, нам всем страшно надоела эта возня с сухостоем. Рубить его было не трудно, но, для того чтобы собрать сотню пудов этих, с позволения сказать, дров, нужно было обыскать несколько десятин леса, пробираться между густыми зарослями и с большой и напрасной тратой сил свозить всю собранную мелочь в колонию. На этой работе очень рвалось платье, которого и так не было, а зимою топливные операции сопровождались отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне: Антон и слышать не хотел о заготовках топлива.

— Старцюйте сами, а коней нечего гонять старцювать. Дрова они будут собирать! Какие это дрова?

— Братченко, да ведь топить нужно? — задавал убийственный вопрос Калина Иванович.

Антон отмахивался:

— По мне хоть не топите, в конюшне все равно не топите, нам и так хорошо.

В таком затруднительном положении нам все-таки удалось на общем собрании убедить Шере на время сократить работы по вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и лучше других обутых колонистов на лесные работы. Составилась группа человек в двадцать, в которую вошел весь наш актив: Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Они с утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в лесу. К вечеру наша мощеная дорожка была украшена кучами хворосту, и за ними выезжал на «рижнатых» парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную маску.

Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень часто они сопровождали свой путь домой своеобразной игрой, в которой присутствовали некоторые элементы их бандитских воспоминаний. Пока Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, остальные гонялись друг за другом по лесу; увенчивалось все это борьбой и пленением бандитов. Пойманных «лесовиков» приводил в колонию конвой, вооруженный топорами и пилами. Их шутя вталкивали в мой кабинет, и Осадчий или Корыто, который когда-то служил у Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня:

— Голову сняты або расстриляты! Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато.

Начинался допрос. Волохов насупливал брови и приставал к Белухину:

— Кажи, пулеметов сколько?

Белухин заливался смехом и спрашивал:

— Это что ж такое «пулемет»? Его едят?

— Кого — пулемет? Ах ты, бандитская рожа!..

— Ах, не едят? В таком положении меня пулемет мало интересует.

К Федоренко, человеку страшно селянскому, обращались вдруг:

— Признавайся, у Махна був?

Федоренко довольно быстро соображал, как нужно ответить, чтобы не нарушить игру:

— Був.

— А что там робыв?

Пока Федоренко соображает, какой дать ответ, из-за его плеча кто-нибудь отвечает его голосом, сонным и тупым:

— Коров пас.

Федоренко оглядывается, но на него смотрят невинные физиономии. Раздается общий хохот. Смущенный Федоренко начинает терять игровую установку, приобретенную с таким трудом, а в это время на него летит новый вопрос:

— Хиба в тачанках коровы?

Игровая установка окончательно потеряна, и Федоренко разрешается классическим:

— Га?

Корыто смотрит на него с страшным негодованием, потом поворачивается ко мне и произносит напряженным шепотом:

— Повисыть? Це страшный чоловик: подывитеся на его очи.

Я отвечаю в тон:

— Да, он не заслуживает снисхождения. Отведите его в столовую и дайте ему две порции.

— Страшная кара! — трагически говорит Корыто.

Белухин начинает скороговоркой:

— Собственно говоря, я тоже ужасный бандит... И тоже коров пас у матушки Маруськи...

Федоренко только теперь улыбается и закрывает удивленный рот. Ребята начинают делиться впечатлениями работы. Бурун рассказывает:

— Наш отряд сегодня представил двенадцать возов, не меньше. Говорили вам, что к рождеству будет тысяча пудов, и будет!

Слово «отряд» было термином революционного времени, того времени, когда революционные волны еще не успели выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. Партизанская война, в особенности длительная у нас на Украине, велась исключительно отрядами. Отряд мог вмещать в себе и несколько тысяч человек, и меньше сотни: и тому и другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасительные лесные трущобы.

Наши коммунары больше кого-нибудь другого имели вкус к военно-партизанской романтике революционной борьбы. Даже и те, которые игрою случая были занесены во враждебный классовый стан, прежде всего находили в нем эту самую романтику. Сущность борьбы, классовые противоречия для многих из них были и непонятны и неизвестны,— этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала в колонию.

Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный топором и пилой, возрождал привычный и родной образ другого отряда, о котором были если не воспоминания, то многочисленные рассказы и легенды.

Я не хотел препятствовать этой полусознательной игре революционных инстинктов наших колонистов. Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу военную игру, просто не способны были понять, в чем дело. Отряды для них не были приятными воспоминаниями: они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией и по тем и по другим стреляли из трехдюймовок, не жалея ни их «науки», ни наморщенных лбов.

Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам, колония начала с отряда.

Бурун в дровяном отряде всегда играл первую скрипку, этой чести у него никто не оспаривал. Его в порядке той же игры стали называть атаманом.

Я сказал:

— Атаманом называть не годится. Атаманы бывали только у бандитов.

Ребята возражали:

— Чего у бандитов? И у партизан бывали атаманы. У красных партизан многие бывали.

— В Красной Армии не говорят: атаман.

— В Красной Армии — командир. Так нам далеко до Красной Армии.

— Ничего не далеко, а командир лучше.

Рубку дров кончили: к первому января у нас было больше тысячи пудов. Но отряд Буруна мы не стали распускать, и он целиком перешел на постройку парников во второй колонии. Отряд с утра уходил на работу, обедал не дома и возвращался только к вечеру.

Как-то обратился ко мне Задоров:

— Что же это у нас получается: есть отряд Буруна, а остальные хлопцы как же?

Думали недолго. В то время у нас уже был ежедневный приказ; отдали в приказе, что в колонии организуется второй отряд под командой Задорова. Второй отряд весь работал в мастерских, и в него вернулись от Буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин и Вершнев.

Дальнейшее развертывание отрядов произошло очень быстро. Во второй колонии были организованы третий и четвертый отряды с отдельными командирами. Девочки составили пятый отряд под командой Насти Ночевной.

Система отрядов окончательно выработалась к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы — шестой, конюхи — второй, свинари — десятый. Сначала у нас не было никакой конституции. Командиры назначались мною, но к весне все чаще и чаще я стал собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более красивое название: «совет командиров». Я быстро привык ничего важного не предпринимать без совета командиров; постепенно и назначение командиров перешло к совету, который таким образом стал пополняться путем кооптации. Настоящая выборность командиров, их отчетность была достигнута не скоро, но я

эту выборность никогда не считал и теперь не считаю достижением. В совете командиров выбор нового командира всегда сопровождался очень пристальным обсуждением. Благодаря способу кооптации, мы имели всегда прямо великолепных командиров, и в то же время мы имели совет, который никогда как целое не прекращал своей деятельности и не выходил в отставку.

Очень важным правилом, сохранившимся до сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для командира: он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не освобождался от работы.

К весне двадцать третьего года мы подошли к очень важному усложнению системы отрядов. Это усложнение, собственно говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все тринадцать лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий, крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организационная дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарища товарищу, но в котором не образовалось аристократии — командной касты.

Это изобретение было — сводный отряд.

Противники нашей системы, так нападающие на командирскую педагогику, никогда не видели нашего живого командира в работе. Но это еще не так важно. Гораздо важнее то, что они никогда даже не слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия о самом главном и решающем коррективе в системе.

Сводный отряд вызван к жизни тем обстоятельством, что главная наша работа была тогда сельскохозяйственная. У нас было до семидесяти десятин, и летом Шере требовал на работу всех. В то же время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, и ни один не хотел порывать с нею: на сельское хозяйство все смотрели как на средство существования и улучшения нашей жизни, а мастерская — это квалификация. Зимой, когда сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все мастерские были наполнены, но уже с января Шере начинал требовать колонистов на парники и навоз и потом с каждым днем увеличивал и увеличивал требования.

Сельскохозяйственная работа сопровождалась постоянной переменой места и характера работы, а следовательно, приводила к разнообразному сечению коллектива по рабочим заданиям. Единоначалие нашего командира в работе и его концентрированная ответственность с самого начала показались нам очень важным институтом, да и Шере настаивал, чтобы один из колонистов отвечал за дисциплину, за инструмент, за выработку и за качество. Сейчас против этого требования не станет возражать ни один здравомыслящий человек, да и тогда возражали, кажется, только педагоги.

Идя навстречу совершенно понятной организационной нужде, мы пришли к сводному отряду.

Сводный отряд — это временный отряд, составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определенное задание: выполоть картофель на таком-то поле, вспахать такой-то участок, очистить семенной материал, вывезти навоз, произвести посев и так далее.

На разную работу требовалось и разное число колонистов: в некоторые сводные отряды нужно было послать двух человек, в другие — пять, восемь, двадцать. Работа сводных отрядов отличалась также и по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята работали до обеда или после обеда — в две смены. После закрытия школы вводился шестичасовой рабочий день для всех в одно время, но необходимость полностью использовать живой и мертвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с шести утра до полудня, а другие — с полудня до шести вечера. Иногда же работа наваливалась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий день.

Все это разнообразие типа работы и ее длительности определило и большое разнообразие сводных отрядов. У нас появилась сетка сводных, немного напоминающая расписание поездов.

В колонии все хорошо знали, что третий «О» сводный работает от восьми утра до четырех дня, с перерывом на обед, и при этом обязательно на огороде, третий «С» — в саду, третий «Р» — на ремонте, третий «П» — в парниках; первый сводный работает от шести утра до двенадцати дня, а второй сводный — от двенадцати до

шести. Номенклатура сводных скоро дошла до тринадцати.

Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. Как только заканчивалась его работа и ребята возвращались в колонию, сводного отряда больше не существовало.

Каждый колонист знал свой постоянный отряд, имеющий своего постоянного командира, определенное место в системе мастерских, место в спальне и место в столовой. Постоянный отряд — это первичный коллектив колонистов, и командир его — обязательно член совета командиров. Но с весны, чем ближе к лету, тем чаще и чаще колонист то и дело попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения. Бывало, что в сводном отряде всего два колониста; все равно один из них назначался командиром сводного отряда — комсводотряда. Комсводотряда распоряжался на работе и отвечал за нее. Но как только оканчивался рабочий день, сводный отряд рассыпался.

Каждый сводный отряд составлялся на неделю, следовательно, и отдельный колонист на вторую неделю обычно получал участие в новом сводном, на новой работе, под командой нового комсводотряда. Командир сводного назначался советом командиров тоже на неделю, а после этого переходил в новый сводный обыкновенно уже не командиром, а рядовым членом.

Совет командиров всегда старался проводить через нагрузку комсводотряда всех колонистов, кроме самых неудачных. Это было справедливо, потому что командование сводным отрядом связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе большинство колонистов участвовало не только в рабочей функции, но и в функции организаторской. Это было очень важно, и было как раз то, что нужно коммунистическому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой задачи, и для выполнения отдельных деталей этой задачи всегда находились с избытком кадры способных и инициативных организаторов, распорядителей, людей, на которых можно было положиться.

Значение командира постоянного отряда становилось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры почти никогда не назначали себя командирами сводных, полагая, что они и так имеют нагрузку. Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым рядовым участником сводного отряда и во время работы подчинялся временному комсводотряда, часто члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь зависимости в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над коллективом отдельный колонист.

Система сводных отрядов делала жизнь в колонии очень напряженной и полной интереса, чередования рабочих и организационных функций, упражнений в командовании и в подчинении, движений коллективных и личных.

26. ИЗВЕРГИ ВТОРОЙ КОЛОНИИ

Два с лишним года мы ремонтировали «Трепке», но к весне двадцать третьего года почти неожиданно для нас оказалось, что сделано очень много, и вторая колония в нашей жизни стала играть заметную роль. Во второй колонии находилась главная арена деятельности Шере — там были коровник, конюшня и свинарник. С начала летнего сезона жизнь во второй колонии уже не прозябала, как раньше, а по-настоящему кипела.

До поры до времени действительными возбудителями этой жизни были все-таки сводные отряды первой колонии. В течение всего дня можно было видеть, как по извилистым тропинкам и межам между первой и второй колониями происходило почти не прекращающееся движение сводных отрядов: одни отряды спешили во вторую колонию на работу, другие торопились к обеду или к ужину в первую.

Вытянувшись в кильватер, сводный отряд очень быстрым шагом покрывает расстояние. Ребячья находчивость и смелость не сильно смущались наличием частновладельческих интересов и частновладельческих рубежей. В первое время хуторяне еще пытались кое-что противопоставить этой находчивости, но потом убедились, что это дело безнадежное: неуклонно и весело колонисты производили ревизию разнообразным междухуторским путям

сообщения и настойчиво выправляли их, стремясь к реальному идеалу — прямой линии. Там, где прямая линия проходила через хозяйский двор, приходилось совершать работу не только геометрического преодоления, нужно было еще нейтрализовать такие вещи, как собаки, плетни, заборы и ворота.

Самым легким объектом были собаки: хлеба у нас было довольно, да и без хлеба в глубине души хуторские собаки сильно симпатизировали колонистам. Скучная провинциальная собачья жизнь, лишенная ярких впечатлений и здорового смеха, была неожиданно разукрашена новыми и интересными переживаниями: большое общество, интересные разговоры, возможность организовать французскую борьбу в ближайшей куче соломы и, наконец, высшее наслаждение — прыгать рядом с быстро идущим отрядом, выхватывать веточку из рук пацана и иногда получить от него какую-нибудь яркую ленточку на шею. Даже цепные представители хуторской жандармерии оказались ренегатами, тем более, что для агрессивных действий не было самого главного: с ранней весны колонисты не носили штанов,— трусики были гигиеничнее, красивее и дешевле.

Разложение хуторского общества, начавшееся с ренегатства Бровка, Серка и Кабыздоха, продолжалось и дальше и привело к тому, что и остальные препятствия к выпрямлению линии колония — Коломак оказались недействительными. Сначала на нашу сторону перешли Андрии, Мыкыты, Нечипоры и Мыколы в возрасте от десяти до шестнадцати лет. Их привлекала все та же романтика колонистской жизни и работы. Они давно слышали наши трубные призывы, давно раскусили непередаваемую сладость большого и веселого коллектива, а теперь открывали рты и восхищались всеми этими признаками высшей человеческой деятельности: «сводный отряд», «командир» и еще шикарнее — «рапорт». Более старших интересовали новые способы сельскохозяйственной работы; херсонский пар привлекал их не только к сердцам колонистов, но и к нашему полю и к нашей сеялке. Сделалось обыкновенным, что за каждым нашим сводным обязательно увязывался приятель с хутора, который приносил с собою тайком взятую в клуне сапку или лопату. Эти ребята и по вечерам наполняли коло-

нию и незаметно для нас сделались ее непременной принадлежностью. По их глазам было видно, что сделаться колонистом становилось для них мечтой жизни. Некоторым это потом удавалось, когда внутрисемейные, бытовые и религиозные конфликты выталкивали их из отцовских объятий.

И, наконец, разложение хутора увенчалось самым сильным, что есть на свете: не могли устоять хуторские девчата против обаяния голоногого, подтянутого, веселого и образованного колониста. Туземные представители мужского начала не способны были ничего предъявить в противовес этому обаянию, тем более, что колонисты не спешили воспользоваться девичьей податливостью, не колотили девчат между лопатками, не хватали ни за какие места и не куражились над ними. Наше старшее поколение в это время уже подходило к рабфаку и к комсомолу, уже начинало понимать вкус в утонченной вежливости и в интересной беседе.

Симпатии хуторских девчат в это время еще не приняли форм влюбленности. Они хорошо относились и к нашим девчатам, более развитым и «городским», а в то же время и не панночкам. Любовь и любовные фабулы пришли несколько позднее. Поэтому девчата искали не только свиданий и соловьиных концертов, но и общественных ценностей. Их стайки все чаще и чаще появлялись в колонии. Они еще боялись плавать в колонистских волнах в одиночку: усаживались рядком на скамейках и молча впитывали в себя новенькие, с иголочки, впечатления. Может быть, их чересчур поразило запрещение лущить семечки не только в помещении, но и на дворе?

Плетни, заборы и ворота благодаря сочувствию нашему делу со стороны молодого поколения уже не могли служить хозяину в прежнем направлении: удостоверять неприкосновенность частной собственности. Поэтому скоро колонисты дошли до такой наглости, что в наиболее трудных местах построили так называемые «перелазы». В России, кажется, не встречается это транспортное усовершенствование. Заключается оно в том, что через плетень проводится неширокая дощечка и подпирается с конца двумя колышками.

Выпрямление линии Коломак — колония происходило и за счет посевов,— признаемся в этом грехе. Так или

иначе, а к весне двадцать третьего года эта линия могла бы поспорить с Октябрьской железной дорогой. Это значительно облегчило работу наших сводных отрядов.

В обед сводный отряд получает свою порцию раньше других. Уже в двадцать минут первого сводный отряд пообедал и немедленно выступает. Дежурный по колонии вручает ему бумажку, в которой написано все, что нужно: номер отряда, список членов, имя командира, назначенная работа и время выполнения. Шере завел во всем этом высшую математику: задание всегда рассчитано до последнего метра и килограмма.

Сводный отряд быстро выступает в путь, через пять-шесть минут его кильватер уже виден далеко в поле. Вот он перескочил через плетень и скрылся между хатами. Вслед за ним на расстоянии, определенном длительностью разговора с дежурным по колонии, выступает следующий, какой-нибудь третий «К» или третий «С». Скоро все поле разрезано черточками наших сводных. Сидящий на крыше погреба Тоська между тем уже звенит:

— Первый «Б» вертается!

Действительно, из хуторских плетней выползает кильватер первого «Б». Первый «Б» всегда работает на вспашке или на посеве, вообще с лошадьми. Он ушел еще в половине шестого утра, и вместе с ним ушел и его командир Белухин. Именно Белухина и высматривает Тоська с вершины крыши погреба. Через несколько минут первый «Б» — шесть колонистов — уже во дворе колонии. Пока отряд рассаживается за столом в лесу, Белухин отдает рапорт дежурному по колонии. На рапорте отметка Родимчика о времени прибытия, об исполненной работе.

Белухин, как всегда, весел:

— Задержка на пять минут вышла, понимаете. Виноват флот. Нам нужно на работу, а Митька каких-то спекулянтов возит.

— Каких спекулянтов? — любопытствует дежурный.

— А как же! Сад приезжали нанимать.

— Ну?

— Да я их дальше берега не пустил: что ж вы думаете, вы будете яблоки шамать, а мы на вас смотреть

будем? Плыви, граждане, в исходное положение!.. Здравствуйте, Антон Семенович, как у вас дела идут?

— Здравствуй, Матвей.

— Скажите по совести, скоро оттуда Родимчика уберут? Как-то, знаете, Антон Семенович, очень даже неприлично. Такой человек ходит, понимаете, по колонии, тоску наводит. Даже работать через него не хочется, а тут еще давай ему рапорт подписывать. С какой стати?

Родимчик этот мозолил глаза всем колонистам.

Во второй колонии к этому времени было больше двадцати человек, и работы им было по горло. Шере только полевую работу проводил силами сводных отрядов первой колонии. Конюшня, коровник, все разрастающаяся свинарня обслуживались тамошними ребятами. В особенности много сил вкладывалось во второй колонии на приведение в порядок сада. Сад имел четыре десятины, он был полон хороших молодых деревьев. Шере предпринял в саду грандиозные работы. Сад был весь перепахан, деревья подрезаны, освобождены от всякой нечистоты, расчищен большой смородинник, проведены дорожки и организованы цветники. Наша молодая оранжерея к этой весне дала первую продукцию. Много было работы и на берегу,— там проводили канавки, вырубали камыши.

Ремонт имения подходил к концу. Даже конюшня пустотелого бетона перестала дразнить нас взорванной крышей: ее покрыли толем, а внутри плотники заканчивали устройство станков для свиней. По расчетам Шере, в ней должно было поместиться сто пятьдесят свиней.

Для колонистов жизнь во второй колонии была малопритягательной, в особенности зимой. В старой колонии мы успели приспособиться, и так хорошо все здесь улеглось, что мы почти не замечали ни каменных скучных коробок, ни полного отсутствия красоты и поэзии. Красота заменилась математическим порядком, чистотой и точной прилаженностью самой последней, пустяковой вещи.

Вторая колония, несмотря на свою буйную красоту в петле Коломака, высокие берега, сад, красивые и большие дома, была только наполовину выведена из хаоса разрушения, вся была завалена строительным мусором и исковеркана известковыми ямами, а все вместе зараста-

ло таким бурьяном, что я часто задумывался, сможем ли мы когда-нибудь с этим бурьяном справиться.

И для жизни здесь все было как-то не вполне готово: спальни хороши, но нет настоящей кухни и столовой. Кухню кое-как приспособили, так погреб не готов. А самая главная беда с персоналом: некому было во второй колонии первому размахнуться.

Все эти обстоятельства привели к тому, что колонисты, так охотно и с таким пафосом совершавшие огромную работу восстановления второй колонии, жить в ней не хотели. Братченко готов был делать в день по двадцать верст из колонии в колонию, недоедать и недосыпать, но быть переведенным во вторую колонию считал для себя позором. Даже Осадчий говорил:

— Краще пиду з колонии, а в Трепках не житиму.

Все яркие характеры первой колонии к этому времени успели сбиться в такую дружную компанию, что оторвать кого-либо можно было только с мясом. Переселять их во вторую колонию значило бы рисковать и второй колонией и самими характерами. Ребята это очень хорошо понимали. Карабанов говорил:

— Наши як добри жерэбци. Такого, як Бурун, запряжы добрэ та по-хозяйскому чмокны, то й повэзэ, ще й голову задыратымэ, а дай ему волю, то вин и сэбэ и виз рознэсэ дэ-нэбудь пид горку.

Во второй колонии поэтому начал образовываться коллектив совершенно иного тона и ценности. В него вошли ребята и не столь яркие, и не столь активные, и не столь трудные. Веяло от них какой-то коллективной сыростью, результатом отбора по педагогическим соображениям.

Интересные личности находились там случайно, подрастали из малышей, неожиданно выделялись из новеньких, но в то время эти личности еще не успели показать себя и терялись в общей серой толпе «трепкинцев».

А «трепкинцы» в целом были таковы, что все больше и больше удручали и меня, и воспитателей, и колонистов. Были они ленивы, нечистоплотны, склонны даже к такому смертному греху, как попрошайничество. Они всегда с завистью смотрели на первую колонию, и у них вечно велись таинственные разговоры о том, что было в первой колонии на обед, на ужин, что привезли в кладо-

вую первой и почему этого не привезли к ним. К сильному и прямому протесту они не были способны, а шушукались по углам и угрюмо дерзили нашим официальным представителям.

Наши колонисты начинали уже усваивать несколько презрительную позу по отношению к «трепкинцам». Задоров или Волохов приводили из второй колонии какого-нибудь жалобщика, ввергали в кухню и просили:

— Накормите, пожалуйста, этого голодающего.

«Голодающий», конечно, из ложного самолюбия отказывался от кормления. На самом же деле во второй колонии кормились ребята лучше. Ближе были свои огороды, кое-что можно было покупать на мельнице, наконец — свои коровы. Перевозить молоко в нашу колонию было трудно: и далеко, и лошадей не хватало.

Во второй колонии складывался коллектив ленивый и ноющий. Как уже было указано, виноваты в этом были многие обстоятельства, а больше всего отсутствие ядра и плохая работа воспитательского персонала.

Педагоги не хотели идти на работу в колонию: жалованье ничтожное, а работа трудная. Наробраз прислал, наконец, первое, что попалось под руку: Родимчика, а вслед за ним Дерюченко. Они прибыли с женами и детьми и заняли лучшие помещения в колонии. Я не протестовал,— хорошо, хоть такие нашлись.

Дерюченко был ясен, как телеграфный столб: это был петлюровец. Он «не знал» русского языка, украсил все помещение колонии дешевыми портретами Шевченко и немедленно приступил к единственному делу, на которое был способен,— к пению «украиньских писэнь».

Дерюченко был еще молод. Его лицо все было закручено на манер небывалого запорожского валета: усы закручены, шевелюра закручена, и закручен галстук-стричка вокруг воротника украинской вышитой сорочки. Этому человеку все же приходилось проделывать дела, кощунственно безразличные по отношению к украинской державности: дежурить по колонии, заходить в свинарню, отмечать прибытие на работу сводных отрядов, а в дни рабочих дежурств работать с колонистами. Это была для него бессмысленная и ненужная работа, а вся колония — совершенно бесполезное явление, не имеющее никакого отношения к мировой идее.

Родимчик был столь же полезен в колонии, как и Дерюченко, но он был еще и противнее...

У Родимчика тридцатилетний жизненный стаж, работал раньше по разным учреждениям: в угрозыске, в кооперации, на железной дороге и, наконец, воспитывал юношество в детских домах. У него странное лицо, очень напоминающее старый, изношенный, слежавшийся кошелек. Все на этом лице измято и покрыто красным налетом: нос немного приплюснут и свернут в сторону, уши придавлены к черепу и липнут к нему вялыми, мертвыми складками, рот в случайном кособочии давно изношен, истрепан и даже изорван кое-где от долгого и неаккуратного обращения.

Прибыв в колонию и расположившись с семейством в только что отремонтированной квартире, Родимчик проработал неделю и вдруг исчез, прислав мне записку, что он уезжает по весьма важному делу. Через три дня он приехал на крестьянском возу, а за возом привязана корова. Родимчик приказал колонистам поставить корову вместе с нашими. Даже Шере несколько потерялся от такой неожиданности.

Дня через два Родимчик прибежал ко мне с жалобой:

— Я никогда не ожидал, что здесь к служащим будет такое отношение! Здесь, кажется, забыли — теперь не старое время. Я и мои дети имеем такое же право на молоко, как и все остальные. Если я проявил инициативу и не ожидал, пока мне будут давать казенное молоко, а сам, как вы знаете, позаботился, потрудился, из моих скудных средств купил корову и сам привел ее в колонию, то вы можете заключить, что это нужно поощрять, но ни в коем случае не преследовать. Какое же отношение к моей корове? В колонии несколько стогов сена, кроме того, колония по дешевой цене получает на мельнице отруби, полову и прочее. И вот, все коровы едят, а моя стоит голодная, а мальчики отвечают очень грубо, говорят: мало ли кто заведет корову! У других коров чистят, а у моей уже пять дней не чищено, и она вся грязная. Выходит так, что моя жена должна идти и сама чистить под коровой. Она бы и пошла, так ей мальчики не дают ни лопаты, ни вил и, кроме того, не дают соломы на подстилку. Если такой пустяк, как солома, имеет значение, то я могу предупредить, что должен буду принять

решительные меры. Это ничего, что я теперь не в партии. Я был в партии и заслужил, чтобы к моей корове не было подобного отношения.

Я тупо смотрел на этого человека и сразу даже не мог сообразить, есть ли какая-нибудь возможность с ним бороться.

— Позвольте, товарищ Родимчик, как же так? Все же корова ваша — это частное хозяйство, как же можно все это смешивать? Наконец, вы же педагог. В какое же положение вы ставите себя по отношению к воспитанникам?

— В чем дело? — затрещал Родимчик.— Я вовсе не хочу ничего даром: и за корм и за труды воспитанников я, конечно, уплачу, если не по дорогой цене. А как у меня украли, у моего ребенка шапочку-беретку, украли же, конечно, воспитанники, я же ничего не сказал!

Я отправил его к Шере.

Тот к этому времени успел опомниться и выставил корову Родимчика со скотного двора. Через несколько дней она исчезла: видимо, хозяин продал ее.

Прошло две недели. Волохов на общем собрании поставил вопрос:

— Что это такое? Почему Родимчик роет картошку на колонистских огородах? Наша кухня сидит без картошки, а Родимчик роет. Кто ему разрешил?

Колонисты поддержали Волохова. Задоров говорил:

— Не в картошке дело. Семья у него — пусть бы спросил у кого следует, картошки не жалко, а только зачем нужен этот Родимчик? Он целый день сидит у себя на квартире, а то уходит в деревню. Ребята грязные, никогда его не видят, живут, как дикари. Придешь рапорт подписать и то не найдешь: то он спит, то обедает, а то ему некогда — подожди. Какая с него польза?

— Мы знаем, как должны работать воспитатели,— сказал Таранец.— А Родимчик? Выйдет к сводному на рабочее дежурство, постоит с сапкой полчаса, а потом говорит: «Ну, я кой-куда сбегаю»,— и нет его, а через два часа, смотришь, уже он идет из деревни, что-нибудь в кошелке тащит...

Я обещал ребятам принять меры. На другой день вызвал Родимчика к себе. Он пришел к вечеру, и наедине

я начал его отчитывать, но только начал. Возмущенный Родимчик прервал меня:

— Я знаю, чьи это штуки, я очень хорошо знаю, кто под меня подкапывается,— это все немец этот! А вы лучше проверьте, Антон Семенович, что это за человек. Я вот проверил: для моей коровы даже за деньги не нашлось соломы, корову я продал, дети мои сидят без молока, приходится носить из деревни. А теперь спросите, чем Шере кормит своего Милорда? Чем кормит, у вас известно? Нет, неизвестно. А на самом деле он берет пшено, которое назначено для птицы, пшено — и варит Милорду кашу. Из пшена! Сам варит и дает собаке есть, ничего не платит. И собака ест колонистское пшено совершенно бесплатно и тайно, пользуясь только тем, что он агроном и что вы ему доверяете.

— Откуда вы все это знаете? — спросил я Родимчика.

— О, я никогда не стал бы говорить напрасно. Я не такой человек, вот посмотрите...

Он развернул маленький пакетик, который достал из внутреннего кармана. В пакетике оказалось что-то черновато-белое, какая-то странная смесь.

— Что это такое? — спросил я удивленно.

— А это вам все и доказывает. Это и есть кал Милорда. Кал, понимаете? Я следил, пока не добился. Видите, чем Милорд ходит? Настоящее пшено. А что, он его покупает? Конечно, не покупает, берет просто из кладовки.

Я сказал Родимчику:

— Вот что, Родимчик, уезжайте вы лучше из колонии.

— Как это «уезжайте»?

— Уезжайте по возможности скорее. Сегодня приказом я вас уволю. Подайте заявление о добровольном уходе, будет лучше всего.

— Я этого дела так не оставлю!

— Хорошо. Не оставляйте, но я вас увольняю.

Родимчик ушел; дело он «так оставил» и дня через три выехал.

Что было делать со второй колонией? «Трепкинцы» выходили плохими колонистами, и дальше терпеть было нельзя. Между ними то и дело происходили драки, всег-

да они друг у друга крали,— явный признак плохого коллектива.

«Где найти людей для этого проклятого дела? Настоящих людей?»

Настоящих людей? Это не так мало, черт его подери!

27. ЗАВОЕВАНИЕ КОМСОМОЛА

В 1923 году стройные цепи горьковцев подошли к новой твердыне, которую, как это ни странно, нужно было брать приступом,— к комсомолу.

Колония имени Горького никогда не была замкнутой организацией. Уже с двадцать первого года наши связи с так называемым «окружающим населением» были очень разнообразны и широки. Ближайшее соседство и по социальным и по историческим причинам было нашим врагом, с которым, однако, мы не только боролись, как умели, но и находились в хозяйственных отношениях, в особенности благодаря нашим мастерским. Хозяйственные отношения колонии выходили все-таки далеко за границы враждебного слоя, так как мы обслуживали селянство на довольно большом радиусе, проникая нашими промышленными услугами в такие отдаленные страны, как Сторожевое, Мачухи, Бригадировка. Ближайшие к нам большие деревни: Гончаровка, Пироговка, Андрушевка, Забираловка — к двадцать третьему году были освоены нами не только в хозяйственном отношении. Даже первые походы наших аргонавтов, преследующие цели эстетического порядка, вроде исследования красот местного девичьего элемента или демонстрации собственных достижений в области причесок, фигур, походок и улыбок,— даже эти первые проникновения колонистов в селянское море приводили к значительному расширению социальных связей. Именно в этих деревнях колонисты впервые познакомились с комсомольцами.

Комсомольские силы в этих деревнях были очень слабы и в количественном и в качественном отношениях. Деревенские комсомольцы сами интересовались больше девчатами и самогоном и часто оказывали на колонистов скорее отрицательное влияние. Только с того времени, когда против второй колонии, на правом берегу

Коломака, стала организовываться сельскохозяйственная артель имени Ленина, поневоле оказавшаяся в крупной вражде с нашим сельсоветом и всей хуторской группой,— только тогда в комсомольских рядах мы обнаружили боевые настроения и сдружились с артельной молодежью. Колонисты очень хорошо, до мельчайших подробностей, знали все дела новой артели и все трудности, встретившие ее рождение. Прежде всего артель сильно ударила по кулацким просторам земли и вызвала со стороны хуторян дружный, дышавший злобой отпор. Не так легко для артели досталась победа.

Хуторяне в то время были большой силой, имели «руки» в городе, а их кулацкая сущность для многих городских деятелей была почему-то секретом. В этой борьбе главными полями битв были городские канцелярии, а главным оружием — перья; поэтому колонисты не могли принять прямого участия в борьбе. Но когда дело с землей было окончено и начались сложнейшие инвентарные операции, для наших и артельных ребят нашлось много интересной работы, в которой они сдружились еще больше.

Все же и в артели комсомольцы не играли ведущей роли и сами были слабее старших колонистов. Наши школьные занятия очень много давали колонистам и сильно углубили их политическое образование. Колонисты уже с гордостью сознавали себя пролетариями и прекрасно понимали разницу между своей позицией и позицией селянской молодежи. Усиленная и часто тяжелая сельскохозяйственная работа не мешала слагаться у них глубокому убеждению, что впереди ожидает их иная деятельность.

Самые старшие могли уже и более подробно описать, чего они ждут от своего будущего и куда стремятся. В определении вот этих стремлений и движений главную роль сыграли не селянские молодежные силы, а городские.

Недалеко от вокзала расположились большие паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим собранием дорогих людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное революционное прошлое, был в них мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об этих мастерских, как о невозможно-

чудесном, сказочном дворце. Во дворце сияли не светящиеся колонны «Синей птицы», а нечто более великолепное: богатырские взлеты подъемных кранов, набитые силой паровые молоты, хитроумнейшие, обладавшие сложнейшими мозговыми аппаратами револьверные станки. Во дворце ходили хозяева-люди, благороднейшие принцы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнувшие всеми ароматами стали и железа. В руках у них право касаться священных плоскостей, цилиндров и конусов, всего дворцового богатства. И эти люди — люди особенные. У них нет рыжих расчесанных бород и лоснящихся жиром хуторских физиономий. У них умные, тонкие лица, светящиеся знанием и властью, властью над станками и паровозами, знанием сложнейших законов рукояток, суппортов, рычагов и штурвалов. И среди этих людей много нашлось комсомольцев, поразивших нас новой и прекрасной ухваткой; здесь мы видели уверенную бодрость, слышали крепкое, соленое рабочее слово.

Да, паровозные мастерские — это предел стремлений для многих колонистов эпохи двадцать второго года. Слышали наши кое-что и о более великолепных творениях человечества: харьковские, ленинградские заводы, все эти легендарные путиловские, сормовские, ВЭКи. Но мало ли что есть на свете! Не на все имеет право мечта скромного провинциального колониста. А с нашими паровозниками мы постепенно начали знакомиться ближе и получили возможность видеть их собственными глазами, ощущать их прелесть всеми чувствами, вплоть до осязания. Они пришли к нам первые, и пришли именно комсомольцы. В один воскресный день в мой кабинет прибежал Карабанов и закричал:

— С паровозных комсомольцы пришли! От здòрово!..

Комсомольцы слышали много хорошего о колонии и пришли познакомиться с нами. Их было человек семь. Хлопцы их любовно заключили в тесную толпу, терлись о них своими животами и боками и в таком действительно тесном общении провели целый день, показывали им вторую колонию, наших лошадей, инвентарь, свиней, Шере, оранжерею, всей глубиной колонистской души чувствуя ничтожность нашего богатства по сравнению с паровозными мастерскими. Их очень поразило то обстоя-

тельство, что комсомольцы не только не важничают перед нами, не только не показывают своего превосходства, но даже как будто приходят в восторг и немного умиляются.

Перед уходом в город комсомольцы зашли ко мне поговорить. Их интересовало, почему в колонии нет комсомола. Я им кратко описал трагическую историю этого вопроса.

Уже с двадцать второго года мы добивались организации в колонии комсомольской ячейки, но местные комсомольские силы решительно возражали против этого: колония ведь для правонарушителей, какие же могут быть комсомольцы в колонии? Сколько мы ни просили, ни спорили, ни ругались, нам предъявляли одно: у вас правонарушители. Пусть они выйдут из колонии, пусть будет удостоверено, что они исправились, тогда можно будет говорить и о принятии в комсомол отдельных юношей.

Паровозники посочувствовали нашему положению и обещали в городском комсомоле помочь нашему делу. Действительно, в следующее же воскресенье один из них снова пришел в колонию, но только затем, чтобы рассказать нам нерадостные вести. В городском и в губернском комитетах говорят: «Правильно,— как можно быть комсомольцам в колонии, если среди колонистов много и бывших махновцев, и уголовного элемента, и вообще людей темных?»

Я растолковал ему, что махновцев у нас очень мало, что у Махно они были случайно. Наконец, растолковал и то, что термин «исправился» нельзя понимать так формально, как понимают его в городе. Для нас мало просто «исправить» человека, мы должны его воспитать по-новому, то есть должны воспитать так, чтобы он сделался не просто безопасным или безвредным членом общества, но чтобы он стал активным деятелем новой эпохи. А кто же будет его воспитывать, если он стремится в комсомол, а его не пускают туда и все вспоминают какие-то старые, детские все-таки, преступления? Паровозник и соглашался со мной, и не соглашался. Его больше всего затруднял вопрос о границе: когда же можно колониста принять в комсомол, а когда нельзя, и кто будет этот вопрос решать?

— Как — «кто будет решать»? Вот именно и будет решать комсомольская организация колонии.

Комсомольцы-паровозники и в дальнейшем часто нас посещали, но я, наконец, разобрал, что у них есть не совсем здоровый интерес к нам. Они нас рассматривали именно как преступников; они с большим любопытством старались проникнуть в прошлое ребят и готовы были признать наши успехи только с одним условием: все же здесь собраны не обыкновенные молодые люди. Я с большим трудом перетягивал на свою сторону отдельных комсомольцев.

Наши позиции по этому вопросу с самого первого дня колонии оставались неизменными. Основным методом перевоспитания правонарушителей я считал такой, который основан на полнейшем игнорировании прошлого и тем более прошлых преступлений. Довести этот метод до настоящей чистоты мне самому было очень не легко, нужно было между прочими препятствиями побороть и собственную натуру. Всегда подмывало узнать, за что прислан колонист в колонию, чего он такого натворил. Обычная педагогическая логика в то время старалась подражать медицинской и толковала с умным выражением на лице: для того чтобы лечить болезнь, нужно ее знать. Эта логика и меня иногда соблазняла, а в особенности соблазняла моих коллег и наробраз.

Комиссия по делам несовершеннолетних присылала к нам «дела» воспитанников, в которых подробно описывались разные допросы, очные ставки и прочая дребедень, помогавшая якобы изучить болезнь.

В колонии мне удалось перетянуть на свою сторону всех педагогов, и уже в 1922 году я просил комиссию никаких «дел» ко мне не присылать. Мы самым искренним образом перестали интересоваться прошлыми преступлениями колонистов, и у нас это выходило так хорошо, что и колонисты скоро забывали о них. Я сильно радовался, видя, как постепенно исчез в колонии всякий интерес к прошлому, как исчезали из наших дней отражения дней мерзких, больных и враждебных нам. В этом отношении мы достигли полного идеала: уже и новые колонисты стеснялись рассказывать о своих подвигах.

И вдруг по такому замечательному делу, как организация комсомола в колонии, нам пришлось вспомнить

как раз наше прошлое и восстановить отвратительные для нас термины: «исправление», «правонарушение», «дело».

Стремление ребят в комсомол делалось благодаря встретившимся сопротивлениям настойчиво боевым — собирались лезть в настоящую драку. Люди, склонные к компромиссам, как Таранец, предлагали обходный способ: выдать для желающих вступить в комсомол удостоверения о том, что они «исправились», а в колонии их, конечно, оставить. Большинство протестовало против такой хитрости. Задоров краснел от негодования и говорил:

— Не нужно этого! Это тебе не с граками возиться, тут никого не нужно обдуривать. Нам нужно добиться, чтобы в колонии был комсомол, а комсомол уже сам будет знать, кто достоин, а кто недостоин.

Ребята очень часто ходили в комсомольские организации города и добивались своего, но в общем успеха не было.

Зимой двадцать третьего года мы вошли в дружеские отношения еще с одной комсомольской организацией. Вышло это случайно.

Под вечер мы с Антоном возвращались домой. Блестящая сытой шерстью Мэри была запряжена в легковые сани. В самом начале спуска с горы мы встретили неожиданное в наших широтах явление — верблюда. Мэри не могла пересилить естественное чувство отвращения, вздрогнула, вздыбилась, забилась в оглоблях и понесла. Антон уперся ногами в передок саней, но удержать кобылу не смог. Некоторый существенный недостаток наших легковых саней, на который, правда, Антон давно указывал,— короткие оглобли,— определил дальнейшие события и приблизил нас к указанной выше новой комсомольской организации. Развернувшись в паническом карьере, Мэри колотила задними копытами по железному передку, пугалась еще больше и со страшной быстротой несла нас навстречу неизбежной катастрофе. Мы с Антоном вдвоем натягивали вожжи, но от этого становилось хуже: Мэри задирала голову и бесилась сильнее и сильнее. Я уже видел то место, на котором все должно было окончиться более или менее печально: на повороте дороги у водоразборной будки сгрудились крестьянские сани на водопое. Казалось, спасения нет,

дорога была загорожена. Но каким-то чудом Мэри пронеслась между водопоем и группой городских саней. Раздался треск разрушаемого дерева, крики людей, но мы уже были далеко. Гора кончилась, мы более спокойно полетели по ровной, прямой дороге. Антон получил даже возможность оглянуться и покрутить головой:

— Чьи-то сани разнесли, тикать надо.

Он было размахнулся кнутом на Мэри, и без того летящую полной рысью, но я удержал его энергичную руку:

— Не удерешь,— смотри, у них какой дьявол!

Действительно, сзади нас широко и спокойно выбрасывал могучие копыта красавец-рысак, а из-за его крупа пристально вглядывался в неудачных беглецов человек с малиновыми петлицами. Мы остановились. Обладатель петлиц стоял в санях и держался за плечи кучера, потому что сесть ему было не на что: заднее сиденье и спинка саней были обращены в шаткую решетку, и по дороге волочились обгрызенные и растерзанные концы каких-то санных деталей.

— Поезжайте за нами,— сердито бросил военный.

Мы поехали. Антон радостно улыбался: ему очень понравились усовершенствования в экипаже, произведенные нашим беспокойным выездом. Через десять минут мы были в комендатуре ГПУ, и только тогда Антон изобразил на физиономии неприятное удивление:

— От, смотри ж ты, на ГПУ наскочили...

Нас обступили люди с малиновыми петлицами, и один из них закричал на меня:

— Ну, конечно, посадили мальчишку за кучера... разве он может удержать лошадь? Придется отвечать вам.

Антон скорчился от обиды и почти со слезами замотал головой на обидчика:

— Мальчишку, смотри ты! Кабы не пускали верблюдов по улицам, а то поразводили всякой сволочи, лазит под ногами... Разве кобыла может на него смотреть? Может?

— Какой сволочи?

— Та верблюдов же!

Малиновые петлицы смеялись.

— Откуда вы?

— Из колонии Горького,— сказал я.

— О, так это же горьковцы! А вы кто, заведующий? Хороших щук поймали сегодня! — смеялся радостно молодой человек, созывая народ и показывая на нас, как на приятных гостей.

Вокруг нас собралась толпа. Они потешались над собственным кучером и тормошили Антона, расспрашивая о колонии.

— А мы давно собирались побывать в колонии. Там народ, говорят, боевой. Мы вот к вам приедем в воскресенье.

Но пришел завхоз и сердито приступил к составлению какого-то акта. На него закричали:

— Да брось свои бюрократические замашки! Ну, для чего ты это пишешь?

— Как — «для чего»? Вы видели, что они с санями сделали? Пускай теперь исправляют.

— Они и без твоего протокола исправят. Исправите ж?.. Вы лучше расскажите, как у вас в колонии. Говорят, у вас даже карцера нет!

— Вот еще, чего не хватало, карцера! А у вас разве есть? — заинтересовался Антон.

Публика снова взорвалась смехом:

— Обязательно приедем к ним в воскресенье. Отвезем сани в починку.

— А на чем я буду ездить до воскресенья? — завопил завхоз.

Но я успокоил его:

— У нас есть еще одни сани, пускай с нами сейчас кто-нибудь поедет и возьмет.

Так у нас в колонии завелись еще хорошие друзья. В воскресенье в колонию приехали чекисты-комсомольцы. И снова был поставлен на обсуждение тот же проклятый вопрос: почему колонистам нельзя быть комсомольцами? Чекисты в решении этого вопроса единодушно стали на нашу сторону.

— Ну, что там они выдумывают,— говорили они мне,— какие там преступники? Глупости, стыдно серьезным людям... Мы это дело двинем, если не здесь, так в Харькове.

В это время наша колония была передана в непосредственное ведение украинского Наркомпроса как «об-

разцово-показательное учреждение для правонарушителей». К нам начали приезжать наркомпросовские инспектора. Это уже не были подбитые ветром, легкомысленные провинциалы, поверившие в соцвос в порядке весенней эмоции. В соцвосе харьковцев мало интересовали клейкие листочки, души, права личности и прочая лирическая дребедень. Они искали новых организационных форм и нового тона. Самым симпатичным у них было то, что они не корчили из себя доктора Фауста, которому не хватает только одного счастливого мгновения, а относились к нам по-товарищески, вместе с нами готовы были искать новое и радоваться каждой новой крупинке.

Харьковцы очень удивились нашим комсомольским бедам:

— Так вы работаете без комсомола?.. Нельзя?.. Кто это такое придумал?

По вечерам они шушукались со старшими колонистами и кивали друг другу сочувственно головами.

В Центральном Комитете комсомола Украины благодаря предстательствам и Наркомпроса и наших городских друзей вопрос был разрешен с быстротою молнии, и летом двадцать третьего года в колонию был назначен политруком Тихон Нестерович Коваль.

Тихон Нестерович был человек селянский. Доживши до двадцати четырех лет, он успел внести в свою биографию много интересных моментов, главным образом из деревенской борьбы, накопил крепкие запасы политического действия, был, кроме того, человеком умным и добродушно-спокойным. С колонистами он с первой встречи заговорил языком равного им товарища, в поле и на току показал себя опытным хозяином.

Комсомольская ячейка была организована в колонии в составе девяти человек.

28. НАЧАЛО ФАНФАРНОГО МАРША

Дерюченко вдруг заговорил по-русски. Это противоестественное событие было связано с целым рядом неприятных происшествий в дерюченковском гнезде. Началось с того, что жена Дерюченко,— к слову сказать,

существо абсолютно безразличное к украинской идее,— собралась родить. Как ни сильно взволновали Дерюченко перспективы развития славного казацкого рода, они еще не способны были выбить его из седла. На чистом украинском языке он потребовал у Братченко лошадей для поездки к акушерке. Братченко не отказал себе в удовольствии высказать несколько сентенций, осуждающих как рождение молодого Дерюченко, не предусмотренное транспортным планом колонии, так и приглашение акушерки из города, ибо, по мнению Антона, «один черт — что с акушеркой, что без акушерки». Все-таки лошадей он Дерюченко дал. На другой же день обнаружилось, что роженицу нужно везти в город. Антон так расстроился, что потерял представление о действительности и даже сказал:

— Не дам!

Но и я, и Шере, и вся общественность колонии столь сурово и энергично осудили поведение Братченко, что лошадей пришлось дать. Дерюченко выслушал разглагольствования Антона терпеливо и уговаривал его, сохраняя прежнюю сочность и великодушие выражений:

— Позаяк ця справа вымагае дужэ швыдкого вырishення, нэ можна гаяты часу, шановный товарыщу Братченко.

Антон орудовал математическими данными и был уверен в их особой убедительности:

— За акушеркой пару лошадей гоняли? Гоняли. Акушерку отвозили в город, тоже пару лошадей? По-вашему, лошадям очень интересно, кто там родит?

— Але ж, товарищу...

— Вот вам и «але»! А вы подумайте, что будет, если все начнут такие безобразия!..

В знак протеста Антон запрягал по родильным делам самых нелюбимых и не рысистых лошадей, объявлял фаэтон испорченным и подавал шарабан, на козлы усаживал Сороку — явный признак того, что выезд не парадный.

Но до настоящего белого каления Антон дошел только тогда, когда Дерюченко потребовал лошадей ехать за роженицей. Он, впрочем, не был счастливым отцом: его первенец, названный поспешно Тарасом, прожил в ро-

дильном доме только одну неделю и скончался, ничего существенного не прибавив к истории казацкого рода. Дерюченко носил на физиономии вполне уместный траур и говорил несколько расслабленно, но его горе все же не пахло ничем особенно трагическим, и Дерюченко упорно продолжал выражаться на украинском языке. Зато Братченко от возмущения и бессильного гнева не находил слов ни на каком языке, и из его уст вылетали только малопонятные отрывки:

— Даром все равно гоняли! Извозчика... спешить некуда... можно гаяты час. Все родить будут... И все без толку...

Дерюченко возвратил в свое гнездо незадачливую родильницу, и страдания Братченко надолго прекратились. В этой печальной истории Братченко больше не принимал участия, но история на этом не окончилась. Тараса Дерюченко еще не было на свете, когда в историю случайно зацепилась посторонняя тема, которая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь не посторонней. Тема эта для Дерюченко была тоже страдательной. Заключалась она в следующем.

Воспитатели и весь персонал колонии получали пищевое довольствие из общего котла колонистов в горячем виде. Но с некоторого времени, идя навстречу особенностям семейного быта и желая немного разгрузить кухню, я разрешил Калине Ивановичу выдавать кое-кому продукты в сухом виде. Так получал пищевое довольствие и Дерюченко. Как-то я достал в городе самое минимальное количество коровьего масла. Его было так мало, что хватило только на несколько дней для котла. Конечно, никому и в голову не приходило, что это масло можно включить в сухой паек. Но Дерюченко очень забеспокоился, узнав, что в котле колонистов уже в течение трех дней плавает драгоценный продукт. Он поспешил перестроиться и подал заявление, что будет пользоваться общим котлом, а сухого пайка получать не желает. К несчастью, к моменту такой перестройки весь запас коровьего масла в кладовой Калины Ивановича был исчерпан, и это дало основание Дерюченко прибежать ко мне с горячим протестом:

— Не можно знущатися над людьми! Де же те масло?

— Масло? Масла уже нет, съели.

Дерюченко написал заявление, что он и его семья будут получать продукты в сухом виде. Пожалуйста! Но через два дня снова привез Калина Иванович масло, и снова в таком же малом количестве. Дерюченко с зубовным скрежетом перенес и это горе и даже на котел не перешел. Но что-то случилось в нашем наробразе, намечался какой-то затяжной процесс периодического вкрапления масла в организмы деятелей народного образования и воспитанников. Калина Иванович то и дело, приезжая из города, доставал из-под сиденья небольшой «глечик», прикрытый сверху чистеньким куском марли. Дошло до того, что Калина Иванович без этого «глечика» уже и в город не ездил. Чаще всего, разумеется, бывало, что «глечик» обратно приезжал ничем не прикрытый, и Калина Иванович небрежно перебрасывал его в соломе на дне шарабана и говорил:

— Такой бессознательный народ! Ну и дай же человеку, чтобы было на что глянуть. Что ж вы даете, паразиты: чи его нюхать, чи его исты?

Но все же Дерюченко не выдержал: снова перешел на котел. Однако этот человек не способен был наблюдать жизнь в ее динамике, он не обратил внимания на то, что кривая жиров в колонии неуклонно повышается, обладая же слабым политическим развитием, не знал, что количество на известной ступени должно перейти в качество. Этот переход неожиданно обрушился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали получать в таком обилии, что я нашел возможным за истекшие полмесяца выдать его в составе сухого пайка. Жены, бабушки, старшие дочки, тещи и другие персонажи второстепенного значения потащили из кладовой Калины Ивановича в свои квартиры золотистые кубики, вознаграждая себя за долговременное терпение, а Дерюченко не потащил: он неосмотрительно съел причитающиеся ему жиры в неуловимом и непритязательном оформлении колонистского котла. Дерюченко даже побледнел от тоски и упорной неудачи. В полной растерянности он написал заявление о желании получать пищевое довольствие в сухом виде. Его горе было глубоко, и он вызывал всеобщее сочувствие, но и в этом горе он держался, как казак и как мужчина, и не бросил родного украинского языка.

В этот момент тема жиров хронологически совпала с неудавшейся попыткой продолжить род Дерюченко.

Дерюченко с женой терпеливо дожевывали горестные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила восстановить равновесие и принесла Дерюченко давно заслуженную радость: в приказе по колонии было отдано распоряжение выдать сухой паек «за истекшие полмесяца», и в составе сухого пайка было показано снова коровье масло. Счастливый Дерюченко пришел к Калине Ивановичу с кошелкой. Светило солнце, и все живое радовалось. Но это продолжалось недолго. Уже через полчаса Дерюченко прибежал ко мне, расстроенный и оскорбленный до глубины души. Удары судьбы по его крепкой голове сделались уже нестерпимыми, человек сошел с рельсов и колотил колесами по шпалам на чистом русском языке:

— Почему не выданы жиры на моего сына?

— На какого сына? — спросил я удивленно.

— На Тараса. Как «на какого»? Это самоуправство, товарищ заведующий! Полагается выдавать паек на всех членов семьи, и выдавайте.

— Но у вас же нет никакого сына Тараса.

— Это не ваше дело, есть или нет. Я вам представил удостоверение, что мой сын Тарас родился второго июня, а умер десятого июня, значит, и выдавайте ему жиры за восемь дней...

Калина Иванович, специально пришедший наблюдать за тяжбой, взял осторожно Дерюченко за локоть:

— Товарищ Дерюченко, какой же адиот такого маленького ребенка кормит маслом? Вы сообразите, разве ребенок может выдержать такую пищу?

Я дико посмотрел на них обоих.

— Калина Иванович, что это вы все сегодня!.. Этот маленький ребенок умер три недели назад...

— Ах, да, так он же помер? Так чего ж вам нужно? Ему теперь масло, все равно как покойнику кадило, поможет. Да он же и есть покойник, если можно так выразиться.

Дерюченко злой вертелся по комнате и рубил ладонью воздух:

— В моем семействе в течение восьми дней был равноправный член, и вы должны выдать.

Калина Иванович, с трудом подавляя улыбку, доказывал:

— Какой же он равноправный? Это ж только по теории равноправный, а прахтически в нем же ничего нет: чи он был на свете, чи его не было, одна видимость.

Но Дерюченко сошел с рельсов, и дальнейшее его движение было беспорядочным и безобразным. Он потерял всякие выражения стиля, и даже все специальные признаки его существа как-то раскрутились и повисли: и усы, и шевелюра, и галстук. В таком виде он докатился до завгубнаробразом и произвел на него нежелательное впечатление. Завгубнаробразом вызвал меня и сказал:

— Приходил ко мне ваш воспитатель с жалобой. Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете держать в колонии такого невыносимого шкурника? Он мне такую чушь молол: какой-то Тарас, масло, черт знает что!

— А ведь назначили его вы.

— Не может быть... Гоните немедленно!

К таким приятным результатам привело взаимно усиленное действие двух тем: Тараса и масла. Дерюченко с женой выехали по той же дороге, что и Родимчик. Я радовался, колонисты радовались, и радовался небольшой клочок украинской природы, расположенный в непосредственной близости к описываемым событиям. Но вместе с радостью напало на меня и беспокойство. Все тот же вопрос — где достать настоящего человека? — сейчас приступил с ножом к горлу, ибо во второй колонии не оставалось ни одного воспитателя. И вот бывает же так: колонии имени Горького определенно везло,— я неожиданно для себя натолкнулся на необходимого для нас настоящего человека. Наткнулся прямо на улице. Он стоял на тротуаре, у витрины отдела снабжения наробраза, и, повернувшись к ней спиной, рассматривал несложные предметы на пыльной, засоренной навозом и соломой улице. Мы с Антоном вытаскивали из склада мешки с крупой; Антон оступился в какую-то ямку и упал. Настоящий человек быстро подбежал к месту катастрофы, и вдвоем с ним мы закончили нагрузку указанного мешка на наш воз. Я поблагодарил незнакомца и обратил внимание на его ловкую фигуру, на умное молодое лицо

и на достоинство, с которым он улыбнулся в ответ на мою благодарность. На его голове с уверенной военной бодростью сидела белая кубанка.

— Вы, наверное, военный? — спросил я его.

— Угадали,— улыбнулся незнакомец.

— Кавалерист?

— Да.

— В таком случае, что вас может интересовать в наробразе?

— Меня интересует заведующий. Сказали, что он скоро будет, вот и ожидаю.

— Вы хотите получить работу?

— Да, мне обещали работу — инструктором физкультуры.

— Поговорите сначала со мной.

— Хорошо.

Мы поговорили. Он взгромоздился на наш воз, и мы поехали домой. Я показал Петру Ивановичу колонию, и к вечеру вопрос о его назначении был решен.

Петр Иванович принес в колонию целый комплекс счастливых особенностей. У него было как раз то, что нам нужно: молодость, прекрасная ухватка, чертовская выносливость, серьезность и бодрость, и не было ничего такого, что нам не нужно: никакого намека на педагогические предрассудки, никакой позы по отношению к воспитанникам, никакого семейного шкурничества. А кроме всего прочего, у Петра Ивановича были достоинства и дополнительные: он любил военное дело, умел играть на рояле, обладал небольшим поэтическим даром и физически был очень силен. Под его управлением вторая колония уже на другой день приобрела новый тон. Где шуткой, где приказом, где насмешкой, а где примером Петр Иванович начал сбивать ребят в коммуну. Он принял на веру все мои педагогические установки и до конца никогда ни в чем не усомнился, избавив меня от бесплодных педагогических споров и болтовни.

Жизнь наших двух колоний пошла, как хороший, исправный поезд. В персонале я почувствовал непривычную для меня основательность и плотность: Тихон Несторович, Шере и Петр Иванович, как и наши старые ветераны, по-настоящему служили делу.

Колонистов к этому времени было до восьмидесяти. Кадры двадцатого и двадцать первого годов сбились в очень дружную группу и неприкрыто командовали в колонии, составляя на каждом шагу для каждого нового лица негнущийся волевой каркас, не подчиниться которому было, пожалуй, невозможно. Впрочем, я почти не наблюдал попыток оказать сопротивление. Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких красивым внешним укладом, четкостью и простотой быта, довольно занятным списком разных традиций и обычаев, происхождение которых даже и для стариков не всегда было памятно. Обязанности каждого колониста определялись в требовательных и нелегких выражениях, но все они были строго указаны в нашей конституции, и в колонии почти не оставалось места ни для какого своеволия, ни для каких припадков самодурства. В то же время перед всей колонией всегда стояла не подлежащая никакому сомнению в своей ценности задача: окончить ремонт второй колонии, всем соединиться в одном месте, расширить наше хозяйство. В том, что эта задача для нас обязательна, в том, что мы ее непременно разрешим, сомнений ни у кого не было. Поэтому мы все легко мирились с очень многими недостатками, отказывали себе в лишнем развлечении, в лучшем костюме, в пище, отдавая каждую свободную копейку на свинарню, на семена, на новую жатвенную машину. К нашим небольшим жертвам делу восстановления мы относились так добродушно-спокойно, с такой радостной уверенностью, что я позволял себе прямую буффонаду на общем собрании, когда кто-нибудь из молодых поднимал вопрос: пора уже пошить новые штаны. Я говорил:

— Вот окончим вторую колонию, разбогатеем, тогда все пошьем: у колонистов будут бархатные рубашки с серебряным поясом, у девочек шелковые платья и лакированные туфли, каждый отряд будет иметь свой автомобиль и, кроме того, на каждого колониста велосипед. А вся колония будет усажена тысячами кустов роз. Видите? А пока давайте купим на эти триста рублей хорошую симментальскую корову.

Колонисты хохотали от души, и после этого для них не такими бедными казались ситцевые заплаты на штанах и промасленные серенькие «чепы».

Верхушку колонистского коллектива и в это время еще можно было походя ругать за многие уклонения от идеально-морального пути, но кого же на земном шаре нельзя за это ругать? А в нашем трудном деле эта верхушка показывала себя очень исправным и точно действующим аппаратом. Я в особенности ценил ее за то, что главной тенденцией ее работы как-то незаметно сделалось стремление перестать быть верхушкой, втянуть в себя всю колонистскую массу.

В этой верхушке состояли почти все старые наши знакомые: Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, Волохов, Ветковский, Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, Настя Ночевная; но к последнему времени в эту группу уже вошли новые имена: Опришко, Георгиевский, Волков Жорка и Волков Алешка, Ступицын и Кудлатый.

Опришко много усвоил от Антона Братченко: страстность, любовь к лошадям и нечеловеческую работоспособность. Он не был так талантлив в творчестве, не был так ярок, но зато у него были и только ему присущие достоинства: пенистая до краев бодрость, ладность и удачливость движений.

Георгиевский в глазах колонистского общества был существом двуликим. С одной стороны, всей его внешностью нас так и подмывало назвать его цыганом. И в смуглом лице, и в черных глазах навыкат, и в сдержанном ленивом юморе, и в плутоватом небрежении к частной собственности действительно было что-то цыганское. Но, с другой стороны, Георгиевский был отпрыском несомненно интеллигентной семьи: начитан, выхолен, по-городскому красив и говорил он с небольшим аристократическим оттенком, немного картавя. Колонисты утверждали, что Георгиевский — сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиевский отрицал всякую возможность такого позорного происхождения, и в его документах никаких следов проклятия прошлого не было, но я в таких случаях всегда склонен верить колонистам. Во второй колонии он ходил командиром и отличался одной прекрасной чертой: никто так много не возился со своим отрядом, как командир шестого. Георгиевский им и книги читал, и помогал одеваться, и самолично заставлял умываться, и без конца мог убеждать, уговаривать, упрашивать. В совете командиров он всегда

представлял идею любви к пацану и заботы о нем. И он мог похвалиться многими достижениями. Ему отдавали самых грязных, сопливых ребят, и через неделю он обращал их в франтов, украшенных прическами и аккуратно идущих по стезям трудовой колонистской жизни.

Волковых было в колонии двое: Жорка и Алешка. Между ними не было ни единой общей черты, хотя они и были братья. Жорка начал в колонии плохо: он обнаружил непобедимую лень, несимпатичную болезненность, вздорность характера и скверную мелкую злобность. Он никогда не улыбался, мало говорил, и я даже посчитал, что «это не наш» — убежит. Его возрождение пришло без всякой торжественности и без педагогических усилий. В совете командиров вдруг оказалось, что для работы на копке погреба осталась только одна возможная комбинация: Галатенко и Жорка. Смеялись.

— Нарочно таких двух лодырей в кучу не свалишь.

Еще больше смеялись, когда кто-то предложил произвести интересный опыт: составить из них сводный отряд и посмотреть, что получится, сколько они накопают. В командиры выбрали все-таки Жорку: Галатенко был еще хуже. Позвали Жорку в совет, и я ему сказал:

— Волков, тут такое дело: назначили тебя командиром сводного по копке погреба и дали тебе Галатенко. Так вот мы боимся, что ты с ним не справишься.

Жорка подумал и пробурчал:

— Справлюсь.

На другой день оживленный дежурный колонист прибежал за мной.

— Пойдемте, страшно интересно, как Жорка Галатенко муштрует! Только осторожно, а то услышат, ничего не выйдет.

За кустами мы прокрались к месту действия. На площадке среди остатков бывшего сада намечен прямоугольник будущего погреба. На одном его конце участок Галатенко, на другом — Жорки. Это сразу бросается в глаза и по расположению сил и по явным различиям в производительности: у Жорки вскопано уже несколько квадратных сажен, у Галатенко — узкая полоска. Но Галатенко не сидит: он неуклюже тыкает толстой ногой в непослушную лопату, копает и часто с усилием поворачи-

вает тяжелую голову к Жорке. Если Жорка не смотрит, Галатенко останавливает работу, но стоит ногой на лопате, готовый при первой тревоге вонзить ее в землю. Видимо, все эти хитрости уже приелись Волкову. Он говорит Галатенко:

— Ты думаешь, я буду стоять у тебя над душой и просить? Мне, видишь, некогда с тобой возиться.

— А чего ты так стараешься? — бубнит Галатенко.

Жорка не отвечает Галатенко и подходит к нему:

— Я с тобой не хочу разговаривать, понимаешь? А если ты не выкопаешь от сих пор и до сих пор, я твой обед вылью в помои.

— Так тебе и дадут вылить! А что тебе Антон запоет?

— Пусть что хочет поет, а я вылью, так и знай.

Галатенко пристально смотрит в глаза Жорки и понимает, что Жорка выльет. Галатенко бурчит:

— Я ж работаю, чего ты пристал?

Его лопата быстрее начинает шевелиться в земле, дежурный сдавливает мой локоть.

— Отметь в рапорте,— шепчу я дежурному.

Вечером дежурный закончил рапорт:

— Прошу обратить внимание на хорошую работу третьего «П» сводного отряда под командой Волкова первого.

Карабанов заключил голову Волкова в клещи своей десницы и заржал:

— Ого! Цэ не всякому командиру така честь.

Жорка гордо улыбнулся. Галатенко от дверей кабинета тоже подарил нам улыбку и прохрипел:

— Да, поработали сегодня, до черта поработали!

И с тех пор у Жорки как рукой сняло, пошел человек на всех парах к совершенству, и через два месяца совет командиров перебросил его во вторую колонию со специальной целью подтянуть ленивый седьмой отряд.

Алешка Волков с первого дня всем понравился. Он некрасив, его лицо покрыто пятнами самого разнообразного оттенка, лоб у Алешки настолько низок, что кажется, будто волосы на голове растут не вверх, а вперед, но Алешка очень умен, прежде всего умен, и это скоро всем бросается в глаза. Не было лучше Алешки

командира сводного отряда: он умел прекрасно рассчитать работу, расставить пацанов, найти какие-то новые способы, новые ухватки.

Так же умен и Кудлатый, человек с широким, монгольским лицом, кряжистый и прижимистый. Он попал к нам прямо из батраков, но в колонии всегда носил кличку «куркуля»; действительно, если бы не колония, приведшая Кудлатого со временем к партийному билету, был бы Кудлатый кулаком: слишком довлел в нем какой-то желудочный, глубокий хозяйственный инстинкт, любовь к вещам, возам, боронам и лошадям, к навозу и вспаханному полю, ко всякой работе во дворе, в сарае, в амбаре. Кудлатый был непобедимо рассудителен, говорил не спеша, с крепкой основательностью серьезного накопителя и сберегателя. Но, как бывший батрак, он так же спокойно и с такой же здравомыслящей крепкой силой ненавидел кулаков и глубоко был уверен в ценности нашей коммуны, как и всякой коммуны вообще. Кудлатый давно сделался в колонии правой рукой Калины Ивановича, и к концу двадцать третьего года значительная доля нашего хозяйства держалась на нем.

Ступицын тоже был хозяин, но совсем иного пошиба. Это был настоящий пролетарий. Он происходил из цеховых города Харькова и мог рассказать, где работали его прадед, дед и отец. Его фамилия давно украшала ряды пролетариев харьковских заводов, а старший брат за 1905 год побывал в ссылке. И по внешнему виду Ступицын хорош. У него тонкие брови и небольшие острые черные глаза. Вокруг рта у Ступицына прекрасный букет подвижных тонких мускулов, лицо его очень богато мимикой, крутыми и занятными переходами. Ступицын представлял у нас одну из важнейших сельскохозяйственных отраслей — свинарню второй колонии, в которой свиное стадо росло с какой-то сказочной быстротой. В свинарне работал специальный отряд — десятый, и командир его — Ступицын. Он умел сделать свой отряд энергичным и мало похожим на классических свинарей: ребята всегда с книжкой, всегда у них в голове рационы, в руках карандаши и блокноты, на дверцах станков надписи, по всем углам свинарни диаграммы и правила, у каждой свиньи паспорт. Чего там только не было, в этой свинарне!

Рядом с верхушкой располагались две широкие группы, близкие к ней, ее резерв. С одной стороны — это старые боевые колонисты, прекрасные работники и товарищи, не обладающие, однако, заметными талантами организаторов, люди сильные и спокойные. Это — Приходько, Чобот, Сорока, Леший, Глейзер, Шнайдер, Овчаренко, Корыто, Федоренко и еще многие. С другой стороны — это подрастающие пацаны, действительная смена, уже и теперь часто показывающая зубы будущих организаторов. Они, по возрасту, еще не могут взять в руки бразды правления, да и старшие сидят на местах; а старших они любят и уважают. Но они имеют и много преимуществ: они вкусили колонистскую жизнь в более молодом возрасте, они глубже восприняли ее традиции, сильнее верят в неоспоримую ценность колонии, а самое главное — они грамотнее, живее у них наука. Это частью наши старые знакомцы: Тоська, Шелапутин, Жевелий, Богоявленский, частью новые имена: Лапоть, Шаровский, Романченко, Назаренко, Векслер. Все это будущие командиры и деятели эпохи завоевания Куряжа. И сейчас они уже часто ходят в комсводотрядах.

Перечисленные группы колонистов составляли большую часть нашего коллектива. По своему мажорному тону, по своей энергии, по своим знаниям и опыту эти группы были очень сильны, и остальная часть колонистов могла только идти за ними. А остальная часть в глазах самих колонистов делилась на три раздела: «болото», пацаны и «шпана». В «болото» входили колонисты, ничем себя не проявившие, невыразительные, как будто сами не уверенные в том, что они колонисты.

Нужно, однако, сказать, что из «болота» то и дело выделялись личности заметные, и вообще «болото» было состоянием временным. До поры до времени оно большею частью состояло из воспитанников второй колонии. Малышей было у нас десятка полтора; в глазах колонистов это было сырье, главная функция которого — учиться вытирать носы. Впрочем, малыши и не стремились к какой-нибудь яркой деятельности и удовлетворялись играми, коньками, лодками, рыбной ловлей, санками и другими мелочами. Я считал, что они делают правильно.

В «шпане» было человек пять. Сюда входили Галатенко, Перепелятченко, Евгеньев, Густоиван и еще кто-то. Отнесены они были к «шпане» единодушным решением всего общества, после того как установлено было за каждым из них наличие бьющего в глаза порока: Галатенко — обжора и лодырь, Евгеньев — припадочный, брехливый болтун, Перепелятченко — дохлятина, плакса, попрошайка, Густоиван — юродивый, «психический», творящий молитвы богородице и мечтающий о монастыре. От некоторых пороков представителям «шпаны» со временем удалось избавиться, но это произошло не скоро.

Таков был коллектив колонистов к концу двадцать третьего года. С внешней стороны все колонисты были, за немногими исключениями, одинаково подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был великолепный строй, украшенный спереди четырьмя трубачами и восемью барабанами. Было у нас и знамя, прекрасное шелковое, вышитое шелком же,— подарок Наркомпроса Украины в день нашего трехлетия.

В дни пролетарских праздников колония с барабанным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных педагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фасонной выправкой. Мы приходили на плац всегда позже всех, чтобы никого не ждать, замирали в неподвижном «смирно!», трубачи трубили салют всем трудящимся города, и колонисты поднимали руки. После этого наш строй разбегался в поисках праздничных впечатлений, но на месте колонны замирали: впереди знаменщик и часовые, на месте последнего ряда — маленький флаженер. И это было так внушительно, что никогда никто не решался стать на обозначенное нами место. Одежную бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изобретательности и смелости. Мы были решительными противниками ситцевых костюмов, этой возмутительной особенности детских домов. А более дорогих костюмов мы не имели. Не было у нас и новой, красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили босиком, но это имело такой вид, как будто это нарочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками. Штаны хорошие, черные, они подвернуты до колен и сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И ру-

кава сорочек подняты выше локтя. Получался очень нарядный, веселый строй несколько селянского рисунка.

Третьего октября двадцать третьего года такой строй протянулся через плац колонии. К этому дню была закончена сложнейшая операция, длившаяся три недели. На основании постановления объединенного заседания педагогического совета и совета командиров колония имени Горького сосредоточивалась в одном имении, бывшем Трепке, а свое старое имение у Ракитного озера передавала в распоряжение губнаробраза. К третьему октября все было вывезено во вторую колонию: мастерские, сараи, конюшни, кладовые, вещи персонала, столовая, кухня и школа. На утро третьего в колонии оставались только пятьдесят колонистов, я и знамя.

В двенадцать часов представитель губнаробраза подписал акт в приеме имения колонии имени Горького и отошел в сторонку. Я скомандовал:

— Под знамя, смирно!

Колонисты вытянулись в салюте, загремели барабаны, заиграли трубы знаменный марш. Знаменная бригада вынесла из кабинета знамя. Приняв его на правый фланг, мы не стали прощаться со старым местом, хотя вовсе не имели к нему никакой вражды. Просто не любили оглядываться назад. Не оглянулись и тогда, когда колонна колонистов, разрывая тишину полей барабанным треском, прошла мимо Ракитного озера, мимо крепости Андрия Карповича по хуторской улице и спустилась в луговую низину Коломака, направляясь к новому мосту, построенному колонистами.

Во дворе второй колонии собрался весь персонал, много селян из Гончаровки, и блестел такой же красотой строй колонистов второй колонии, замерший в салюте горьковскому знамени.

Мы вступили в новую эпоху.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. КУВШИН МОЛОКА

Мы перешли во вторую колонию в хороший, теплый, почти летний день. Еще и зелень на деревьях не успела потускнеть, еще травы зеленели в разгаре своей второй молодости, освеженные первыми осенними днями. И вторая колония была в это время, как красавица в тридцать лет: не только для других, а и для себя хороша, счастлива и покойна в своей уверенной прелести. Коломак обвивал ее почти со всех сторон, оставляя небольшой проход для сообщения с Гончаровкой. Над Коломаком щедро нависли шепчущим пологом буйные кроны нашего парка. Много здесь было тенистых и таинственных уголков, где с большим успехом можно было купаться и разводить русалок, и ловить рыбу, а в крайнем случае и посекретничать с подходящим товарищем. Наши главные дома стояли на краю высокого берега, и предприимчивые и бесстыдные пацаны прямо из окон летали в реку, оставив на подоконниках несложные свои одежды.

В других местах, там, где расположился старый сад, спуск к реке шел уступами, и самый нижний уступ раньше всех был завоеван Шере. Здесь было всегда просторно и солнечно. Коломак широк и спокоен, но для русалок это место мало соответствовало, как и для рыбной ловли и вообще для поэзии. Вместо поэзии здесь процветали капуста и черная смородина. Колонисты бывали на этом плесе исключительно с деловыми намерениями — то с лопатой, то с сапкой, а иногда вместе с колонистами с трудом пробирались сюда Коршун или Бандитка, вооруженные плугом. В этом же месте находилась и наша

пристань — три доски, выдвинутые над волнами Коломака на три метра от берега.

Еще дальше, заворачивая к востоку, Коломак, не скупясь, разостлал перед нами несколько гектаров хорошего, жирного луга, обставленного кустарниками и рощицами. Мы спускались на луг прямо из нашего нового сада, и этот зеленый спуск тоже был удивительно приспособлен для особого дела: в часы отдыха так и тянуло посидеть на травке в тени крайних тополей сада и лишний раз полюбоваться и лугом, и рощами, и небом, и крылом Гончаровки на горизонте. Калина Иванович очень любил это место и иногда в воскресный полдень увлекал меня сюда.

Я любил поговорить с Калиной Ивановичем о мужиках и о ремонте, о несправедливостях жизни и о нашем будущем. Перед нами был луг, и это обстоятельство иногда сбивало Калину Ивановича с правильного философского пути:

— Знаешь, голубе, жизнь, так она вроде бабы: от нее справедливости не ожидай. У кого, понимаешь ты, вуса в гору торчат, так тому и пироги, и вареники, и пляшка, а у кого, понимаешь, и борода не растет, а не то что вуса, так тому, подлая, и воды не вынесет напиться. От как был я в гусарах... Ах, ты, сукин сын, где ж твоя голова задевалася? Чи ты ее з хлибом зъив, чи ты ее забув в поезде? Куды ж ты, паразит, коня пустив, чи тоби повылазыло? Там же капуста посажена!

Конец этой речи Калина Иванович произносит, стоя уже далеко от меня и размахивая трубкой.

В трехстах метрах от нас темнеет в траве гнедая спина, не видно кругом ни одного «сукина сына». Но Калина Иванович не ошибается в адресе. Луг — это царство Братченко, здесь он всегда незримо присутствует, речь Калины Ивановича, собственно говоря, есть заклинание. Еще две-три коротких формулы, и Братченко материализуется, но в полном согласии со всею спиритической обстановкой он появляется не возле коня, а сзади нас, из сада:

— И чего вы репетуете, Калина Иванович? Дэ в бога заяц, дэ в черта батько? Дэ капуста, а дэ кинь?

Начинается специальный спор, из которого даже полный профан в луговом хозяйстве может понять, что здо-

рово уже постарел Калина Иванович, что уже с большим трудом он разбирается в колонийской топографии и действительно забыл, где затерялся луговой клочок капустного поля.

Колонисты позволяли Калине Ивановичу стареть спокойно. Сельское хозяйство давно уже нераздельно принадлежало Шере, и Калина Иванович только в порядке придирчивой критики и пытался иногда просунуть старый нос в некоторые сельскохозяйственные щели. Шере умел приветливо холодной шуткой прищемить этот нос, и тогда Калина Иванович сдавался.

— Что ж ты поробышь? Када-то и у нас хлиб рожався и немцев немало кормили. Нехай немцы теперь попробують: хисту много, а чи хлиб уродится?

Но в общем хозяйстве Калина Иванович все больше и больше приближался к положению английского короля — царствовал, но не правил. Мы все признавали его хозяйственное величие и склонялись перед его сентенциями с почтительностью, но дело делали по-своему. Это даже и не обижало Калину Ивановича, ибо он не отличался болезненным самолюбием и, кроме того, ему дороже всего были собственные сентенции, как для его английского коллеги царственная мишура.

По старой традиции, Калина Иванович ездил в город, и выезд его теперь обставлялся некоторой торжественностью. Он всегда был сторонником старинной роскоши, и хлопцы знали его изречение:

— У пана фаетон модный, та кинь голодный, а у хозяина воз простецкий, зато кинь молодецкий.

Старый воз, напоминавший гробик, колонисты устилали свежим сеном и закрывали чистым рядном. Запрягали лучшего коня и подкатывали к крыльцу Калины Ивановича. Все хозяйственные чины и власти к этому моменту делали, что нужно: у помзавхоза Дениса Кудлатого лежит в кармане список городских операций, кладовщик Алешка Волков запихивает под сено нужные ящички, глечики, веревочки и прочие упаковки. Калина Иванович выдерживает выезд перед крыльцом три-четыре минуты, потом выходит в чистеньком отглаженном плаще, обжигает спичкой наготовленную трубку, оглядывает мельком коня или воз, иногда бросает сквозь зубы, важно:

— Сколько раз тоби говорив: не надевай в город таку драну шапку. От народ непонимающий!..

Пока Денис меняется с товарищами картузами, Калина Иванович взбирается на сиденье и приказывает:

— Ну, паняй, што ли.

В городе Калина Иванович больше сидит в кабинете какого-нибудь продовольственного магната, задирает голову и старается поддержать честь сильной и богатой державы — колонии имени Горького. Именно поэтому его речи касались больше вопросов широкой политики:

— У мужиков все есть. Это я вам говорю определенно.

А в это время Денис Кудлатый в чужом картузе плавает и ныряет в хозяйственном море, помещающемся этажом ниже: выписывает ордера, ругается с заведующим и конторщиками, нагружает воз мешками и ящиками, оставляя неприкосновенным место Калины Ивановича, кормит коня и к трем часам вваливается в кабинет, весь в муке и в опилках:

— Можно ехать, Калина Иванович.

Калина Иванович расцветает дипломатической улыбкой, пожимает руку начальству и деловито спрашивает Дениса:

— Ты все нагрузив, как следовает?

По приезде в колонию истомленный Калина Иванович отдыхает, а Денис, наскоро съев простывший обед, до позднего вечера носит свою монгольскую физиономию по колонийским хозяйственным путям и хлопочет, как старуха.

Кудлатый органически не выносил вида самой малой брошенной ценности; он страдал, если с воза струшивалась солома, если где-то потерялся замок, если двери в коровник висят на одной петле. Денис был скуп на улыбку, но никогда не казался злым, и его приставанья к каждому растратчику хозяйственных ценностей никогда не были утомительно-назойливы, столько в его голосе убедительной солидности и сдержанной воли. Он умел допекать легкомысленных пацанов, полагавших в душевной простоте, что залезть на дерево — самое целесообразное вложение человеческой энергии. Денис одним движением бровей снимал их с дерева и говорил:

— Ну, каким местом, собственно говоря, ты рассуждаешь? Тебя женить скоро, а ты на вербе сидишь и штаны рвешь. Пойдем, я тебе выдам другие штаны.

— Какие другие? — обливается пацан холодным потом.

— Это тебе будет как спецовка, чтобы по деревьям лазить. Ну, скажи, собственно говоря, чи ты видел где такого человека, чтобы в новых штанах на деревья лазил? Видел ты такого?

Денис глубоко был проникнут хозяйственным духом и поэтому не способен был уделить внимание человеческому страданию. Он не мог понять такой простой человеческой психологии: пацан как раз потому и залез на дерево, что находился в состоянии восторга по случаю получения новых штанов. Штаны и дерево были причинно связаны, а Денису казалось, что это вещи несовместимые.

Жесткая политика Кудлатого, однако, была необходима, ибо наша бедность требовала свирепой экономии. Поэтому Кудлатый неизменно выдвигался советом командиров на работу помзавхоза, и совет командиров решительно отводил малодушные жалобы пацанов на неправильные якобы репрессии Дениса по отношению к штанам. Карабанов, Белухин, Вершнев, Бурун и другие старики высоко ценили энергию Кудлатого и сами ей беспрекословно подчинялись весной, когда Денис на общем собрании приказывал:

— Завтра посдавайте ботинки в кладовку, летом можно и босому ходить.

Много поработал Денис в октябре 1923 года. Десять отрядов колонистов с трудом разместились в тех зданиях, которые были приведены в полный порядок. В старом помещичьем дворце, который у нас называли белым домом, расположились спальни и школа, а в большом зале, заменившем веранду, работала столярная. Столовая была опущена в подвальный этаж второго дома, в котором были квартиры сотрудников. Она пропускала не больше тридцати человек одновременно, и поэтому обедали мы в три смены. Сапожная, колесная, швейная мастерские ютились в углах, очень мало похожих на производственные залы. Всем в колонии было тесно — и колонистам и сотрудникам. И как постоянное напоми-

нание о нашем возможном благополучии стоял в новом саду двухэтажный «ампир», издеваясь над нашим воображением просторами высоких комнат, лепными потолками и распластавшейся над садом широкой открытой верандой. Сделать здесь полы, окна, двери, лестницы, отопление, и мы имели бы прекрасные спальни на сто двадцать человек и освободили бы другие помещения для всякой педагогической нужды. Но для такого дела у нас не было шести тысяч рублей, а текущие наши доходы уходили на борьбу с цепкими остатками старой бедности, возвращаться к которой было для нас нестерпимым. На этом фронте наше наступление уничтожило уже «клифты», изодранные картузы, раскладушки-кровати, ватные одеяла эпохи последнего Романова и обмотанные тряпками ноги. Уже и парикмахер стал приезжать к нам два раза в месяц, и хотя он брал за стрижку машинкой десять копеек, а за прическу двадцать, мы могли позволить себе роскошь выращивать на колонийских головах «польки», «политики» и другие плоды европейской культуры. Правда, мебель наша была еще некрашеной, к столу подавались деревянные ложки, белье было в заплатах, но это уже потому, что главные куски наших доходов тратили мы на инвентарь, инструмент и вообще на основной капитал.

Шести тысяч рублей у нас не было, и на получение их не имелось никаких надежд. На общих собраниях коммунаров, в совете командиров, просто в беседах старших колонистов и в комсомольских речах, даже в щебете пацанов очень часто можно было услышать название этой суммы, и во всех этих случаях она представлялась абсолютно недостижимой по своей величине.

В это время колония имени Горького находилась в ведении Наркомпроса и от него получала небольшие сметные суммы. Что это были за деньги, можно судить хотя бы по тому, что на одежду на одного колониста в год полагалось двадцать восемь рублей. Калина Иванович возмущался:

— Хто оно такой разумный, що так ассигнуеть? От бы мене посмотреть на его лицо, какое оно такое, бо прожив, понимаешь ты, шесть десятков, а таких людей в натуре не видав, паразитов!

И я таких людей не видел, хотя и бывал в Наркомпросе. Цифра эта не назначалась человеком-организатором, а получалась в результате простого деления стихии беспризорщины на число беспризорных.

В красном доме, как запросто мы называли трепкинский «ампир», было убрано, как для бала, но бал откладывался на долгое время, даже первые пары танцоров — плотники — приглашены еще не были.

Но при такой печальной конъюнктуре настроение у колонистов было далеко не подавленное. Карабанов относил это обстоятельство к кое-какой чертовщине:

— Нам черты наворожуть, ось побачитэ! Нам же везет, бо мы же незаконнорожденные... От побачитэ, не черты, та ще якась нечиста сыла,— може, видьма, а може, ще хто. Такого не може буты, щоб отой дом отаким дурнем стояв перед очима.

И поэтому, когда мы получили телеграмму, что шестого октября приезжает в колонию инспектор Укрпомдета Бокова и что надлежит за нею выслать лошадей к харьковскому поезду, в правящих кругах колонии к этому известию отнеслись весьма внимательно, и многие высказывали мысли, имеющие прямое отношение к ремонту красного дома:

— Эта старушка шесть тысяч может...

— Почему ты знаешь, что она старушка?

— В помдетах этих всегда старушки.

Калина Иванович сомневался:

— От помдета ничего не получишь. Это я вже знаю. Будет просить, чи нельзя принять трех хлопцев. И потом баба все-таки: теорехтически женськое равноправие, а прахтически как была бабой, так и осталась...

Пятого в ведомстве Антона Братченко мыли парный фаэтон и заплетали гривы Рыжему и Мэри. Столичные гости в колонии бывали редко, и Антон склонен был относиться к ним с большим почетом. Утром шестого я выехал на вокзал, и на козлах сидел сам Братченко.

На вокзальной площади, сидя в фаэтоне, мы с Антоном внимательно осматривали всех старушек и вообще женщин наробразовского стиля, выходящих на площадь. Неожиданно услышали вопрос от кого-то, мало для нас подходящего:

— Откуда эти лошади?

Антон грубовато сказал сквозь зубы:

— У нас свои дела. Вон извозчики.

— Вы не из колонии имени Горького?

Взметнув ногами, Антон совершил на козлах полный оборот вокруг своей оси. Заинтересовался и я.

Перед нами стояло существо абсолютно неожиданное: легкое серое пальто в большую клетку, из-под пальто кокетливые шелковые ножки. А лицо холеное, румяное, и ямочки на щеках высокого качества, и блестящие глаза, и тонкие брови. Из-под кружевного дорожного шарфа смотрят на нас ослепительные локоны блондинки. За нею носильщик, и у него в руках пустячный багаж: коробка, саквояж из хорошей кожи.

— Вы — товарищ Бокова?

— Ну, вот видите, я сразу угадала, что это горьковцы.

Антон, наконец, пришел в себя, повертел серьезно головой и заботливо разобрал вожжи. Бокова впорхнула в экипаж, заменив окружавший нас привокзальный воздух каким-то другим газом, ароматным и свежим. Я подальше отодвинулся в угол сиденья и был вообще очень смущен непривычным соседством.

Товарищ Бокова всю дорогу щебетала о самых разнообразных вещах. Она много слышала о колонии имени Горького, и ей ужасно захотелось посмотреть, «что за такая колония».

— Ах, вы знаете, товарищ Макаренко, у нас так трудно, так трудно с этими ребятами! Мне ужасно их жаль, знаете, так хочется чем-нибудь им помочь. А это ваш воспитанник? Милый какой мальчик. Не скучно вам здесь? В этих детских домах очень скучно, знаете. У нас много говорят о вас. Только говорят, что вы нас не любите.

— Кого это?

— Нас — дамсоцвос.

— Не понимаю.

— Говорят, что вы так нас называете: дамский соцвос — дамсоцвос.

— Вот еще новости! — сказал я.— Никогда я так никого не называл... но... это, конечно, хорошо сказано.

Я искренно рассмеялся. Бокова была в восторге от такого удачного названия.

— А вы знаете, это немножко верно: в соцвосе много дам. Я тоже такая — дама. Вы от меня ничего такого — ученого — не услышите... Вы довольны?

Антон то и дело оглядывался с козел, серьезно вытаращивая большие глаза на непривычного седока.

— Он все на меня смотрит! — смеялась Бокова.— Чего он на меня так смотрит?

Антон краснел и что-то бурчал, погоняя лошадей.

В колонии нас встретили заинтересованные колонисты и Калина Иванович. Семен Карабанов смущенно полез в собственную «потылыцю», выражая этим жестом полную растерянность. Задоров прищурил один глаз и улыбался.

Я представил Бокову колонистам, и они приветливо потащили ее показывать колонию. Меня дернул за рукав Калина Иванович и спросил:

— А чем ее кормить надо?

— Ей-богу, не знаю, чем их кормят,— ответил я в тон Калине Ивановичу.

— Я думаю так, что для нее надо молока больше. Как ты думаешь, а?

— Нет, Калина Иванович, надо что-нибудь посолидней...

— Да что ж я сделаю? Разве кабана зарезать? Так Эдуард Николаевич не дасть.

Калина Иванович отправился хлопотать о кормлении важной гостьи, а я поспешил к Боковой. Она успела уже хорошо познакомиться с хлопцами и говорила им:

— Называйте меня Марией Кондратьевной.

— Мария Кондратьевна? От здорово!.. Так от смотрите, Мария Кондратьевна, это у нас оранжерея. Сами делали, тут и я покопал не мало: видите, до сих пор мозоли.

Карабанов показывал Марии Кондратьевне свою руку, похожую на лопату.

— Это он врет, Мария Кондратьевна, это у него мозоли от весел.

Мария Кондратьевна оживленно вертела белокурой красивой головой, на которой уже не было дорожного

шарфа, и очень мало интересовалась оранжереей и другими нашими достижениями.

Показали Марии Кондратьевне и красный дом.

— Отчего же вы его не оканчиваете? — спросила Бокова.

— Шесть тысяч,— сказал Задоров.

— А у вас нет денег? Бедненькие!

— А у вас есть? — зарычал Семен.— О, так в чем же дело? Знаете что, давайте мы здесь на травке посидим.

Мария Кондратьевна грациозно расположилась на травке у самого красного дома. Хлопцы в ярких красках описали ей нашу тесноту и будущие роскошные формы нашей жизни после восстановления красного дома.

— Вы понимаете — у нас сейчас восемьдесят колонистов, а то будет сто двадцать. Вы понимаете?

Из сада вышел Калина Иванович, и Оля Воронова несла за ним огромный кувшин, две глиняные селянские кружки и половину ржаного хлеба. Мария Кондратьевна ахнула:

— Смотрите, какая прелесть, как у вас все прекрасно! Это ваш такой дедушка? Он пасечник, правда?

— Нет, я не пасечник,— расцвел в улыбке Калина Иванович,— и никогда не был пасечником, а только это молоко лучше всякого меда. Это вам не какая-нибудь баба делала, а трудовая колония имени Максима Горького. Вы такого молока никогда в жизни не пили: и холодное и солодкое.

Мария Кондратьевна захлопала в ладоши и склонилась над кружкой, в которую священнодейственно наливал молоко Калина Иванович. Задоров поспешил использовать этот занимательный момент:

— У вас шесть тысяч даром лежат, а у нас дом не ремонтируется. Это, понимаете, несправедливо.

Мария Кондратьевна задохнулась от холодного молока и прошептала страдальческим голосом:

— Это не молоко, а счастье... Никогда в жизни...

— Ну, а шесть тысяч? — нахально улыбался ей в лицо Задоров.

— Какой этот мальчик материалист,— Мария Кондратьевна прищурилась.— Вам нужно шесть тысяч? А мне что за это будет?

Задоров беспомощно оглянулся и развел руками, готовый предложить в обмен на шесть тысяч все свое богатство. Карабанов долго не думал:

— Мы можем вам предложить сколько угодно такого счастья.

— Какого, какого счастья? — всеми цветами радуги заблестела Мария Кондратьевна.

— Холодного молока.

Мария Кондратьевна повалилась грудью на траву и засмеялась в изнеможении.

— Нет, вы меня не одурачите вашим молоком. Я вам дам шесть тысяч, только вы должны принять от меня сорок детей... хороших мальчиков, только они теперь знаете, такие... черненькие...

Колонисты сделались серьезны. Оля Воронова, как маятником, размахивала кувшином и смотрела в глаза Марии Кондратьевне.

— Так отчего же? — сказала она.— Мы возьмем сорок детей.

— Поведите меня умыться, и я хочу спать... А шесть тысяч я вам дам.

— А вы еще на наших полях не были.

— На поля завтра поедем. Хорошо?

Мария Кондратьевна прожила у нас три дня. Уже к вечеру первого дня она знала многих колонистов по именам и до глубокой ночи щебетала с ними на скамье в старом саду. Катали они ее и на лодке, и на гигантах, и на качелях, только поля она не успела осмотреть и насилу-насилу нашла время подписать со мною договор. По договору Укрпомдет обязывался перевести нам шесть тысяч на восстановление красного дома, а мы должны были после такого восстановления принять от Укрпомдета сорок беспризорных.

От колонии Мария Кондратьевна была в восторге.

— У вас рай,— говорила она.— У вас есть прекрасные, как бы это сказать...

— Ангелы?

— Нет, не ангелы, а так — люди.

Я не провожал Марию Кондратьевну. На козлах не сидел Братченко, и гривы у лошадей заплетены не были. На козлах сидел Карабанов, которому Антон почему-то уступил выезд. Карабанов сверкал черными глазами и

до отказа напихан был чертячьими улыбками, рассыпая их по всему двору.

— Договор подписан, Антон Семенович? — спросил он меня тихо.

— Подписан.

— Ну и добре. Эх, и прокачу красавицу!

Задоров пожимал Марии Кондратьевне руку:

— Так вы приезжайте к нам летом. Вы же обещали.

— Приеду, приеду, я здесь дачу найму.

— Да зачем дачу? К нам...

Мария Кондратьевна закивала на все стороны головой и всем подарила по ласковому, улыбающемуся взгляду.

Возвратившись с вокзала, Карабанов, распрягая лошадей, был озабочен, и так же озабоченно слушал его Задоров. Я подошел к ним.

— Говорил я, что ведьма поможет, так и вышло.

— Ну какая же она ведьма?

— А вы думаете, ведьма, так обязательно на метле? И с таким носом? Нет. Настоящие ведьмы красивые.

2. ОТЧЕНАШ

Бокова не подвела: уже через неделю получили мы перевод на шесть тысяч рублей, и Калина Иванович усиленно закряхтел в новой строительной горячке. Закряхтел и четвертый отряд Таранца, которому было дано задание из сырого леса сделать хорошие двери и окна. Калина Иванович поносил какого-то неизвестного человека:

— Чтоб ему гроб из сырого леса сделали, када помреть, паразит!..

Наступил последний акт нашей четырехлетней борьбы с трепкинской разрухой; нас всех, от Калины Ивановича до Шурки Жевелия, охватывало желание скорее окончить дом. Нужно было скорее прийти к тому, о чем мечтали так долго и упорно. Начали нас раздражать известковые ямы, заросли бурьяна, нескладные дорожки в парке, кирпичные осколки и строительные отбросы по всему двору. А нас было только восемьдесят человек. Воскресные советы командиров терпеливо отжимали у

Шере два-три сводных отряда для приведения в порядок нашей территории. Часто на Шере и сердились:

— И честное слово, это уже чересчур! У вас же нечего делать, все под шнурок сделано.

Шере спокойно доставал измятый блокнот и негромко докладывал, что у него, напротив, все запущено, пропасть всякой работы, и если он дает два отряда для двора, так это только потому, что он вполне признает необходимость и такой работы, иначе он никогда бы не дал, а поставил бы эти отряды на сортировку пшеницы или на ремонт парников.

Командиры недовольно бурчат, с трудом помещая в своих душах противоречивые переживания: и злость на неуступчивость Шере, и восхищение его твердой линией.

Шере в это время заканчивал организацию шестиполья. Мы все вдруг заметили, как выросло наше сельское хозяйство. Среди колонистов появились люди, преданные этому делу, как своему будущему, и среди них особенно выделялась Оля Воронова. Если увлекались землей Карабанов, Волохов, Бурун, Осадчий, то это было увлечение почти эстетического порядка. Они влюбились в сельскохозяйственную работу, влюбились без всякой мысли о собственной пользе, вошли в нее, не оглядываясь назад и не связывая ее ни с собственным будущим, ни с другими своими вкусами. Они просто жили и наслаждались прекрасной жизнью, умели оценить каждый пережитый в работе и в напряжении день и завтрашнего дня ожидали, как праздника. Они были уверены, что все эти дни приведут их к новым и богатым удачам, а что это такое будет, об этом они не думали. Правда, все они готовились на рабфак, но и с этим делом они не связывали никакой точной мечты и даже не знали, в какой рабфак они хотели бы поступить.

Были и другие колонисты, любящие сельское хозяйство, но они стояли на более практической позиции. Такие, как Опришко и Федоренко, учиться в школе не хотели, никаких особенных претензий вообще не предъявляли к жизни и с добродушной скромностью полагали, что завести свое хозяйство на земле, оборудоваться хорошей хатой, конем и женой, летом работать «от зари до зари», к осени все по-хозяйски собрать и сложить, а зимой спокойно есть вареники и борщи, ватрушки и сало,

отгуливая два раза в месяц на собственных и соседских родинах, свадьбах, именинах и заручинах[1],— прекрасное будущее для человека.

Оля Воронова была на особом пути. Она смотрела на наши и соседские поля задумчивым или встревоженным глазом комсомолки, для нее на полях росли не только вареники, но и проблемы.

Наши шестьдесят десятин, над которыми так упорно работал Шере, ни для него, ни для его учеников не заслонили мечты о большом хозяйстве, с трактором, с «гонами» в километр длиной. Шере умел поговорить с колонистами на эту тему, и у него составилась группа постоянных слушателей. Кроме колонистов, в этой группе постоянно присутствовали Спиридон, комсомольский секретарь из Гончаровки, и Павел Павлович.

Павлу Павловичу Николаенко было уже двадцать шесть лет, но он еще не был женат, по деревенской мерке считался старым холостяком. Его отец, старый Николаенко, на наших глазах выбивался в крепкого хозяина-кулака, потихоньку используя бродячих мальчишек-батраков, но в то же время прикидывался убежденным незаможником.

Может быть, поэтому Павел Павлович не любил отцовского очага, а толкался больше в колонии, нанимаясь у Шере для выполнения более тонких работ с пропашными, выступая перед колонистами почти в роли инструктора. Павел Павлович был человек начитанный и умел внимательно и вдумчиво слушать Шере.

И Павел Павлович и Спиридон то и дело поворачивали беседу на крестьянские темы: большое хозяйство они иначе не представляли себе, как хозяйство крестьянское. Карие глаза Оли Вороновой пристально присматривались к ним и сочувственно теплели, когда Павел Павлович негромко говорил:

— Я так считаю: сколько кругом работает народу, а без толку. А чтоб с толком работали — надо учить. А кто научит? Мужик? Ну его к черту, его учить трудно. Вот Эдуард Николаевич все подсчитали и рассказали. Это верно. Так работать же надо! А этот черт работать так не будет. Ему дай свое...

---

[1] Заручины — сговор, обручение.

— Колонисты же работают? — осторожно говорит Спиридон, человек с большим и умным ртом.

— Колонисты,— улыбается грустно Павел Павлович,— это же, понимаешь, совсем не то.

Оля тоже улыбается, складывает руки, как будто собирается раздавить орех, и вдруг задорно перебрасывает взгляд на верхушки тополей. Золотистые косы Ольги сваливаются с плеч, а за косами опускается вниз и внимательный серый глаз Павла Павловича.

— Колонисты не собираются хозяйничать на земле и работают, а мужики всю жизнь на земле, и дети у них, и все...

— Ну, так что? — не понимает Спиридон.

— Понятно что! — удивленно говорит Оля.— Мужики должны еще лучше работать в коммуне.

— Как же это должны? — ласково спрашивает Павел Павлович.

Оля смотрит сердито в глаза Павла Павловича, и он на минуту забывает о ее косах, а видит только этот сердитый, почти не девичий глаз.

— Должны! Ты понимаешь, что значит «должны»? Это тебе, как дважды два — четыре.

Разговор этот слушают Карабанов и Бурун. Для них тема имеет академическое значение, как и всякий разговор о «граках», с которыми они порвали навсегда. Но Карабанова увлекает острота положения, и он не может отказаться от интересной гимнастики:

— Ольга правильно говорит: должны — значит, нужно взять и заставить...

— Как же ты их заставишь? — спрашивает Павел Павлович.

— Как попало! — загорается Семен.— Как людей заставляют? Силой. Давай сейчас мне всех твоих граков, через неделю у меня будут работать, как тепленькие, а через две недели благодарить будут.

— Какая ж у тебя сила? Мордобой? — прищуривается Павел Павлович.

Семен со смехом укладывается на скамью, а Бурун сдержанно-презрительно поясняет:

— Мордобой — это чепуха! Настоящая сила — револьвер.

Оля медленно поворачивает к нему лицо и терпеливо поучает:

— Как ты не понимаешь: если люди должны что-нибудь сделать, так они и без твоего револьвера сделают. Сами сделают. Им нужно только рассказать как следует, растолковать.

Семен, пораженный, подымает со скамьи вытаращенное лицо:

— Э-э, Олечко, цэ вы кудысь за той, заблудылысь. Растолковать... ты чуешь, Бурун? Ха? Що ты ему растолкуешь, коли вин хоче куркулем буты?

— Кто хочет куркулем? — Ольга возмущенно расширяет глаза.

— Как кто? Та все. Все до одного. Ось и Спиридон, и Павло Павлович...

Павел Павлович улыбается. Спиридон ошеломлен неожиданным нападением и может только сказать:

— Ну, дывысь ты!

— От и дывысь! Вин комсомолець тилько тому, що земли нэма. А дай ему зараз двадцать десятин и коровку, и овечку, и коня доброго, так и кончено. Сядэ тоби ж, Олечко, на шию и поидэ.

Бурун хохочет и подтверждает авторитетно:

— Поедет. И Павло поедет.

— Та пошли вы к черту, сволочи! — оскорбляется, наконец, Спиридон и краснеет, сжимая кулаки.

Семен ходит вокруг садовой скамейки и высоко подымает то одну, то другую ногу, изображая высшую степень восторга. Трудно разобрать, серьезно он говорит или дразнит деревенских людей.

Против скамейки на травке сидит Силантий Семенович Отченаш. Голова у него, «как пивной котел», морда красная, стриженый бесцветный ус, а на голове ни одной волосинки. Такие люди редко у нас теперь попадаются. А раньше много их бродило по Руси — философов, понимающих толк и в правде человеческой, и в казенном вине.

— Семен это правильно здесь говорит. Мужик — он не понимает компании, как говорится. Ему если, здесь это, конь, так и лошонка захочется,— два коня это чтоб было и больше никаких данных. Видишь, какая история.

Отченаш жестикулирует отставленным от кулака большим корявым пальцем и умно щурит белобрысые глазки.

— Так что же, кони человеком правят, что ли? — сердито спрашивает Спиридон.

— Здесь это, правильно: кони правят, вот какая история. Кони и коровы, смотри ты. А если он выскочит без всяких, так только сторожем на баштан годится. Видишь, какая история.

Силантия все полюбили в коммуне. С большой симпатией относится к нему и Оля Воронова. И сейчас она близко, ласково наклоняется к Силантию, а он, как к солнцу, обращает к ней широкое улыбающееся лицо.

— Ну что, красавица?

— Ты, Силантий, по-старому смотришь. По-старому. А кругом тебя новое.

Силантий Семенович Отченаш пришел к нам неизвестно откуда. Просто пришел из мирового пространства, не связанный никакими условностями и вещами. Принес с собой на плечах холщовую рубаху, на босых ногах дырявые древние штаны — и все. А в руках даже и палки не было. Чем-то особенным этот свободный человек понравился колонистам, и они с большим воодушевлением втащили его в мой кабинет.

— Антон Семенович, смотрите, какой человек пришел!

Силантий с интересом смотрел на меня и улыбался пацанам, как старый знакомый:

— Это что же, как говорится, ваш начальник будет?

И мне он сразу понравился.

— Вы по делу к нам?

Силантий расправил что-то на своей физиономии, и она сразу сделалась деловой и внушающей доверие.

— Видишь, какая, здесь это, история. Я человек рабочий, а у тебя работа есть, и никаких больше данных...

— А что вы умеете делать?

— Да как это говорится: если капитала здесь нету, так человек все может делать.

Он вдруг открыто и весело рассмеялся. Рассмеялись и пацаны, глядя на него, рассмеялся и я. И для всех было ясно: были большие основания именно смеяться.

— И вы все умеете делать?

— Да, почитай, что все... видишь, какая история,— уже несколько смущенно заявил Силантий.

— А что же все-таки...

Силантий начал загибать пальцы:

— И пахать, и скородить [1], это, и за конями ходить, и за всяким, здесь это, животным, и, как это говорится, по хозяйству: по плотницкому и по кузнецкому, и по печному делу. И маляр, значит, и по сапожному делу могу. Ежели это самое, как говорится, хату построить—сумею, и кабана, здесь это, зарезать тоже. Вот только детей крестить не умею, не приходилось.

Он вдруг снова громко рассмеялся, утирая слезы на глазах,— так ему было смешно.

— Не приходилось? Да ну?

— Не звали ни разу, видишь, какая история.

Ребята искренно заливались, и Тоська Соловьев пищал, подымаясь к Силантию на цыпочках:

— Почему не звали, почему не звали?

Силантий сделался серьезен и, как хороший учитель, начал разъяснять Тоське:

— Здесь это, думаешь, такая, брат, история: как кого крестить, думаю, вот меня позовут. А смотришь, найдется и побогаче меня, и больше никаких данных.

— Документы у вас есть? — спросил я Силантия.

— Был документ, недавно еще был, здесь это, документ. Так видишь, какая история: карманов у меня нету, потерялся, понимаешь. Да зачем тебе документ, когда я сам здесь налицо, видишь это, как живой, перед тобою стою?

— Где же вы работали раньше?

— Да где? У людей, видишь это, работал. У разных людей. И у хороших, и у сволочей, у разных, видишь, какая история. Прямо говорю, чего ж тут скрывать: у разных людей.

— Скажите правду: красть приходилось?

— Здесь это, прямо скажу тебе: не приходилось, понимаешь, красть. Что не приходилось, здесь это, так и вправду не приходилось. Такая, видишь, история.

Силантий смущенно глядел на меня. Кажется, он думал, что для меня другой ответ был бы приятнее.

---

[1] Скородить — бороновать.

Силантий остался у нас работать. Мы пробовали назначить его в помощь Шере по животноводству, но из такой регламентации ничего не вышло. Силантий не признавал никаких ограничений в человеческой деятельности: почему это одно ему можно делать, а другое нельзя? И поэтому он у нас делал все, что находил нужным и когда находил нужным. На всяких начальников он смотрел с улыбкой, и приказания пролетали мимо его ушей, как речь на чужом языке. Он успевал в течение дня поработать и в конюшне, и в поле, и на свинарнике, и на дворе, и в кузнице, и на заседании педагогического совета и совета командиров. У него был исключительный талант верхним чутьем определить самое опасное место в колонии и немедленно оказываться на этом месте в роли ответственного лица. Не признавая института приказания, он всегда готов был отвечать за свою работу, и его всегда можно было поносить и ругать за ошибки и неудачи. В таких случаях он почесывал лысину и разводил руками:

— Здесь это, как говорится, действительно напутали, видишь, какая история.

Силантий Семенович Отченаш с первого дня с головою влез в комсомольские планы и непременно разглагольствовал на комсомольских общих собраниях и заседаниях бюро. Но было и так: пришел он ко мне уверенно злой и, размахивая своим пальцем, возмущался:

— Здесь это, прихожу к ним...

— К кому это?

— Да, видишь, к комсомольцам этим,— не пускают, как говорится: закрытое, видишь это, заседание. Я им говорю по-хорошему: здесь это, молокососы, от меня закроешься, так и сдохнешь, говорю, зеленым. Дураком, здесь это, был, дураком и закопают, и больше никаких данных.

— Ну и что ж?

— Да видишь, какая история: не понимают, что ли, или, здесь это, пьяные они, как говорится, так и не пьяные. Я им толкую: от кого тебе нужно закрываться? От Луки, от этого Софрона, от Мусия, здесь это, правильно. А как же ты меня не пускаешь,— не узнал, как говорится, а то, может, сдурел? Так видишь, какая история: не слушает даже, хохочет, как это говорится, как ма-

лые ребята. Им дело, а они насмешки, и больше никаких данных.

Вместе с комсомолом принимал Силантий участие и в школьных делах.

Комсомольский регулярный режим прежде всего поднял на ноги нашу школу. До того времени она влачила довольно жалкое существование, не будучи в силах преодолеть отвращение к учебе многих колонистов.

Это, пожалуй, понятно. Первые горьковские дни были днями отдыха после тяжелых беспризорных переживаний. В эти дни укрепились нервы колонистов под тенью непрезентабельной мечты о карьерах сапожников и столяров.

Великолепное шествие нашего коллектива и победные фанфары на берегах Коломака сильно подняли мнение колонистов о себе. Почти без труда нам удалось вместо скромных сапожницких идеалов поставить впереди волнующие и красивые знаки:

РАБФАК

В то время слово «рабфак» обозначало совсем не то, что сейчас обозначает. Теперь это простое название скромного учебного заведения. Тогда это было знамя освобождения рабочей молодежи от темноты и невежества. Тогда это было страшно яркое утверждение непривычных человеческих прав на знание, и тогда мы все относились к рабфаку, честное слово, с некоторым даже умилением.

Это все было у нас практической линией: к осени 1923 года почти всех колонистов обуяло стремление на рабфак. Оно просочилось в колонии незаметно, еще в 1921 году, когда уговорили наши воспитательницы ехать на рабфак незадачливую Раису. Много рабфаковцев из молодежи паровозного завода приходило к нам в гости. Колонисты с завистью слушали их рассказы о героических днях первых рабочих факультетов, и эта зависть помогала им теплее принимать нашу агитацию. Мы настойчиво призывали колонистов к школе и к знанию и о рабфаке говорили им как о самом прекрасном человеческом пути. Но поступление на рабфак в глазах коло-

нистов было связано с непереносимо трудным экзаменом, который, по словам очевидцев, выдерживали только люди исключительно гениальные. Для нас было очень нелегко убедить колонистов, что и в нашей школе к этому страшному испытанию подготовиться можно. Многие колонисты были уже и готовы к поступлению на рабфак, но их разбирал безотчетный страх, и они решили остаться еще на год в колонии, чтобы подготовиться наверняка. Так было у Буруна, Карабанова, Вершнева, Задорова. Особенно поражал нас учебной страстью Бурун. В редких случаях его нужно было поощрять. С молчаливым упорством он осиливал не только премудрости арифметики и грамматики, но и свои сравнительно слабые способности. Самый несложный пустяк, грамматическое правило, отдельный тип арифметической задачи он преодолевал с большим напряжением, надувался, пыхтел, потел, но никогда не злился и не сомневался в успехе. Он обладал замечательно счастливым заблуждением: он был глубоко уверен, что наука на самом деле такая трудная и головоломная вещь, что без чрезмерных усилий ее одолеть невозможно. Самым чудесным образом он отказывался замечать, что другим те же самые премудрости даются шутя, что Задоров не тратит на учебу ни одной лишней минуты сверх обычных школьных часов, что Карабанов даже и на уроках мечтает о вещах посторонних и переживает в своей душе какую-нибудь колонийскую мелочь, а не задачу или упражнение. И, наконец, наступило такое время, когда Бурун оказался впереди товарищей, когда их талантливо схваченные огоньки знания сделались чересчур скромными по сравнению с солидной эрудицией Буруна. Полной противоположностью Буруну была Маруся Левченко. Она принесла в колонию невыносимо вздорный характер, крикливую истеричность, подозрительность и плаксивость. Много мы перемучались с нею. С пьяной бесшабашностью и больным размахом она могла в течение одной минуты вдребезги разнести самые лучшие вещи: дружбу, удачу, хороший день, тихий, ясный вечер, лучшие мечты и самые радужные надежды. Было много случаев, когда казалось, что остается только одно: брать ведрами холодную воду и безжалостно поливать это невыносимое существо, вечно горящее глупым, бестолковым пожаром.

Настойчивые, далеко не нежные, а иногда и довольно жесткие сопротивления коллектива приучили Марусю сдерживаться, но тогда она стала с таким же больным упрямством куражиться и издеваться над самой собой. Маруся обладала счастливой памятью, была умница и собой исключительно хороша: на смуглом лице глубокий румянец, большие черные глаза всегда играли огнями и молниями, а над ними с побеждающей неожиданностью — спокойный, чистый, умный лоб. Но Маруся была уверена, что она безобразна, что она похожа «на арапку», что она ничего не понимает и никогда не поймет. На самое пустячное упражнение она набрасывалась с давно заготовленной злостью:

— Все равно ничего не выйдет! Пристали ко мне — учись! Учите ваших Бурунов. Пойду в прислуги. И зачем меня мучить, если я ни к черту не гожусь?

Наталья Марковна Осипова, человек сентиментальный, с ангельскими глазами и с таким же невыносимо ангельским характером, просто плакала после занятий с Марусей.

— Я ее люблю, я хочу ее научить, а она меня посылает к черту и говорит, что я нахально к ней пристаю. Что мне делать?

Я перевел Марусю в группу Екатерины Григорьевны и боялся последствий этой меры. Екатерина Григорьевна подходила к человеку с простым и искренним требованием.

Через три дня после начала занятий Екатерина Григорьевна привела Марусю ко мне, закрыла двери, усадила дрожащую от злобы свою ученицу на стул и сказала:

— Антон Семенович! Вот Маруся. Решайте сейчас, что с ней делать. Как раз мельнику нужна прислуга. Маруся думает, что из нее только прислуга может выйти. Давайте отпустим ее к мельнику. А есть и другой исход: я ручаюсь, что к следующей осени я приготовлю ее на рабфак, у нее большие способности.

— Конечно, на рабфак,— сказал я.

Маруся сидела на стуле и ненавидящим взглядом следила за спокойным лицом Екатерины Григорьевны.

— Но я не могу допустить, чтобы она оскорбляла меня во время занятий. Я тоже трудящийся человек, и меня нельзя оскорблять. Если она еще один раз скажет

слово «черт» или назовет идиоткой, я заниматься с нею не буду.

Я понимаю ход Екатерины Григорьевны; но уже все ходы были перепробованы с Марусей, и мое педагогическое творчество не пылало теперь никаким воодушевлением. Я посмотрел устало на Марусю и сказал без всякой фальши:

— Ничего не выйдет. И черт будет, и дура, и идиотка. Маруся не уважает людей, и это так скоро не пройдет...

— Я уважаю людей,— перебила меня Маруся.

— Нет, ты никого не уважаешь. Но что же делать? Она наша воспитанница. Я считаю так, Екатерина Григорьевна: вы взрослый, умный и опытный человек, а Маруся девочка с плохим характером. Давайте не будем на нее обижаться. Дадим ей право: пусть она называет вас идиоткой и даже сволочью,— ведь и такое бывало,—а вы не обижайтесь. Это пройдет. Согласны?

Екатерина Григорьевна, улыбаясь, посмотрела на Марусю и сказала просто:

— Хорошо. Это верно. Согласна.

Марусины черные очи глянули в упор на меня и заблестели слезами обиды; она вдруг закрыла лицо косынкой и с плачем выбежала из комнаты.

Через неделю я спросил Екатерину Григорьевну:

— Как Маруся?

— Ничего. Молчит и на вас очень сердита.

А на другой день поздно вечером пришел ко мне Силантий с Марусей и сказал:

— Насилу, это, привел к тебе, как говорится. Маруся, видишь, очень на тебя обижается, Антон Семенович. Поговори, здесь это, с нею.

Он скромно отошел в сторону. Маруся опустила лицо.

— Ничего мне говорить не нужно. Если меня считают сумасшедшей, что ж, пускай считают.

— За что ты на меня обижаешься?

— Не считайте меня сумасшедшей.

— Я тебя и не считаю

— А зачем вы сказали Екатерине Григорьевне?

— Да, это я ошибся. Я думал, что ты будешь ее ругать всякими словами.

Маруся улыбнулась:

— А я ж не ругаю.

— А, ты не ругаешь? Значит, я ошибся. Мне почему-то показалось.

Прекрасное лицо Маруси засветилось осторожной, недоверчивой радостью:

— Вот так вы всегда: нападаете на человека...

Силантий выступил вперед и зажестикулировал шапкой:

— Что же ты к человеку придираешься? Вас это, как говорится, сколько, а он один! Ну, ошибся малость, а ты, здесь это, обижаться тебе не нужно.

Маруся весело и быстро глянула в лицо Силантия и звонко сказала:

— Ты, Силантий, болван, хоть и старый.

И выбежала из кабинета. Силантий развел шапкой и сказал:

— Видишь, какая, здесь это, история.

И вдруг хлопнул шапкой по колену и захохотал:

— Ах, и история ж, будь ты неладна!..

3. ДОМИНАНТЫ

Не успели столяры закрыть окна красного дома, налетела на нас зима. Зима в этом году упала симпатичная: пушистая, с милым характером, без гнилых оттепелей, без изуверских морозов. Кудлатый три дня возился с раздачей колонистам зимней одежды. Конюхам и свинарям дал Кудлатый валенки, остальным колонистам — ботинки, не блиставшие новизной и фасоном, но обладавшие многими другими достоинствами: добротностью материала, красивыми заплатами, завидной вместимостью, так что и две пары портянок находили для себя место. Мы тогда еще не знали, что такое пальто, а носили вместо пальто полужилеты-полупиджаки, стеганные на вате, с ватными рукавами,— наследие империалистической войны,— которые николаевская солдатня остроумно называла «куфайками». На некоторых головах появились шапки, от которых тоже попахивало царским интендантством, но большинству колонистов пришлось и зимой носить бумажные картузы. Сильнее отеплить ор-

ганизмы колонистов мы в то время еще не могли. Штаны и рубашки и на зиму остались те же: из легкой бумажной материи. Поэтому зимой в движениях колонистов наблюдалась некоторая излишняя легкость, позволявшая им даже в самые сильные морозы переноситься с места на место с быстротой метеоров.

Хороши зимние вечера в колонии. В пять часов работы окончены, до ужина еще три часа. Кое-где зажгли керосиновые лампочки, но не они приносят истинное оживление и уют. По спальням и классам начинается топка печей. Возле каждой печи две кучи: кучка дров и кучка колонистов, и те и другие собрались сюда не столько для дела отопления, сколько для дружеских вечерних бесед. Дрова начинают первые, по мере того как проворные руки пацана подкладывают их в печку. Они рассказывают сложную историю, полную занятных приключений и смеха, выстрелов, погони, мальчишеской бодрости и победных торжеств. Пацаны с трудом разбирают их болтовню, так как рассказчики перебивают друг друга и все куда-то спешат, но смысл рассказа понятен и забирает за душу: на свете жить интересно и весело. А когда замирает трескотня дров, рассказчики укладываются в горячий отдых, только шепчут о чем-то усталыми языками,— начинают свои рассказы колонисты.

В одной из групп Ветковский. Он старый рассказчик в колонии, и у него всегда есть слушатели.

— Много есть на свете хорошего. Мы здесь сидим и ничего не видим, а есть на свете такие пацаны, которые ничего не пропустят. Недавно я одного встретил. Был он аж на Каспийском море и по Кавказу гулял. Там такое ущелье есть, и есть скала, так и называется «Пронеси, господи». Потому что другой дороги нет, одна, понимаешь, дорога — мимо этой самой скалы. Один пройдет, а другому не удается: все время камни валятся. Хорошо, если не придется по кумполу, а если стукнет, летит человек прямо в пропасть, никто его не найдет.

Задоров стоит рядом и слушает внимательно и так же внимательно вглядывается в синие глаза Ветковского.

— Костя, а ты бы отправился попробовать, может, тебя «господи» и пронесет?

Ребята поворачивают к Задорову головы, озаренные красным заревом печки.

Костя недовольно вздыхает:

— Ты не понимаешь, Шурка, в чем дело. Посмотреть все интересно. Вот пацан был там...

Задоров открывает свою обычную ехидно-неотразимую улыбку и говорит Косте:

— Я вот этого самого пацана о другом спросил бы... Пора трубу закрывать, ребята.

— О чем спросил бы? — задумчиво говорит Ветковский.

Задоров наблюдает за шустрым мальчиком, гремящим вверху заслонками.

— Я у него спросил бы таблицу умножения. Ведь, дрянь, бродит по свету дармоедом и растет неучем, наверное, и читать не умеет. Пронеси, господи? Таких болванов действительно нужно по башкам колотить. Для них эта самая скала нарочно поставлена!

Ребята смеются, и кто-то советует:

— Нет, Костя, ты уж с нами поживи. Какой же ты болван?

У другой печки сидит на полу, расставил колени и блестит лысиной Силантий и рассказывает что-то длинное:

— ...Мы думали все, как говорится, благополучно. А он, подлец такой, плакал же и целовался, паскуда, а как пришел в свой кабинет, так и нагадил, понимаешь. Взял, здесь это, халуя и в город пустил. Видишь, какая история. На утречко, здесь это, смотрим: жандармы верхом. И люди говорят: пороться нам назначено. А я с братом, как говорится, не любили, здесь это, чтобы нам штаны снимали, и больше никаких данных. Так девки ж моей жалко, видишь, какая история? Ну, думаю, здесь это, девки не тронут...

Сзади Силантия установлены на полу валенки Калины Ивановича, а выше дымится его трубка. Дым от трубки крутым коленом спускается к печке, бурлит двумя рукавами по ушам круглоголового пацана и жадно включается в горячую печную тягу. Калина Иванович подмигивает мне одним глазом и перебивает Силантия:

— Хэ-хэ-хэ! Ты, Силантий, прямо говори,— погладили тебя эти паразиты по тому месту, откуда ноги растут, чи не погладили?

Силантий задирает голову, почти опрокидывается навзничь и заливается смехом:

— Здесь это, погладили, как говорится, Калина Иванович, это ты верно сказал... Из-за девки, будь она неладна.

И у других печей журчащие ручейки повестей, и в классах, и по квартирам. У Лидочки наверняка сидят Вершнев и Карабанов. Лидочка угощает их чаем с вареньем. Чай не мешает Вершневу злиться на Семена:

— Ну, х-хорошо, вчера з-зубоскалил, сегодня з-зубоскалил, а надо же к-к-когда-нибудь и з-з-задуматься...

— Да о чем тебе думать? Чи у тебя жена, чи волы, чи в коморе богато? О чем тебе думать? Живи, тай годи!

— О жизни надо думать, ч-ч-чудак к-к-какой.

— Дурень ты, Колька, ей-ей, дурень! По-твоему думать, так нужно систы в кресло, очи вытрищить и ото... заходытысь думать. У кого голова есть, так тому й так думается. А такому, як ты, само собою нужно чогось поисты такого, щоб думалось...

— Ну, зачем вы обижаете Николая? — говорит Лидочка.— Пусть человек думает, он до чего-нибудь и додумается.

— Хто? Колька додумается? Да никогда в жизни! Колька — знаете, кто такой? Колька ж Иисусик. Вин же «правды шукае». Вы бачилы такого дурня? Ему правда нужна! Он правдою будет чоботы мазать.

От Лидочки Семен и Колька выходят прежними друзьями, только Семен орет песню на всю колонию, а Николай в это время нежно его обнял и уговаривает:

— Р-раз р-революция, понимаешь, так д-должно быть все правильно.

И в моей скромной квартире гости. Я теперь живу с матерью, глубокой старушкой, жизнь которой тихонько струится в последних вечерних плесах, укрытых прозрачными, спокойными туманами. Мать мою все колонисты называют бабушкой. У бабушки сидит Шурка Жевелий, младший брат и без того маленького Митьки Жевелия. Шурка ужасно востроносый. Живет он в колонии давно, но как-то не растет, а больше заостряется в нескольких направлениях: нос у него острый, острые уши, острый подбородок и взгляд тоже острый.

У Шурки всегда имеются отхожие промыслы. Где-нибудь за захолустным кустом в саду у него дощатая загородка, и там живет пара кроликов, а в подвале кочегарки он пристроил вороненка. Комсомольцы на общем собрании иногда обвиняют Шурку в том, что все его хозяйство назначается будто бы для спекуляции и вообще носит частный характер, но Шурка деятельно защищается и грубовато требует:

— А ну, докажи, кому я что продавал? Ты видел, когда продавал?

— А откуда у тебя деньги?

— Какие деньги?

— А за какие деньги ты вчера покупал конфеты?

— Смотри ты, деньги! Бабушка дала десять копеек.

Против бабушки в общем собрании не спорят. Возле бабушки всегда вертится несколько пацанов. Они иногда по ее просьбе исполняют небольшие поручения в Гончаровке, но стараются это делать так, чтобы я не видел. А когда наверное известно, что я занят и скоро в квартире меня ожидать нельзя, у бабушки за столом сидят двое-трое и пьют чай или ликвидируют какой-нибудь компот, который бабушка варила для меня, но который мне съесть было некогда. По стариковской никчемной памяти, бабушка даже имен всех своих друзей не знала, но Шурку отличала от других, потому что Шурка старожил в колонии и потому что он самый энергичный и разговорчивый.

Сегодня Шурка пришел к бабушке по особым и важным причинам.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Шура. Что это тебя так долго не видно было? Болен был, что ли?

Шурка усаживается на табурет и хлопает козырьком когда-то белой фуражки по ситцевому новому колену. На голове у Шурки топорщатся острые, после давней машинки, белобрысые волосы. Шурка задирает нос и рассматривает невысокий потолок.

— Нет, я не был болен. А у меня кролик заболел.

Бабушка сидит на кровати и роется в своем основном богатстве — в деревянной коробке, в которой лоскутики, нитки, клубочки — старые запасы бабушкины.

— Кролик заболел? Бедный! Как же ты?

— Ничего не поделаешь,— говорит Шурка серьезно, с большим трудом удерживая волнение в правом прищуренном глазу.

— А полечить если? — смотрит на Шурку бабушка.

— Полечить нечем,— шепчет Шурка.

— Лекарство нужно какое?

— Если бы пшена достать... полстакана пшена, и все.

— Хочешь, Шура, чаю? — спрашивает бабушка.— Смотри, там чайник на плите, а вон стаканы. И мне налей.

Шурка осторожно укладывает фуражку на табуретку и неловко возится у высокой плиты. А бабушка с трудом подымается на цыпочки и достает с полки розовый мешочек, в котором хранится у нее пшено.

Самая веселая и самая крикливая компания собирается в колесном сарайчике Козыря. Козырь здесь и спит. В углу сарайчика низенькая самоделковая печка, на печке чайник. В другом углу раскладушка, покрытая пестрым одеялом. Сам Козырь сидит на кровати, а гости — на чурбачках, на производственном оборудовании, на горках ободьев. Все настойчиво стараются вырвать из души Козыря обильные запасы религиозного опиума, которые он накопил за свою жизнь.

Козырь печально улыбается:

— Нехорошо, детки, нехорошо, господи, прости. Разгневается господь...

Но пока собрался господь разгневаться, разгневался Калина Иванович. Он из темного просвета дверей выступает на свет и размахивает трубкой:

— Это что ж вы такое над старым производите? Какое тебе дело до Иисуса Христа, скажи мне, пожалуйста? Я тебя как захвачу отседова, так не только Христу, а и Николаю-угоднику молебны будешь служить! Ежели вас советская власть ослобонила от богов, так и радуйся молча, а не то что куражиться сюда прийшов.

— Спаси Христос, Калина Иванович, не даете в обиду старика...

— Если что, ты ко мне жалиться приходи. С этими босяками без меня не управишься, на своих христосов не очень надейся.

Ребята делали вид, будто они напугались Калины Ивановича, и из колесного сарайчика спешили разойтись по многим другим колонийским уголкам. Теперь не было у нас больших спален-казарм, а расположились ребята в небольших комнатах по шесть — восемь человек. В этих спальнях отряды колонистов сбились крепче, ярче стали выделяться характерные черты каждой отдельной группы, и работать с ними стало интересней. Появился одиннадцатый отряд — отряд малышей, организованный благодаря настойчивому требованию Георгиевского. Он возился с ними по-прежнему неустанно: холил, купал, играл и журил, и баловал, как мать, поражая своей энергией и терпением закаленные души колонистов. Только эта изумительная работа Георгиевского немного скрашивала тяжелое впечатление, возникавшее благодаря всеобщей уверенности, что Георгиевский — сын иркутского губернатора.

Прибавилось в колонии воспитателей. Искал я настоящих людей терпеливо и кое-что выуживал из довольно бестолкового запаса педагогических кадров. На профсоюзном учительском огороде за городом обнаружил я в образе сторожа Павла Ивановича Журбина. Человек это был образованный, добрый, вымуштрованный, настоящий стоик и джентльмен. Он понравился мне благодаря особому своему качеству: у него была чисто гурманская любовь к человеческой природе; он умел со страстью коллекционера говорить об отдельных чертах человеческих характеров, о неуловимых завитках личности, о красотах человеческого героизма и о темных тайнах человеческой подлости. Обо всем этом он много думал и терпеливо высматривал в людской толпе признаки каких-то новых коллективных законов. Я видел, что он должен непременно заблудиться в своем дилетантском увлечении, но мне нравилась искренняя и чистая натура этого человека, и за это я простил ему штабс-капитанские погоны 35-го пехотного Брянского полка, которые, впрочем, он спорол еще до Октября, не испачкав своей биографии никакими белогвардейскими подвигами и получив за это в Красной армии звание командира роты запаса.

Вторым был Зиновий Иванович Буцай. Ему было лет двадцать семь, но он только что окончил художествен-

ную школу и к нам был рекомендован как художник. Художник был нам нужен и для школы, и для театра, и для всяких комсомольских дел.

Зиновий Иванович Буцай поразил нас крайним выражением целого ряда качеств. Он был чрезвычайно худ, чрезвычайно черен и говорил таким чрезвычайно глубоким басом, что с ним трудно было разговаривать: какие-то ультрафиолетовые звуки. Зиновий Иванович отличался прямо невиданным спокойствием и невозмутимостью. Он приехал к нам в конце ноября, и мы с нетерпением ожидали, какими художествами может вдруг обогатиться колония. Но Зиновий Иванович, еще ни разу не взявшись за карандаш, поразил нас иной стороной своей художественной натуры.

Через несколько дней после его приезда колонисты сообщили мне, что каждое утро он выходит из своей комнаты голый, набросив на плечи пальто, и купается в Коломаке. В конце ноября Коломак уже начинал замерзать, а скоро обратился в колонийский каток. Зиновий Иванович при помощи Отченаша проделал специальную прорубь и каждое утро продолжал свое ужасное купанье. Через короткое время он слег в постель и пролежал в плеврите недели две. Выздоровел и снова полез в полонку. В декабре у него был бронхит и еще что-то. Буцай пропускал уроки и нарушал наши школьные планы. Я, наконец, потерял терпение и обратился к нему с просьбой прекратить эту глупость.

Зиновий Иванович в ответ захрипел:

— Купаться я имею право, когда найду нужным. В кодексе законов о труде это не запрещается. Болеть я тоже имею право, и таким образом ко мне нельзя предъявить никаких официальных обвинений.

— Голубчик, Зиновий Иванович, так я же неофициально. Для чего вам мучить себя? Жалко вас просто по-человечески.

— Ну, если так, так я вам объясню: у меня здоровье слабое, организм мой очень халтурно сделан. Жить с таким организмом, вы понимаете, противно. Я решил твердо: или я его закалю так, что можно будет жить спокойно, или, черт с ним, пускай пропадает. В прошлом году у меня было четыре плеврита, а в этом году уже декабрь, а был только один. Думаю, что больше двух не

будет. Я нарочно пошел к вам, здесь у вас речка под боком.

Вызывал я и Силантия и кричал на него:

— Это что за фокусы? Человек с ума сходит, а ты для него проруби делаешь!..

Силантий виновато развел руками:

— Ты, здесь это, не сердись, Антон Семенович, иначе, понимаешь, нельзя. Один такой вот был у меня... Ну, видишь, захотелось ему на тот свет. Топиться, здесь это, приспособился. Как отвернешься, а он, сволочь, уже в реке. Я его вытаскивал, вытаскивал, как говорится, уморился даже. А он, смотри ты, такая сволочь была вредная, взял и повесился. А мне, здесь это, и в голову не пришло. Видишь, какая история. А этому я не мешаю, и больше никаких данных.

Зиновий Иванович лазил в прорубь до самого мая месяца. Колонисты сначала хохотали над претензиями этого дохлого человека, потом прониклись к нему уважением и терпеливо ухаживали за ним во время его многочисленных плевритов, бронхитов и обыкновенных простуд.

Но бывали целые недели, когда закаливание организма Зиновия Ивановича не сопровождалось повышением температуры, и тогда проявлялась его действительная художественная натура. Вокруг Зиновия Ивановича скоро организовался кружок художников; они выпросили у совета командиров маленькую комнатку в мезонине и устроили ателье.

В журчащий зимний вечер в ателье Буцая идет самая горячая работа, и стены мезонина дрожат от смеха художников и гостей-меценатов.

Под большой керосиновой лампой над огромным картоном работает несколько человек. Почесывая черенком кисти в угольно-черной голове, Зиновий Иванович рокочет, как протодиакон на похмелье:

— Прибавьте Федоренку сепии. Это же грак, а вы из него купчиху сделали. Ванька, всегда ты кармин лепишь, где надо и где не надо.

Рыжий, веснушчатый, с вогнутым носом, Ванька Лапоть, передразнивая Зиновия Ивановича, отвечает хриплым деланным басом:

— Сепию всю на Лешего истратили.

Стало шумно по вечерам и в моем кабинете. Недавно из Харькова приехали две студентки и привезли такую бумажку:

«Харьковский педагогический институт командирует тт. К. Варскую и Р. Ландсберг для практического ознакомления с постановкой педагогической работы в колонии имени М. Горького».

Я с большим любопытством встретил этих представителей молодого педагогического поколения. И К. Варская и Р. Ландсберг были завидно молоды, каждой не больше двадцати лет. К. Варская — очень хорошенькая полная блондинка, маленькая и подвижная; у нее нежный и тонкий румянец, какой можно сделать только акварелью. Все время сдвигая еле намеченные тонкие брови и волевым усилием прогоняя с лица то и дело возникающую улыбку, она учинила мне настоящий допрос:

— У вас есть педологический кабинет?

— Педологического кабинета нет.

— А как вы изучаете личность?

— Личность ребенка? — спросил я по возможности серьезно.

— Ну, да. Личность вашего воспитанника.

— А для чего ее изучать?

— Как «для чего»? А как же вы работаете? Как вы работаете над тем, чего вы не знаете?

К. Варская пищала энергично и с искренней экспрессией и все время оборачивалась к подруге. Р. Ландсберг, смуглая, с черными восхитительными косами, опускала глаза, снисходительно-терпеливо сдерживая естественное негодование.

— Какие доминанты у ваших воспитанников преобладают? — строго в упор спросила К. Варская.

— Если в колонии не изучают личность, то о доминантах спрашивать лишнее,— тихо произнесла Р. Ландсберг.

— Нет, почему же? — сказал я серьезно.— О доминантах я могу кое-что сообщить. Преобладают те самые доминанты, что и у вас...

— А вы откуда нас знаете? — недружелюбно спросила К. Варская.

— Да вот вы сидите передо мной и разговариваете.

— Ну, так что же?

— Да ведь я вас насквозь вижу. Вы сидите здесь как будто стеклянные, и я вижу все, что происходит внутри вас.

К. Варская покраснела, но в этот момент в кабинет ввалились Карабанов, Вершнев, Задоров и еще какие-то колонисты.

— Сюда можно, чи тут секреты?

— А как же! — сказал я.— Вот познакомьтесь — наши гости, харьковские студенты.

— Гости? От здорово! А как же вас зовут?

— Ксения Романовна Варская.

— Рахиль Семеновна Ландсберг.

Семен Карабанов приложил руку к щеке и озабоченно удивился:

— Ой, лышенько, на что же так длинно? Вы, значит, просто Оксана?

— Ну, все равно,— согласилась К. Варская.

— А вы — Рахиль, тай годи?

— Пусть,— прошептала Р. Ландсберг.

— Вот. Теперь можно вам и вечерять дать. Вы студенты?

— Да.

— Ну, так и сказали б, вы ж голодни, як той... як його? Як бы цэ були Вершнев с Задоровым, сказали бы: як собака. А то... ну, скажем, как кошенята.

— А мы и в самом деле голодны,— засмеялась Оксана.— У вас и умыться можно?

— Идем. Мы вас сдадим девчатам: там что хотите, то и делайте.

Так произошло наше первое знакомство. Каждый вечер они приходили ко мне, но на самую короткую минутку. Во всяком случае, разговор об изучении личности не возобновлялся,— Оксане и Рахили было некогда. Ребята втянули их в безбрежное море колонийских дел, развлечений и конфликтов, познакомили с целой кучей настоящих проклятых вопросов. То и дело возникавшие в коллективе водовороты и маленькие водопадики обойти живому человеку было трудно,— не успеешь оглянуться, уже завертело тебя и потащило куда-то. Иногда, бывало, притащит прямо в мой кабинет и выбросит на берег.

В один из вечеров притащило интересную группу: Оксана, Рахиль, Силантий и Братченко.

Оксана держала Силантия за рукав и хохотала:

— Идите, идите, чего упираетесь?

Силантий действительно упирался.

— Он ведет разлагающую линию у вас в колонии, а вы и не видите.

— В чем дело, Силантий?

Силантий недовольно освободил рукав и погладил лысину:

— Да видишь, какое дело: сани, здесь это, оставили на дворе. Семен и вот они, здесь это, придумали: с горки, видишь, кататься. Антон, вот он самый здесь, вот пусть он сам скажет.

Антон сказал:

— Причепились и причепились: кататься! Ну, Семену я сразу дал чересседельником, он и ушел, а эти никаких, тащат сани. Ну, что с ними делать? Чересседельником — плакать будут. А Силантий им сказал...

— Вот, вот! — возмущалась Оксана.— Пускай Силантий повторит, что он сказал.

— Да чего ж такого! Правду, здесь это, сказал, и никаких данных. Говорю, замуж тебе хочется, а ты будешь, здесь это, сани ломать. Видишь, какая история...

— Не все, не все...

— А что ж еще? Все, как говорится.

— Он говорит Антону: ты ее запряги в сани да прокатись на Гончаровку, сразу тише станет. Говорил?

— Здесь это, и теперь скажу: здоровые бабы, а делать им нечего, у нас лошадей не хватает, видишь, какая история.

— Ах! — крикнула Оксана.— Уходите, уходите отсюда! Марш!

Силантий засмеялся и выбрался с Антоном из кабинета. Оксана повалилась на диван, где уже давно дремала Рахиль.

— Силантий — интересная личность,— сказал я.— Вот бы вы занялись ее изучением.

Оксана ринулась из кабинета, но в дверях остановилась и сказала, передразнивая кого-то:

— Насквозь вижу: стеклянный!

И убежала, сразу за дверями попав в какую-то гущу колонистов; услышал я только, как зазвенел ее голос и унесся в привычном для меня колонийском вихрике.

— Рахиль, идите спать.

— Что? Разве я хочу спать? А вы?

— Я ухожу.

— Ага, ну... конечно...

Она, по-детски кулачком протирая левый глаз, пожала мне руку и выбралась из кабинета, цепляясь плечом за край двери.

4. ТЕАТР

То, что рассказано в предыдущей главе, составляло только очень незначительную часть зимнего вечернего времени. Теперь даже немного стыдно в этом признаться, но почти все свободное время мы приносили в жертву театру.

Во второй колонии мы завоевали настоящий театр. Трудно даже описать тот восторг, который охватил нас, когда мы получили в полное свое распоряжение мельничный сарай.

В нашем театре можно было поместить до шестисот человек,— зрителей нескольких сел. Значение драмкружка очень повышалось, повышались и требования к нему.

Правда, были в театре и некоторые неудобства. Калина Иванович считал даже эти неудобства настолько вредными, что предлагал обратить театр в подкатный сарай:

— Если ты поставишь воз, то ему от холода ничего не будет, для него не нужно печку ставить. А для публики печи надо.

— Ну, и поставим печи.

— Поможет, як бидному рукопожатия. Ты ж видав, что там потолка нету, а крыша железная прямо без всякой подкладки. Печки топить — значит нагревать царство небесное и херувимов и серахвимов, а вовсе не публику. И какие ты печки поставишь? Тут же нужно в крайнем разе чугунки ставить, так кто же тебе разрешить чугунки, это ж готовый пожар: начинай представления и тут же начинай поливать водой.

Но мы не согласились с Калиной Ивановичем, тем более, что и Силантий говорил:

— Такая, видишь, история: бесплатно, здесь это, представление, да еще и пожар тут же без клопот,— никто, здесь это, обижаться не будет.

Печи мы поставили чугунные и железные и топили их только во время представления. Нагреть театральный воздух они никогда не были в состоянии, все тепло от них немедленно улетало вверх и вылезало наружу через железную крышу. И поэтому, хотя самые печи накалялись всегда докрасна, публика предпочитала сидеть в кожухах и пальто, беспокоясь только о том, чтобы случайно не загорелся бок, обращенный к печке.

И пожар в нашем театре был только один раз, да и то не от печки, а от лампы, упавшей на сцене. Была при этом паника, но особого рода: публика осталась на местах, но колонисты все полезли на сцену в неподдельном восторге, и Карабанов на них кричал:

— Ну что вы за идиоты, чи вы огня не бачили?

Сцену мы построили настоящую: просторную, высокую, с сложной системой кулис, с суфлерской будкой. За сценой осталось большое свободное пространство, но мы не могли им воспользоваться. Чтобы организовать для играющих сносную температуру, мы отгородили от этого пространства небольшую комнатку, поставили в ней буржуйку и там гримировались и одевались, кое-как соблюдая очередь и разделение полов. На остальном закулисном пространстве и на самой сцене царил такой же мороз, как и на открытом воздухе.

В зрительном зале стояло несколько десятков рядов дощатых скамей, необозримое пространство театральных мест, невиданное культурное поле, на котором только сеять да жать.

Театральная наша деятельность во второй колонии развернулась очень быстро и на протяжении трех зим, никогда ни на минуту не понижая темпов и размаха, кипела в таких грандиозных размерах, что я сам сейчас с трудом верю тому, что пишу.

За зимний сезон мы ставили около сорока пьес, и в то же время мы никогда не гонялись за каким-либо клубным облегчением и ставили только самые серьезные большие пьесы в четыре-пять актов, повторяя обычно ре-

пертуар столичных театров. Это было ни с чем не сравнимое нахальство, но, честное слово, это не было халтурой.

Уже с третьего спектакля наша театральная слава разнеслась далеко за пределы Гончаровки. К нам приходили селяне из Пироговки, из Грабиловки, Бабичевки, Гонцов, Вацив, Сторожевого, с Воловьих, Чумацких, Озерских хуторов, приходили рабочие из пригородных поселков, железнодорожники с вокзала и паровозного завода, а скоро начали приезжать и городские люди: учителя, вообще наробразовцы, военные, совработники, кооператоры и снабженцы, просто молодые люди и девушки, знакомые колонистов и знакомые знакомых. В конце первой зимы, по субботам, с обеда вокруг театрального сарая располагался табор дальних приезжих. Усатые люди в серяках и шубах распрягали лошадей, накрывали их ряднами и попонами, гремели ведрами у колодца с журавлем, а в это время их спутницы с головами, закутанными до глаз, потанцевавши возле саней, чтобы нагреть нахолодевшие за дорогу ноги, бежали в спальни к нашим девчатам, покачиваясь на высоких кованых каблучках, чтобы погреться и продолжить завязавшееся недавно знакомство. Многие из них вытаскивали из-под соломы кошелки и узелки. Направляясь в далекую театральную экскурсию, они брали с собой пищу: пироги, паляныци, перерезанные накрест квадраты сала, спиральные завитки колбасы и кендюхи [1]. Значительная часть их запасов предназначалась для угощения колонистов, и бывали иногда такие пиршественные дни, пока бюро комсомольское категорически не запретило принимать от приезжих зрителей какие бы то ни было подарки.

В субботу театральные печи растапливались с двух часов, чтобы дать возможность приезжим погреться. Но чем ближе завязывались знакомства, тем больше проникали гости в помещения колонии, и даже в столовой можно было видеть группу гостей, особенно приятных и, так сказать, общих, которых дежурные находили возможным пригласить к столу.

Для колонийской кассы спектакли доставались довольно тяжело. Костюмы, парики, всякие приспособле-

---

[1] Кендюх — сорт колбасы.

ния стоили нам рублей сорок — пятьдесят. Значит, в месяц это составляло около двухсот рублей. Это был очень большой расход, но мы ни разу не потеряли гордости и не назначили ни одного гроша в виде платы за зрелище. Мы рассчитывали больше всего на молодежь, а селянская молодежь, особенно девчата, никогда не имела карманных денег.

Сначала вход в театр был свободным, но скоро наступило время, когда театральный зал потерял способность вместить всех желающих, и тогда были введены входные билеты, распределявшиеся заранее между комсомольскими ячейками, сельсоветами и специальными нашими полпредами на местах.

Неожиданно для себя мы встретились со страшной жадностью селянства к театру. Из-за билетов происходили постоянные ссоры и недоразумения между отдельными селами. К нам приезжали возбужденные секретари и разговаривали довольно напористо:

— А чего это нам передали на завтра только тридцать билетов?

Заведующий театральными билетами Жорка Волков язвительно мотает головой перед лицом секретаря:

— А того, что и это для вас много.

— Много? Вы здесь сидите, бюрократы, а знаете, что много?

— Мы здесь сидим и видим, как поповны ходят по нашим билетам.

— Поповны? Какие поповны?

— Ваши поповны, рыжие такие, мордатые.

Узнавши свою поповну, секретарь понижает тон, но не сдается:

— Ну, хорошо, две поповны... Почему же уменьшили на двадцать билетов? Было пятьдесят, а теперь тридцать.

— Потеряли доверие,— зло отвечает Жорка.— Две поповны, а сколько попадей, лавочниц, куркулек — мы не считали. Вы там загниваете, а мы должны считать?

— А какой же сукин сын передал, вот интересно?

— Вот и сукины сыны... тоже не считаем. Вам и тридцать много.

Секретарь, как ошпаренный, спешит домой расследовать обнаруженное загнивание, но на его место прилетает новый протестант:

— Товарищи, что вы делаете? У нас пятьдесят комсомольцев, а вы прислали пятнадцать штук.

— По данным шестого «П» сводного отряда, в прошлый раз от вас приехало только пятнадцать трезвых комсомольцев, да и то из них четыре старых бабы, а остальные были пьяные.

— Ничего подобного, это тут наврали, что пьяные. Наши работают на спиртовом заводе, так от них действительно пахло...

— Проверяли: изо рта пахнет, нечего на завод сворачивать...

— Да я вам привезу, сами посмотрите, от них всегда пахнет, а вы придираетесь и выдумываете. Что это за загибы!

— Брось! Наши разберут всегда, где завод, а где пьяный.

— Ну прибавь хоть пять билетов,— как вам не стыдно!.. Вы тут разным городским барышням да знакомым раздаете, а комсомольцы у вас на последнем месте...

Мы вдруг увидели, что театр — это не наше развлечение или забава, но наша обязанность, неизбежный общественный налог, отказаться от уплаты которого было невозможно.

В комсомольском бюро задумались крепко. Драматический кружок на своих плечах не мог вынести такую нагрузку. Невозможно было представить, чтобы даже одна суббота прошла без спектакля, причем каждую неделю — премьера. Повторить постановку — это значило бы спустить флаг, предложить нашим ближайшим соседям, постоянным посетителям, испорченный вечер. В драмкружке начались всякие истории.

Даже Карабанов взмолился:

— Да что я? Нанялся, что ли? На той неделе жреца играл, на этой генерала, а теперь говорят — играй партизана. Что же я — двужильный или как? Каждый вечер репетиция до двух часов, а в субботу и столы тягай, и декорации прибивай...

Коваль опирается руками на стол и кричит:

— Может, тебе диван поставить под грушей, та ты полежишь трохи?[1] Нужно!

— Нужно, так и организуй, чтобы все работали.

— И организуем.

— И организуй.

— Давай совет командиров!

На совете командиров бюро предложило: никаких драмкружков, всем работать — и все.

В совете всегда любили дело оформить приказом. Оформили так:

§ 5

На основании постановления совета командиров считать работу по постановке спектаклей такой работой, которая обязательна для каждого колониста, а потому для постановки спектакля «Приключения племени ничевоков» назначаются такие сводные отряды...

Дальше следовало перечисление сводных отрядов, как будто дело касалось не высокого искусства, а полки бураков или окучивания картофеля. Профанация искусства начиналась с того, что вместо драмкружка появился шестой «А» сводный отряд под командой Вершнева в составе двадцати восьми человек... на данный спектакль.

А сводный отряд — это значит: точный список и никаких опозданий, вечерний рапорт с указанием опоздавших и прочее, приказ командира, в ответ обычное «есть» с салютом рукой, а в случае чего — отдуваться в совете командиров или на общем собрании, как за нарушение колонийской дисциплины, в лучшем случае разговоры со мной и несколько нарядов вне очереди или домашний арест в выходной день.

Это была действительно реформа. Драмкружок ведь организация добровольная, здесь всегда есть склонность к некоторому излишнему демократизму, к текучести состава, драмкружок всегда страдает борьбой вкусов и претензий. Это заметно в особенности во время выбора пьесы и распределения ролей. И в нашем драмкружке иногда начинало выпирать личное начало.

---

[1] Трохи — немного.

Постановление бюро и совета командиров было принято колонийским обществом как дело, само собой понятное и не вызывающее сомнений. Театр в колонии — это такое же дело, как и сельское хозяйство, как и восстановление имения, как порядок и чистота в помещениях. Стало безразличным с точки зрения интересов колонии, какое именно участие принимает тот или другой колонист в постановке,— он должен делать то, что от него требуется.

Обыкновенно на воскресном совете командиров я докладывал, какая идет пьеса в следующую субботу и какие колонисты желательны в роли артистов. Все эти колонисты сразу зачислялись в шестой «А» сводный, из них назначался командир. Все остальные колонисты разбивались на театральные сводные отряды, носившие всегда номер шестой и действовавшие до конца одной постановки. Были такие сводные:

Шестой «А» — артисты.
Шестой «П» —публика.
Шестой «О»—одежда.
Шестой горячий — отопление.
Шестой «Д» — декорация.
Шестой «Р»—реквизит.
Шестой «С»— освещение и эффекты.
Шестой «У» — уборка.
Шестой «Ш» — шумы («шухеры», по-нашему).
Шестой «З» — занавес.

Если принять во внимание, что до поры до времени колонистов было всего восемьдесят человек, то для каждого станет ясным, что ни одного свободного колониста остаться не могло, а если пьеса выбиралась с большим числом действующих лиц, то наших сил просто не хватало. Составляя сводные отряды, совет командиров, разумеется, старался исходить из индивидуальных желаний и наклонностей, но это не всегда удавалось; часто бывало и так, что колонист заявлял:

— Почему меня назначили в шестой «А»? Я ни разу не играл.

Ему отвечали:

— Что это за граковские разговоры? Всякому человеку приходится когда-нибудь играть первый раз.

В течение недели все эти сводные, и в особенности их командиры, в свободные часы метались по колонии и даже по городу, «как соленые зайцы». У нас не было моды принимать во внимание разные извинительные причины, и поэтому комсводам часто приходилось очень туго. Правда, в городе мы имели знакомства, и нашему делу многие сочувствовали. Поэтому, например, мы всегда доставали хорошие костюмы для какой угодно пьесы, но если и не доставали, то шестые «О» сводные умели их делать для любой эпохи и в любом количестве из разных материалов и вещей, находящихся в колонии. При этом считалось, что не только вещи колонии, но и вещи сотрудников находятся в полном распоряжении наших театральных сводных. Например, шестой «Р» сводный всегда был убежден, что реквизит потому так и называется, что он реквизируется из квартир сотрудников. По мере развития нашего дела образовались в колонии и некоторые постоянные склады. Пьесы с выстрелами и вообще военные мы ставили часто, у нас образовался целый арсенал, а кроме того, набор военных костюмов, погон и орденов. Постепенно из колонийского коллектива выделялись и специалисты, не только актеры, но и другие: были у нас замечательные пулеметчики, которые при помощи изобретенных ими приспособлений выделывали самую настоящую пулеметную стрельбу, были артиллеристы, Ильи-пророки, у которых хорошо выходили гром и молния.

На разучивание пьесы полагалась одна неделя. Сначала мы пытались делать, как у людей: переписывали роли и старались их выучить, но потом эту затею бросили: ни переписывать, ни учить было некогда, ведь у нас была еще обычная колонийская работа и школа,— в первую очередь все-таки нужно было учить уроки. Махнув рукой на всякие театральные условности, мы стали играть под суфлера и хорошо сделали. У колонистов выработалось исключительное умение схватывать слова суфлера, мы даже позволяли себе роскошь бороться с отсебятинами и вольностями на сцене. Но для того, чтобы спектакль проходил гладко, мне пришлось к своим обязанностям режиссера прибавить еще суфлерские функции, ибо от суфлера требовалось не только подавать текст, но и вообще дирижировать сценой: поправлять мизансцены,

указывать ошибки, командовать стрельбой, поцелуями и смертями.

Недостатка в актерах у нас не было. Среди колонистов нашлось много способных людей. Главными деятелями сцены были: Петр Иванович Горович, Карабанов, Ветковский, Буцай, Вершнев, Задоров, Маруся Левченко, Кудлатый, Коваль, Глейзер, Лапоть.

Мы старались выбирать пьесы с большим числом действующих лиц, так как многие колонисты хотели играть, и нам было выгодно увеличить число умеющих держаться на сцене. Я придавал большое значение театру, так как благодаря ему сильно улучшался язык колонистов и вообще сильно расширялся горизонт. Но иногда нам не хватало актеров, и в таком случае мы приглашали и сотрудников. Один раз даже Силантия выпустили на сцену. На репетициях он показал себя малоспособным актером, но так как ему нужно было сказать только одну фразу: «Поезд опаздывает на три часа», то особенного риска не было. Действительность превзошла наши ожидания.

Силантий вышел вовремя и в порядке, но сказал так:

— Поезд, здесь это, опаздывает на три часа, видишь, какая история.

Реплика произвела сильнейшее впечатление на публику, но это еще не беда; еще более сильное впечатление она произвела на толпу беженцев, ожидавших поезда на вокзале. Беженцы закружили по сцене в полном изнеможении, никакого внимания не обращая на мои призывы из суфлерской будки, тем более, что и я оказался человеком впечатлительным. Силантий с минуту наблюдал все это безобразие, потом рассердился:

— Вам говорят, олухи, как говорится! На три часа, здесь это, поезд опоздал... чего обрадовались?

Беженцы с восторгом прислушивались к речи Силантия и в панике бросились со сцены.

Я пришел в себя и зашептал:

— Убирайся к чертовой матери! Силантий, уходи к дьяволу!

— Да видишь, какая история...

Я поставил книжку на ребро — знак закрыть занавес.

Трудно было доставать артисток. Из девочек кое-как могли играть Левченко и Настя Ночевная, из персона-

ла — только Лидочка. Все эти женщины не были рождены для сцены, очень смущались, наотрез отказывались обниматься и целоваться, даже если это до зарезу полагалось по пьесе. Обходиться же без любовных ролей мы никак не могли. В поисках артисток мы перепробовали всех жен, сестер, тетей и других родственниц наших сотрудников и мельничных, упрашивали знакомых в городе и еле-еле сводили концы с концами. Поэтому Оксана и Рахиль на другой же день по приезде в колонию уже играли на репетиции, восхищая нас ярко выраженной способностью целоваться без малейшего смущения.

Однажды нам удалось сагитировать случайную зрительницу, знакомую каких-то мельничных, приехавшую из города погостить. Она оказалась настоящей жемчужиной: красивая, голос бархатный, глаза, походка — все данные для того, чтобы играть развращенную барыню в какой-то революционной пьесе. На репетициях мы таяли от наслаждения и ожидания поразительной премьеры. Спектакль начался с большим подъемом, но в первом же антракте за кулисы пришел муж жемчужины, железнодорожный телеграфист, и сказал жене в присутствии всего ансамбля:

— Я не могу позволить тебе играть в этой пьесе. Идем домой.

Жемчужина перепугалась и прошептала:

— Как же я пойду? А пьеса?

— Мне никакого дела нет до пьесы. Идем! Я не могу позволить, чтобы тебя всякий обнимал и таскал по сцене.

— Но... как же это можно?

— Тебя раз десять поцеловали только за одно действие. Что это такое?

Мы сначала даже опешили. Потом пробовали убедить ревнивца.

— Товарищ, так на сцене поцелуй ничего не значит,— говорил Карабанов.

— Я вижу, значит или не значит,— что я, слепой, что ли? Я в первом ряду сидел...

Я сказал Лаптю:

— Ты человек разбитной, уговори его как-нибудь.

Лапоть приступил честно к делу. Он взял ревнивца за пуговицу, посадил на скамью и зажурчал ласково:

— Какой вы чудак, такое полезное, культурное дело! Если ваша жена для такого дела с кем-нибудь и поцелуется, так от этого только польза.

— Для кого польза, а для меня отнюдь не польза,— настаивал телеграфист.

— Так для всех польза.

— По-вашему выходит: пускай все целуют мою жену?

— Чудак, так это ж лучше, чем если один какой-нибудь пижон найдется?

— Какой пижон?

— Да бывает... А потом смотрите: здесь же перед всеми, и вы видите. Гораздо хуже ведь, если где-нибудь под кустиком, а вы и знать не будете.

— Ничего подобного!

— Как «ничего подобного»? Ваша жена так умеет хорошо целоваться,— что же вы думаете, с таким талантом она будет пропадать? Пускай лучше на сцене...

Муж с трудом согласился с доводами Лаптя и с зубовным скрежетом разрешил жене окончить спектакль, при одном условии, чтобы поцелуи были «ненастоящие». Он ушел обиженный. Жемчужина была расстроена. Мы боялись, что спектакль будет испорчен. В первом ряду сидел муж и всех гипнотизировал, как удав. Второй акт прошел, как панихида, но, к общей радости, на третьем акте мужа в первом ряду не оказалось. Я никак не мог догадаться, куда он делся. Только после спектакля дело выяснилось. Карабанов скромно сказал:

— Я ему посоветовал уйти. Он сначала не хотел, но потом послушался.

— Как же ты сделал?

Карабанов зажег глаза, устроил чертячью морду и зашипел:

— Слухайте! Краще давайте по чести. Сегодня все будет добре, но если вы зараз не пидэтэ, честне колонийсько слово, мы вам роги наставимо. У нас таки хлопцы, що не встоить ваша жинка.

— Ну и что? — радостно заинтересовались актеры.

— Ничего. Он только сказал: «Смотрите же, вы дали слово» — и перешел в последний ряд.

Репетиции у нас происходили каждый день и по всей пьесе целиком. Спали мы в общем недостаточно. Нужно

принять во внимание, что многие наши актеры еще и ходить по сцене не умели, поэтому нужно было заучивать на память целые мизансцены, начиная от отдельного движения рукой или ногой, от отдельного положения головы, взгляда, поворота. На это я и обращал внимание, надеясь, что текст все равно обеспечит суфлер. К субботнему вечеру пьеса считалась готовой.

Нужно все-таки сказать, что мы играли не очень плохо,— многие городские люди были довольны нашими спектаклями. Мы старались играть культурно, не пересаливали, не подделывались под вкусы публики, не гонялись за дешевым успехом. Пьесы ставили украинские и русские.

В субботу театр оживал с двух часов дня. Если было много действующих лиц, Буцай начинал гримировать сразу после обеда; помогал ему и Петр Иванович. От двух до восьми часов они могли приготовить к игре до шестидесяти человек, а после этого уже гримировались сами.

По части оформления спектакля колонисты были не люди, а звери. Если полагалось иметь на сцене лампу с голубым абажуром, они обыскивали не только квартиры сотрудников, но и квартиры знакомых в городе, а лампу с голубым абажуром доставали непременно. Если на сцене ужинали, так ужинали по-настоящему, без какого бы то ни было обмана. Этого требовала не только добросовестность шестого «Р» сводного, но и традиция. Ужинать на сцене при помощи подставных блюд наши артисты считали недостойным для колонии. Поэтому иногда нашей кухне доставалось: приготовлялась закуска, жарилось жаркое, пеклись пироги или пирожные. Вместо вина добывалось ситро.

В суфлерской будке я всегда трепетал во время прохождения ужина: актеры в таком моменте слишком увлекались игрой и переставали обращать внимание на суфлера, затягивая сцену до того момента, когда уже на столе ничего не оставалось. Обыкновенно мне приходилось ускорять темпы замечаниями такого рода:

— Да довольно вам... слышите? Кончайте ужин, черт бы вас побрал!

Артисты поглядывали на меня с удивлением, показывали глазами на недоеденного гуся и оканчивали ужин

только тогда, когда я доходил до белого каления и шипел:

— Карабанов, вон из-за стола! Семен, да говори же, подлец: «Я уезжаю».

Карабанов наскоро глотает непережеванного гуся и говорит:

— Я уезжаю.

А за кулисами в перерыве укоряет меня:

— Антон Семенович, ну как же вам не стыдно! Колы приходится того гуся исты, и то не дали...

Обыкновенно же артисты старались на сцене не задерживаться, ибо на сцене холодно, как на дворе.

В пьесе «Бунт машин» Карабанову нужно было целый час торчать на сцене голому, имея только узенькую повязку на бедрах. Спектакль проходил в феврале, а, на наше несчастье, морозы стояли до тридцати градусов. Екатерина Григорьевна требовала снятия спектакля, уверяя нас, что Семен обязательно замерзнет. Дело окончилось благополучно: Семен отморозил только пальцы на ногах, но Екатерина Григорьевна после акта растирала его какой-то горячительной смесью.

Холод все же нам мешал художественно расти. Шла у нас такая пьеса: «Товарищ Семивзводный». На сцене изображается помещичий сад, и полагалась статуя. Шестой «Р» статуи нигде не нашел, хотя обыскал все городские кладбища. Решили обойтись без статуи. Но когда открыли занавес, я с удивлением увидел и статую: вымазанный до отказа мелом, завернутый в простыню, стоял на декорированной табуретке Шелапутин и хитро на меня поглядывал. Я закрыл занавес и прогнал статую со сцены, к большому огорчению шестого «Р».

В особенности добросовестны и изобретательны были шестые «Ш» сводные. Ставили мы «Азефа». Сазонов бросает бомбу в Плеве. Бомба должна разорваться. Командир шестого «Ш» Осадчий говорил:

— Взрыв мы этот сделаем настоящий.

Так как я играл Плеве, то был больше всех заинтересован в этом вопросе.

— Как это понимать — настоящий?

— А такой, что и театр может в гору пойти.

— Это уже и лишнее,— сказал я осторожно.

— Нет, ничего,— успокоил меня Осадчий,— все хорошо кончится.

Перед сценой взрыва Осадчий показал мне приготовления: за кулисами поставлено несколько пустых бочек, возле каждой бочки стоит колонист с двустволкой, заряженной приблизительно на мамонта. С другой стороны сцены на полу разложены куски стекла, а над каждым куском колонист с кирпичом. С третьей стороны против выходов на сцену сидит полдесятка ребят, перед ними горят свечи, а в руках у них бутылки с какой-то жидкостью.

— Это что за похороны?

— А это самое главное: у них керосин. Когда нужно будет, они наберут в рот керосину и дунут керосином на свечки. Очень хорошо получается.

— Ну вас к... И пожар может быть.

— Вы не бойтесь, смотрите только, чтобы керосином глаза не выжгло, а пожар мы потушим.

Он показал мне еще на один ряд колонистов, у ног которых стояли ведра, полные воды.

Окруженный с трех сторон такими приготовлениями, я начал переживать действительно обреченность несчастного министра и серьезно подумывал о том, что поскольку я лично не должен отвечать за все преступления Плеве, то в крайнем случае я имею право удрать через зрительный зал. Я пытался еще раз умерить добросовестность Осадчего:

— Но разве керосин можно тушить водой?

Осадчий был неуязвим, он знал это дело со всеми признаками высшей эрудиции:

— Керосин, когда его дунуть на свечку, обращается в газ, и его тушить не нужно. Может быть, придется тушить другие предметы...

— Например, меня?

— Вас мы в первую очередь потушим.

Я покорился своей участи: если я не сгорю, то, во всяком случае, меня обольют холодной водой, и это в двадцатиградусный мороз! Но как же я мог обнаружить свое малодушие перед лицом всего шестого «Ш» сводного, который столько энергии и изобретательности истратил на оформление взрыва!

Когда Сазонов бросил бомбу, я еще раз имел возможность войти в шкуру Плеве и не позавидовал ему: охотничьи ружья выстрелили в бочки, и бочки ахнули, раздирая обручи и мои барабанные перепонки, кирпичи обрушились на стекло, и полдесятка ртов со всей силой молодых легких дунули на горящие свечи керосином, и вся сцена моментально обратилась в удушливый огненный вихрь. Я потерял возможность плохо сыграть собственную смерть и почти без памяти свалился на пол, под оглушительный гром аплодисментов и крики восторга шестого «Ш» сводного. Сверху на меня сыпался черный жирный керосиновый пепел. Закрылся занавес, меня под руки поднимал Осадчий и заботливо спрашивал:

— У вас нигде не горит?

У меня горело только в голове, но я промолчал об этом: кто его знает, что приготовлено у шестого «Ш» сводного на этот случай?

Таким же способом мы взрывали пароход во время одного несчастливого рейса его к революционным берегам СССР. Техника этого события была еще сложнее. Надо было не только в каждое окно парохода выдуть пучок огня, но и показать, что пароход действительно летит в воздух. Для этого за пароходом сидело несколько колонистов, которые бросали вверх доски, стулья, табуретки. Они наловчились заранее спасать свои головы от всех этих вещей, но капитану Петру Ивановичу Горовичу сильно досталось: у него загорелись бумажные позументы на рукавах, и он был сильно контужен падавшей сверху мебелью. Впрочем, он не только не жаловался, но нам пришлось пережидать полчаса, пока он пересмеется, чтобы узнать наверняка, в полном ли порядке все его капитанские органы.

Некоторые роли играть у нас было действительно трудно. Колонисты не признавали, например, никаких выстрелов за сценой. Если вас полагалось застрелить, то вы должны были приготовиться к серьезному испытанию. Для вашего убийства брался обыкновенный наган, из патрона вынималась пуля, а все свободное пространство забивалось паклей или ватой. В нужный момент в вас палили целой кучей огня, а так как стреляющий всегда увлекался ролью, то он целил обязательно в ваши

глаза. Если же полагалось в вас произвести несколько выстрелов, то по указанному адскому рецепту приготовлялся целый барабан.

Публике было все-таки лучше: она сидела в теплых кожухах, кое-где топились печи, ей запрещалось только грызть семечки, да еще нельзя было приходить в театр пьяным. При этом, по старой традиции, пьяным считался каждый гражданин, у которого при детальном исследовании обнаруживался самый слабый запах алкоголя. Людей с таким или приблизительно таким запахом колонисты умели сразу угадывать среди нескольких сот зрителей и еще лучше умели вытащить из ряда и с позором выставить за двери, безжалостно пропуская мимо ушей очень похожие на правду уверения:

— Да, честное слово, еще утром кружку пива выпил.

Для меня как режиссера были еще и дополнительные страдания и на спектакле и перед спектаклем. Кудлатого, например, я никак не мог научить такой фразе:

Брали дани и пошлины
За все годы прошлые.

Он почему-то признавал только такую вариацию:

Брали бранны и пошлины
За все годы прошлинные.

Так и на спектакле сказал.

А во время постановки «Ревизора» хорошо играли колонисты, но к концу спектакля обратили меня в злую фурию, потому что даже мои крепкие нервы не могли выдержать таких сильных впечатлений:

Аммос Федорович. Верить ли слухам, Антон Семенович? К вам привалило необыкновенное счастье?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить Антона Семеновича с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. Анна Андреевна, Мария Антоновна!

Растаковский. Антона Семеновича поздравляю. Да продлит бог жизнь и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна!

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Семеновича.

Хуже всего было то, что на сцене в костюме городничего я никакими способами не мог расправиться со всеми этими извергами. Только после немой сцены, за кулисами, я разразился гневом:

— Черт бы вас побрал, что это такое? Это издевательство, что ли, это нарочно?

На меня смотрели удивленные физиономии, и почтмейстер Задоров спрашивал:

— В чем дело? А что случилось? Все хорошо прошло.

— Почему вы все называли меня Антоном Семеновичем?

— А как же?.. Ах, да... Ах ты, черт! Антон Антонович городничий же.

— Да на репетициях вы же правильно называли!

— Черт его знает... то на репетициях, а тут как-то волнуешься...

5. КУЛАЦКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Двадцать шестого марта отпраздновали день рождения А. М. Горького. Бывали у нас и другие праздники, о них когда-нибудь расскажу подробнее. Старались мы, чтобы на праздниках у нас было и людно, и на столах полно, и колонисты, по совести говоря, любили праздновать и в особенности готовиться к праздникам. Но в горьковском дне для нас было особое очарование. В этот день мы встречали весну. Это само собой. Бывало, расставят хлопцы парадные столы, на дворе обязательно, чтобы всем вместе усесться на пиршество, и вдруг с востока подует вражеским духом: налетят на нас острые, злые крупинки, сморщатся лужицы во дворе, и сразу отсыреют барабаны в строю для отдачи салюта нашему знамени по случаю праздника. Все равно, поведет колонист прищуренным глазом на восток и скажет:

— А здорово уже весной пахнет!

Было еще в горьковском празднике одно обстоятельство, которое мы сами придумали, которым очень дорожили и которое нам страшно нравилось. Давно уже так решили колонисты, что в этот день мы празднуем «вовсю», но не приглашаем ни одного постороннего человека. Догадается кто-нибудь сам приехать — пусть будет

дорогой гость, и именно потому, что сам догадался, а вообще это наш семейный праздник, и посторонним на нем делать нечего. И получалось действительно по-особенному просто и уютно, по-родственному еще больше сближались горьковцы, хотя формы праздника вовсе не были какими-нибудь домашними. Начинали с парада, торжественно выносили знамя, говорили речи, проходили торжественным маршем мимо портрета Горького. А после этого садились за столы и — не будем скромничать — за здоровье Горького... нет, ничего не пили, но обедали... ужас, как обедали! Калина Иванович, выходя из-за стола, говорил:

— Я так думаю, что нельзя буржуев осуждать, паразитов. После того обеда понимаешь, никакая скотина не будет работать, а не то что человек...

На обед было: борщ, но не просто борщ, а особенный: такой борщ варят хозяйки только тогда, когда хозяин именинник; потом пироги с мясом, с капустой, с рисом, с творогом, с картошкой, с кашей, и каждый пирог не влезает ни в один колонийский карман; после пирогов жареная свинина, не привезенная с базара, а своего завода, выращенная десятым отрядом еще с осени, специально выращенная для горьковского дня. Колонисты умели холить свиное стадо, но резать свиней никто не хотел, даже командир десятого, Ступицын, отказывался:

— Не могу резать, жалко, хорошая свинья была Клеопатра.

Клеопатру зарезал, конечно, Силантий Отченаш, мотивируя свои действия так:

— Дохлую свинью, здесь это, пускай ворог режет, а мы будем резать, как говорится, хорошую. Вот какая история.

После Клеопатры можно было бы и отдохнуть, но на столе появлялись миски и полумиски со сметаной и рядом с ними горки вареников с творогом. И ни один колонист не спешил к отдыху, а, напротив, с полным вниманием обращался к вареникам и сметане. А после вареников — кисель и не какой-нибудь по-пански — на блюдечках, а в глубоких тарелках, и мне не приходилось наблюдать, чтобы колонисты ели кисель без хлеба или без пирога. И только после этого обед считался окончен-

ным, и каждый получал на выход из-за стола мешок с конфетами и пряниками. И по этому случаю Калина Иванович говорил правильно:

— Эх, если бы Горькие почаще рожались, хорошо было бы!

После обеда колонисты не уходили отдыхать, а отправлялись по шестым сводным готовить постановку «На дне» — последний спектакль в сезоне. Калина Иванович очень интересовался спектаклем:

— Посмотрю, посмотрю, што оно за вещь. Слышал много про это самое дно, а не видав. И читать как-то так не пришлось.

Нужно сказать, что в этом случае сильно преувеличивал Калина Иванович случайную свою неудачу: еле-еле он умел разбираться в тайнах чтения. Но сегодня Калина Иванович в хорошем настроении, и не следует к нему придираться. Горьковский праздник был отмечен в этом году особенным образом: по предложению комсомола, было введено в этом году звание колониста. Долго обсуждали эту реформу и колонисты и педагоги, но сошлись на том, что придумано хорошо. Звание колониста дали только тем, кто действительно дорожит колонией и кто борется за ее улучшение. А кто сзади бредет, пищит, ноет или потихоньку «латается», тот только воспитанник. Правду нужно сказать, таких нашлось не много — человек двадцать. Получили звание колониста и старые сотрудники. При этом было постановлено: если в течение одного года работы сотрудник не получает такого звания, значит, он должен оставить колонию.

Каждому колонисту дали никелированный значок, сделанный для нас по особому заказу в Харькове. Значок изображал спасательный круг, на нем буквы МГ, сверху красная звездочка.

Сегодня на параде получил значок и Калина Иванович. Он был очень рад этому и не скрывал своей радости:

— Сколько этому самому Николаю Александровичу служив, только и счастья, что гусаром считався, а теперь босяки орден дали, паразиты. И ничего не поробышь,— даже, понимаешь ты, приятно! Что значит, когда у них в руках государственная держава! Сам без штанов ходить, а ордена даеть.

Радость Калины Ивановича была омрачена неожиданным приездом Марии Кондратьевны Боковой. Месяц тому назад она была назначена в наш губсоцвос, и хотя не считалась нашим прямым начальством, но в некоторой мере наблюдала за нами.

Слезая с извозчичьего экипажа, она была очень удивлена, увидев наши парадные столы, за которыми доканчивали пир те колонисты, которые подавали за обедом. Калина Иванович поспешил воспользоваться ее удивлением и незаметно скрылся, оставив меня расплачиваться и за его преступления.

— Что это у вас за торжество? — спросила Мария Кондратьевна.

— День рождения Горького.

— А почему меня не позвали?

— В этот день мы посторонних не приглашаем. У нас такой обычай.

— Все равно, давайте обедать.

— Дадим. Где это Калина Иванович?

— Ах, этот ужасный дед? Пасечник? Это он удрал от меня сейчас? И вы тоже участник этой гадости? Мне теперь проходу не дают в губнаробразе. И комендант говорит, что с меня будут два года высчитывать. Где этот самый Калина Иванович, давайте его сюда!

Мария Кондратьевна делала сердитое лицо, но я видел, что для Калины Ивановича особенной опасности не было: Мария Кондратьевна была в хорошем настроении. Я послал за ним колониста. Калина Иванович пришел и издали поклонился.

— Ближе и не подходите! — смеялась Мария Кондратьевна.— Как вам не стыдно! Ужас какой!

Калина Иванович присел на скамейку и сказал:

— Доброе дело сделали.

Я был свидетелем преступления Калины Ивановича неделю назад. Приехали мы с ним в наробраз и зашли в кабинет Марии Кондратьевны по какому-то пустяковому делу. У нее огромный кабинет, обставленный многочисленной мебелью из какого-то особенного дерева. Посреди кабинета стол Марии Кондратьевны. Она имела особую удачу: вокруг ее стола всегда стоит толпа разных наробразовских типов, с одним она говорит, другой принимает участие в разговоре, третий слушает, тот разгова-

ривает по телефону, тот пишет на конце стола, тот читает, чьи-то руки подсовывают ей бумажки на подпись, а кроме всего этого актива, целая куча народу просто стоит и разговаривает. Галдеж, накурено, насорено.

Присели мы с Калиной Ивановичем на диванчик и о чем-то своем беседуем. Врывается в кабинет сильно расстроенная худая женщина и прямо к нам с речью. Насилу мы разобрали, что дело идет о детском саде, в котором есть дети и есть хороший метод, но нет никакой мебели. Женщина, видимо, была здесь не первый раз, потому что выражалась она очень энергично и не проявляла никакой почтительности к учреждению:

— Черт бы их побрал, наоткрывали детских садов целый город, а мебели не дают. На чем детям сидеть, спрашиваю? Сказали: сегодня прийти, дадут мебель. Я детей привела за три версты, подводы привела, никого нет, и жаловаться некому. Что это за порядки? Целый месяц хожу. А у самой, посмотрите, сколько мебели,— и для кого, спрашивается?

Несмотря на громкий голос женщины, никто из окружающих стол Марии Кондратьевны не обратил на нее внимания, да пожалуй, за общим шумом ее никто и не слышал. Калина Иванович присмотрелся к окружающей обстановке, хлопнул рукой по диванчику и спросил:

— Я вас так понимаю, товарищ, что эта мебель для вас подходить?

— Эта мебель? — обрадовалась женщина.— Да это же прелесть что за мебель!..

— Так в чем же дело? — сказал Калина Иванович.— Раз она к вам подходить, а здесь стоит без последствия,— забирайте себе эту мебель для ваших детишек.

Глаза взволнованной женщины, до того момента внимательно наблюдавшие мимику Калины Ивановича, вдруг перевернулись на месте и снова уставились на Калину Ивановича:

— Это как же?

— Обыкновенно как: выносите и ставьте на ваши подводы.

— Господи, а как же?

— Если вы насчет документов, то не обращайте внимания: найдутся паразиты, столько бумажек напишуть, что и не рады будете. Забирайте.

— Ну, а если спросят, как же я скажу, кто разрешил?

— Так и скажите, что я разрешил.

— Значит, вы разрешили?

— Да, я разрешил.

— Господи! — радостно простонала женщина и с легкостью моли выпорхнула из комнаты.

Через минуту она снова впорхнула, уже в сопровождении двух десятков детей. Они весело набросились на стулья, креслица, полукреслица, диванчики и с некоторым трудом начали вытаскивать их в двери. Треск пошел по всему кабинету, и на этот треск обратила внимание Мария Кондратьевна. Она поднялась за столом и спросила:

— Что это вы делаете?

— А вот выносим,— сказал смуглый мальчуган, тащивший кресло с товарищем.

— Так нельзя ли потише,— сказала Мария Кондратьевна и села продолжать свое наробразовское дело.

Калина Иванович разочарованно посмотрел на меня.

— Ты чув? Как же это такое можно? Так они ж, паразиты, детишки эти, все вытащут?

Я уже давно с восторгом смотрел на похищение кабинета Марии Кондратьевны и возмущаться был не в состоянии. Два мальчика дернули за наш диванчик, мы предоставили им полную возможность вытащить и его. Хлопотливая женщина, сделав несколько последних петель вокруг своих воспитанников, подбежала к Калине Ивановичу, схватила его руку и с чувством затрясла ее, наслаждаясь смущенно улыбающимся лицом великодушного человека.

— А как же вас зовут? Я же должна знать. Вы нас прямо спасли!

— Да для чего вам знать, как меня зовут? Теперь, знаете, о здравии уже не возглашают, за упокой как будто еще рано...

— Нет, скажите, скажите...

— Я, знаете, не люблю, когда меня благодарят...

— Калина Иванович Сердюк, вот как зовут этого доброго человека,— сказал я с чувством.

— Спасибо вам, товарищ Сердюк, спасибо!

— Не стоить. А только вывозите ее скорей, а то кто-нибудь придеть да еще переменить.

Женщина улетела на крыльях восторга и благодарности. Калина Иванович поправил пояс на своем плаще, откашлялся и закурил трубку.

— А зачем ты сказал? Оно и так было бы хорошо. Не люблю, знаешь, когда меня очень благодарят... А интересно все-таки: довезет чи не довезет?

Скоро окружение Марии Кондратьевны рассосалось по другим помещениям наробраза, и мы получили аудиенцию. Мария Кондратьевна быстро с нами покончила, рассеянно посмотрела вокруг и заинтересовалась:

— Куда это мебель вынесли, интересно? Оставили мне пустой кабинет.

— Это в один детский сад,— произнес серьезно Калина Иванович, отвалившийся на спинку стула.

Только через два дня каким-то чудом выяснилось, что мебель была вывезена с разрешения Калины Ивановича. Нас приглашали в наробраз, но мы не поехали. Калина Иванович сказал:

— Буду я там из-за каких-то стульев ездить! Мало у меня своих болячек?

Вот по всем этим причинам Калина Иванович чувствовал себя несколько смущенным.

— Доброе дело сделали. Что ж тут такого?

— Как же вам не стыдно? Какое вы имели право разрешать?

Калина Иванович любезно повернулся на стуле:

— Я имею право все разрешать, и всякий человек. Вот я вам сейчас разрешаю купить себе имение, разрешаю — и все. Покупайте. А если хотите, можете и даром взять, тоже разрешаю.

— Но ведь и я могу разрешить,— Мария Кондратьевна оглянулась,— скажем, вывезти все эти табуретки и столы?

— Можете.

— Ну и что? — смущенно продолжала настаивать Мария Кондратьевна.

— Ну, и ничего.

— Ну, так как же? Возьмут и вывезут?

— Кто вывезеть?

— Кто-нибудь.

— Хэ-хэ-хэ, нехай вывезеть,— интересно будет посмотреть, какой он сам отседова поедеть?

— Он не поедет, а его повезут,— сказал, улыбаясь, Задоров, давно уже стоявший за спиной Марии Кондратьевны.

Мария Кондратьевна покраснела, посмотрела снизу на Задорова и неловко спросила:

— Вы думаете?

Задоров открыл все зубы:

— Да, мне так кажется.

— Разбойничья какая-то философия,— сказала Мария Кондратьевна.— Так вы воспитываете ваших воспитанников? — строго обратилась она ко мне.

— Приблизительно так...

— Какое же это воспитание? Мебель растащили из кабинета, что это такое, а? Кого вы воспитываете? Значит, если плохо лежит, бери, да?

Нас слушала группа колонистов, и на их физиономиях был написан самый живой интерес к завязавшейся беседе. Мария Кондратьевна горячилась, в ее тоне я различал хорошо скрываемые неприязненные нотки. Продолжать спор в таком направлении мне не хотелось. Я сказал миролюбиво:

— Давайте по этому вопросу когда-нибудь поговорим основательно, ведь вопрос все-таки сложный.

Но Мария Кондратьевна не уступала:

— Да какой тут сложный вопрос! Очень просто: у вас кулацкое воспитание.

Калина Иванович понял серьезность ее раздражения и подсел к ней ближе.

— Вы не сердитесь на меня, старика, а только нельзя так говорить: кулацкое. У нас воспитания совецькая. Я, конечно, пошутив, думав, тут же и хозяйка сидит, посмеется да и все, а может, и обратить внимание, что вот у детишек стульев нету. А хозяйка плохая: из-под носа у нее вынесли мебель, а она теперь виноватых шукаеть: кулацькая воспитания...

— Значит, и ваши воспитанники будут так делать? — уже слабо защищалась Мария Кондратьевна.

— И пущай себе делають...

— Для чего?

— А вот, чтобы плохих хозяев учить.

Из-за толпы колонистов выступил Карабанов и протянул Марии Кондратьевне палочку, на которую был

привязан белоснежный носовой платок,— сегодня их выдали колонистам по случаю праздника.

— Ось, подымайте белый флаг, Мария Кондратьевна, и сдавайтесь скорийше.

Мария Кондратьевна вдруг засмеялась, и заблестели у нее глаза:

— Сдаюсь, сдаюсь, нет у вас кулацкого воспитания, никто меня не обмошенничал, сдаюсь, дамсоцвос сдается!

Ночью, когда в чужом кожухе вылез я из суфлерской будки, в опустевшем зале сидела Мария Кондратьевна и внимательно наблюдала за последними движениями колонистов. За сценой высокий дискант Тоськи Соловьева требовал:

— Семен, Семен, а костюм ты сдал? Сдавай костюм, а потом уходи.

Ему отвечал голос Карабанова:

— Тосечка, красавец, чи тебе повылазило: я ж играл Сатина.

— Ах, Сатина! Ну, тогда оставь себе на память.

На краю сцены стоит Волохов и кричит в темноту:

— Галатенко, так не годится, печку надо потушить!

— Та она и сама потухнет,— отвечает сонным хрипом Галатенко.

— А я тебе говорю: потуши. Слышал приказ, не оставлять печек.

— Приказ, приказ! — бурчит Галатенко.— Потушу...

На сцене группа колонистов разбирает ночлежные нары, и кто-то мурлычет: «Солнце всходит и заходит».

— Доски эти в столярную завтра,— напоминает Митька Жевелий и вдруг орет: — Антон! А, Антон!

Из-за кулис отвечает Братченко:

— Агов, а чего ты, как ишак?

— Подводу дашь завтра?

— Та дам.

— И коня?

— А сами не довезете?

— Не хватит силы.

— А разве тебе мало овса дают?

— Мало.

— Приходи, я дам.

Я подхожу к Марии Кондратьевне.

— Вы где ночуете?

— Я вот жду Лидочку. Она разгримируется и проводит меня к себе... Скажите, Антон Семенович, у вас такие милые колонисты, но ведь это так тяжело: сейчас очень поздно, они еще работают, а устали как, воображаю! Неужели им нельзя дать чего-нибудь поесть? Хотя бы тем, которые работали.

— Работали все, на всех нечего дать.

— Ну, а вы сами, вот ваши педагоги, сегодня и играли, и интересно все,— почему бы вам не собраться, посидеть, поговорить, ну, и... закусить. Почему?

— Вставать в шесть часов, Мария Кондратьевна.

— Только потому?

— Видите ли, в чем дело,— сказал я этой милой, доброй женщине,— наша жизнь гораздо более суровая, чем кажется. Гораздо суровее.

Мария Кондратьевна задумалась. Со сцены спрыгнула Лидочка и сказала:

— Сегодня хороший спектакль, правда?

6. СТРЕЛЫ АМУРА

С горьковского дня наступила весна. С некоторого времени стали мы ощущать пробуждение весны в коекакой специальной области.

Театральная деятельность сильно приблизила колонистов к селянской молодежи, и в некоторых пунктах сближения обнаружились чувства и планы, не предусмотренные теорией соцвоса. В особенности пострадали колонисты, поставленные волею совета командиров в самые опасные места, в шестой «П» сводный отряд, в названии которого буква П многозначительно говорит о публике.

Те колонисты, которые играли на сцене в составе шестого «А» сводного, до конца были втянуты в омут театральной отравы. Они переживали на сцене часто романтические подъемы, переживали и сценическую любовь, но именно поэтому спасены были на некоторое время от тоски так называемого первого чувства. Так же спасительно обстояло дело и с другими шестыми сводными. В шестом «Ш» ребята всегда имели дело с сильно взрывчатыми веществами, и Таранец редко даже снимал повязку с головы, испорченной во время его многочислен-

ных пиротехнических упражнений. И в этом сводном любовь как-то не прививалась: оглушительные взрывы пароходов, бастионов и карет министров занимали души колонистов до последней глубины, и не мог уже загореться в них «угрюмый, тусклый огнь желанья». Едва ли мог загореться такой «огнь» и у ребят, перетаскивающих мебель и декорации,— слишком решительно происходила в этом случае, выражаясь педагогическим языком, сублимация. Даже горячие сводные, которые развивали свою деятельность в самой толще публики, сбережены были от стрел Амура, ибо и самому легкомысленному Амуру не пришло бы в голову прицеливаться в измазанные углем, закопченные, черномазые фигуры.

Колонист из шестого «П» сводного стоял в безнадежно обреченной позиции. Он выходил в театральный зал в лучшем колонийском костюме, я его гонял и цукал за самую маленькую неряшливость. У него из грудного кармана кокетливо выглядывал уголок чистого носового платка, его прическа была всегда образцом элегантности, он обязан быть вежливым, как дипломат, и внимательным, как зубной техник. И вооруженный такими достоинствами, он неизменно попадал под действие известных чар, которые и в Гончаровке, и в Пироговке, и на Воловьих хуторах приготовляются приблизительно по тем самым рецептам, что и в парижских салонах.

Первая встреча у дверей нашего театра во время проверки билетов и поисков свободного места как будто не угрожала никакими опасностями: для девиц фигура хозяина и устроителя этих замечательных зрелищ с такими волнующими словами и с такими чудесами техники казалась еще привлекательно-неприкосновенной, почти недоступной для любви,— настолько недоступной, что и селянские кавалеры, разделяя то же восхищение, не терзались ревностью. Но проходил второй, третий, пятый спектакль, и повторялась старая, как мир, история. Параска с Пироговки или Маруся с Воловьего хутора вспоминали о том, что румяные щеки, черные брови — впрочем, не только черные — и блестящие глаза, сияющее новизной и модным покроем ситцевое платье, облегавшее мириады самых несомненных ценностей, музыка итальянско-украинского «л», которое умеют произносить по-настоящему только девчата — «казала», «купувала»,— все

это сила, оставляющая далеко позади не только сценические хитрости горьковцев, но и всякую иную, самую американскую технику. И когда все эти силы приводились в действие, от всей недоступной значительности колонистов ничего не оставалось. Наступал момент, когда колонист после спектакля приходил ко мне и бессовестно врал:

— Антон Семенович, разрешите проводить девчат из Пироговки, а то они боятся.

В этой фразе заключалась редкая концентрация лжи, ибо и для просителя и для меня было точно известно, что никто никого не боится, и никого не нужно провожать, и множественное число «девчат» — гипербола, и разрешения никакого не требуется: в крайнем случае эскорт пугливой зрительницы будет организован без разрешения.

И поэтому я разрешил, подавляя в глубине моей педагогической души явное ощущение неувязки. Педагогика, как известно, решительно отрицает любовь, считая, что «доминанта» эта должна наступать только тогда, когда неудача воспитательного воздействия уже совершенно определилась. Во все времена и у всех народов педагоги ненавидели любовь. И мне было ревниво неприятно видеть, как тот или другой колонист, пропуская комсомольское или общее собрание, презрительно забросив книжку, махнув рукой на все качества активного и сознательного члена коллектива, упрямо начинает признавать только авторитет Маруси или Наташи — существ, неизмеримо ниже меня стоящих в педагогическом, политическом и моральном отношениях. Но у меня всегда была склонность к размышлению, и своей ревности я не спешил предоставить какие-либо права. Товарищи мои по колонии и в особенности деятели наробраза были решительнее меня и сильно нервничали по случаю непредвиденного и внепланового вмешательства Амура:

— С этим нужно решительно бороться.

Споры эти всегда помогали, ибо до конца проясняли положение: нужно положиться на собственный здравый смысл и на здравый смысл жизни. Тогда еще у самой жизни его было не так много, жизнь наша была еще бедна. Мечтал я: были бы мы богаты, женил бы я колонистов, заселил бы наши окрестности женатыми комсо-

мольцами. Чем это плохо? Но до этого было еще далеко. Ничего. И бедная жизнь что-нибудь придумает. Я не стал преследовать влюбленных педагогическим вмешательством, тем более, что они не выходили из рамок приличия. Опришко в минуту откровенности показал мне карточку Маруси — явное доказательство того, что жизнь продолжала что-то делать, пока мы раздумывали.

Сама по себе карточка мало говорила. На меня смотрело широкое курносое лицо, ничего не прибавляющее к среднему типу Марусь. Но на обороте было написано выразительным школьным почерком:

«Дорогому Дмитру от Маруси Лукашенко. Люби и не забывай».

Дмитро Опришко сидел на стуле и открыто показывал всему миру, что он человек конченый. От его удалой фигуры жалкие остались остатки, и даже закрученный на голове залихватский чуб исчез: сейчас он был добродетельно и аккуратно уложен в мирную прическу. Карие глаза, раньше так легко возбуждаемые остроумным словом и охотой смеяться и прыгать, сейчас тихо-смирно выражали только домашнюю озабоченность и покорность ласковой судьбе.

— Что ты собираешься делать?

Опришко улыбнулся.

— Без вашей помощи трудно будет. Мы еще батьку ничего не говорили, и Маруся боится. Но так вообще батько ко мне хорошо ставится.

— Ну, хорошо, подождем.

Опришко ушел от меня довольный, бережно спрятав на груди портрет возлюбленной.

Гораздо хуже обстояло дело у Чобота. Чобот был человек угрюмый и страстный, но других достоинств у него не было. Когда-то он начал в колонии с серьезного конфликта с поножовщиной, с тех пор крепко подчинялся дисциплине, но всегда держался в стороне от бурлящих наших центров. У него было невыразительное, бесцветное лицо, и даже в минуты гнева оно казалось туповатым. Школу он посещал по необходимости и еле-еле научился читать. В нем мне нравился способ выражаться: в его скупых словах всегда ощущалась большая и простая правдивость. В комсомол его приняли одним из первых. Коваль имел о нем определенное мнение:

— Доклад не сделает и в агитпропы не годится, но если дать ему пулемет,— сдохнет, а пулемета не бросит.

Вся колония знала, что Чобот страстно влюбился в Наташу Петренко. Наташа жила в доме Мусия Карповича, считалась его племянницей, на самом деле была просто батрачкой. В театр все-таки пускал ее Мусий Карпович, но одевалась она очень бедно: нескладная юбка, кем-то давно заношенная, корявые, не по ноге, ботинки, и старомодная, со складками, темная кофта. В другом одеянии мы ее не видели. Одежда обращала Наташу в жалкое чучело, но тем привлекательнее казалось ее лицо. В рыжем ореоле изодранного, испачканного бабьего платка на вас смотрит даже не лицо а какое-то высшее выражение нетронутости, чистоты, детски улыбающейся доверчивости. Наташа никогда не гримасничала, никогда не выражала злобы, негодования, подозрения, страдания. Она умела только или серьезно слушать, и в это время у нее чуть-чуть подрагивали густые черные ресницы, или открыто, внимательно улыбаться, показывая милые маленькие зубки, из которых один передний был поставлен немножко вкось.

Наташа приходила в колонию всегда в стайке девчат и на деланно-шумливом этом фоне сильно выделялась детской, простой сдержанностью и хорошим настроением.

Чобот непременно ее встречал и хмуро усаживался с нею на какой-нибудь скамье, нисколько не смущая ее своей хмуростью и ничего не изменяя в ее внутреннем мире; я сомневался в том, что этот ребенок может полюбить Чобота, но хлопцы возражали мне хором:

— Кто? Наташа? Да она за Чобота в огонь и в воду, даже и не задумается.

В это время у нас, собственно говоря, вовсе не было свободы заниматься романами. Наступили те дни, когда солнце принимается за обычный штурм, работая по восемнадцати часов в сутки. Подражая ему, и Шере наваливал на нас столько работы, что мы только молча отдувались, вспоминая не без горечи, что еще осенью с большим энтузиазмом утвердили на общем собрании его посевной план. Официально у Шере считалось шестиполье, но на деле выходило нечто гораздо более сложное. Шере почти не сеял зерновых. На черном паре у него было гек-

таров семь озимой пшеницы, в сторонке спрятались небольшие нивы овса и ячменя, да для опыта на небольшом клочке завел он какую-то невиданную рожь, предсказывая, что ни один селянин никогда не угадает, что это рожь, «а будет только мекать».

Пока что мекали не селяне, а мы. Картофель, бураки, баштаны, капуста, целая плантация гороха — и все это разных сортов, в которых трудно было разобраться. Говорили при этом хлопцы, что Шере на полях развел настоящую контрреволюцию:

— То у него король, а то царь, а то королева.

Действительно, разграничив все участки идеальными прямыми межами и изгородями, Шере везде поставил на деревянных столбиках фанерные плакатики и на каждом написал, что посеяно и сколько. Колонисты,— вероятно те, которые охраняли посевы от ворон,— однажды утром поставили рядом свои надписи и очень обидели Шере таким поступком. Он потребовал срочного совета командиров и непривычно для нас кричал:

— Что это за насмешки, что это за глупости? Я так называю сорта, как они у всех называются. Если принято называть этот сорт «Королем андалузским», так он и называется во всем мире,— не могу я придумывать свое название. А это — хулиганство! Для чего выставили: генерал Буряк, полковник Горох? А это что: капитаны Кавуны и поручики Помидорчики?

Командиры улыбались, не зная, как им быть со всей этой камарильей. Спрашивали по-деловому:

— Так кто же такое свинство устроил? То булы короли, а то сталы просто капитаны, черт зна що...

Хлопцы не могли удержаться от улыбок, хотя и побаивались Шере. Силантий понимал напряженность конфликта и старался умерить его:

— Видишь, какая история: такой король, которого можно, здесь это, коровам кушать, так он не страшный, пускай остается королем.

И Калина Иванович стоял на стороне Шере:

— По какому случаю шум поднявся? Вам хочется показать, что вы вот какие революционеры, с королями воевать кортит, головы резать паразитам? Так почему вы так беспокоитесь? Ось дадим вам по ножу, и будете резать, аж пот с вас градом.

Колонисты знали, что такое «гичку резать», и встретили заявление Калины Ивановича с глубоким удовлетворением. На том дело о контрреволюции на наших полях и прекратилось; а когда Шере высадил из оранжереи против белого дома двести кустов роз и поставил надписи: «Снежная королева», ни один колонист не заявил протеста. Карабанов только сказал:

— Королева, так королева, черт с нею, абы пахла.

Больше всего мучили нас бураки. По совести говоря, это отвратительная культура: ее только сеять легко, а потом начинаются настоящие истерики. Не успела она вылезти из земли, а вылазит она медленно и вяло, уже нужно ее полоть. Первая полка бурака — это драма. Молодой бурак для новичка ничем не отличается от сорняка, поэтому Шере на эту полку требовал старших колонистов, а старшие говорили:

— Ну, что ты скажешь — бураки полоть? Та неужели мы свое не отпололи?

Кончили первую полку, вторую, мечтают все побывать на капусте, на горохе, а уже и сенокосом пахнет,— смотришь, в воскресной заявке Шере скромно написано: «На прорывку бурака — сорок человек».

Вершнев, секретарь совета, с возмущением читает про себя эту наглую строчку и стучит кулаком по столу:

— Да что это такое: опять бурак? Да когда он окончится, черт проклятый!.. Вы, может, по ошибке старую заявку дали?

— Новая заявка,— спокойно говорит Шере.— Сорок человек, и, пожалуйста, старших.

На совете сидит Мария Кондратьевна, живущая на даче в соседней с нами хате, ямочки на ее щеках игриво посматривают на возмущенных колонистов.

— Какие вы ленивые, мальчики! А в борще бурак любите, правда?

Семен наклоняет голову и выразительно декламирует:

— Во-первых, буряк кормовой, хай вин сказыться! Во-вторых, пойдемте с нами на прорывку. Если вы сделаете нам одолжение и проработаете хоть бы один день, так тому и быть, собираю сводотряд и работаю на буряке, аж пока и в бурты его, дьявола, не похороним.

В поисках сочувствия Мария Кондратьевна улыбается мне и кивает на колонистов:

— Какие! Какие!..

Мария Кондратьевна в отпуску, поэтому и днем ее можно встретить в колонии. Но днем в колонии скучно, только на обед приходят ребята, черные, пыльные загоревшие. Бросив сапки в углу Кудлатого, они, как конница Буденного, галопом слетают с крутого берега, развязывая на ходу завязки трусиков, и Коломак закипает в горячем ключе из их тел, криков, игры и всяких выдумок. Девчата пищат в кустах на берегу:

— Ну, довольно вам, уходите уже! Хлопцы, а хлопцы, ну, уходите, уже наше время.

Дежурный с озабоченным лицом проходит на берег, и хлопцы на мокрые тела натягивают горячие еще трусики и, поблескивая капельками воды на плечах, собираются к столам, поставленным вокруг фонтана в старом саду. Здесь их давно поджидает Мария Кондратьевна — единственное существо в колонии, сохранившее белую человеческую кожу и невыгоревшие локоны. Поэтому она в нашей толпе кажется подчеркнуто холеной, и даже Калина Иванович не может не отметить это обстоятельство:

— Фигурная женщина, ты знаешь, а даром здесь пропадает. Ты, Антон Семенович, не смотри на нее теорехтически. Она на тебя поглядаеть, как на человека, а ты, как грак, ходишь без внимания.

— Как тебе не стыдно! — сказал я Калине Ивановичу.—Не хватает, чтобы и я романами занялся в колонии.

— Эх, ты! — крякнул Калина Иванович, по-стариковски, закуривая трубку.— В жизни ты в дурнях останешься, вот побачишь...

Я не имел времени произвести теоретический и практический анализ качеств Марии Кондратьевны,— может быть, именно поэтому она все приглашала меня на чай и очень обижалась на меня, когда я вежливо уверял ее:

— Честное слово, не люблю чаю.

Как-то после обеда, когда разбежались колонисты по работам, задержались мы с Марией Кондратьевной у столов, и она по-дружески просто сказала мне:

— Слушайте вы, Диоген Семенович! Если вы сегодня не придете ко мне вечером, я вас буду считать просто невежливым человеком.

— А что у вас? Чай? — спросил я.

— У меня мороженое, понимаете вы, не чай, а мороженое... Специально для вас делаю.

— Ну, хорошо,— сказал я с трудом,— в котором часу приходить на мороженое?

— В восемь часов.

— Но у меня в половине девятого рапорты командиров.

— Вот еще жертва педагогики... Ну, хорошо, приходите в девять.

Но в девять часов, сразу после рапорта, когда я сидел в кабинете и сокрушался, что нужно идти на мороженое, и я не успел побриться, прибежал Митька Жевелий и крикнул:

— Антон Семенович, скорише, скорише!..

— В чем дело?

— Чобота хлопцы привели и Наташку. Этот самый дед, как его... ага, Мусий Карпович.

— Где они?

— А в саду там...

Я поспешил в сад. В сиреневой аллее на скамейке сидела испуганная Наташа, окруженная толпой наших девочек и женщин. Хлопцы по всей аллее стояли группами и о чем-то судачили. Карабанов ораторствовал:

— И правильно. Жалко, что не убили гадину...

Задоров успокаивал дрожащего, плачущего Чобота:

— Да ничего страшного. Вот Антон придет, все устроит.

Перебивая друг друга, они рассказывали мне следующее.

За то, что Наташа не просушила какие-то плахты, забыла, что ли, Мусий Карпович вздумал ее проучить и успел два раза ударить вожжами. В этот момент в хату вошел Чобот. Какие действия произвел Чобот, установить было трудно,— Чобот молчал,— но на отчаянный крик Мусия Карповича сбежались хуторяне и часть колонистов и нашли хозяина в полуразрушенном состоянии, всего окровавленного, в страхе забившегося в угол. В таком же печальном состоянии был и один из сыновей Мусия Карповича. Сам Чобот стоял посреди хаты и «рычав, як собака», по выражению Карабанова. Наташу нашли потом у кого-то из соседей.

По случаю всех этих событий произошли переговоры между колонистами и хуторянами. Некоторые признаки указывали, что во время переговоров не оставлены были без употребления кулаки и другие виды защиты, но ребята об этом ничего не говорили, а повествовали эпически-трогательно:

— Ну, мы ничего такого не делали, оказали это... первую помощь в несчастных случаях, а Карабанов и говорит Наташе: «Идем, Наташа, в колонию, ты ничего не бойся, найдутся добрые люди, знаешь, в колонии, мы с этим делом устроимся».

Я попросил действующих лиц в кабинет.

Наташа серьезно разглядывала большими глазами новую для нее обстановку, и только в неуловимых движениях рта можно было распознать у нее остатки испуга, да на щеке не спеша остывала одинокая слеза.

— Що робыть? — сказал Карабанов страстно.— Надо кончать.

— Давайте кончать,— согласился я.

— Женить,— предложил Бурун.

Я ответил:

— Женить успеем, это не сегодня. Мы имеем право принять Наташу в колонию. Никто не возражает?.. Да тише, чего вы орете! Место для девочки у нас есть. Колька, зачисли ее завтра приказом в пятый отряд.

— Есть! — заорал Колька.

Наташа вдруг сбросила свой страшный платок, и глаза у нее заполыхали, как костер на ветру. Она подбежала ко мне и засмеялась радостно, как смеются только дети.

— Хиба цэ можна? В колонию? Ой, спасыби ж вам, дядечку!

Хлопцы смехом прикрыли душевное волнение. Карабанов топнул ногой об пол:

— Дуже просто. Прямо так просто, що... чорты его знают! В колонию, конечно. Нехай колониста тронуть!

Девчата радостно потащили Наташу в спальню. Хлопцы еще долго галдели. Чобот сидел против меня и благодарил:

— Я такого никогда не думал... То вам спасибо, что такому маленькому человеку защиту дали... А жениться — то дело второе...

До поздней ночи обсуждали мы происшествие. Рассказали хлопцы несколько подходящих случаев, Силантий высказал свое мнение, приводили Наташу в колонийском платье показывать мне, и Наташа оказалась вовсе не невестой, а маленькой нежной девочкой. После всего этого пришел Калина Иванович и сказал, резюмируя вечер:

— Годи вам раздувать кадило. Если у человека голову не оттяпали, значит, человек живеть, все, значиться, благополучно. Ходим на луки[1]; пройдемся... вот ты увидишь, как эти паразиты копыци сложили, чтоб их так в гроб укладывали, када помруть!

Было уже за полночь, когда мы с Калиной Ивановичем направились на луг. Теплая тихая ночь внимательно слушала, что говорил дорогой Калина Иванович. Аристократически воспитанные, подтянутые, сохраняя вечную любовь свою к строевым шеренгам, стояли на страже нашей колонии тополя и тоже думали о чем-то. Может быть, они удивлялись тому, что так все изменилось кругом: выстраивались они для охраны Трепке, а теперь приходится сторожить колонию имени Максима Горького.

В отдельной группе тополей стояла хата Марии Кондратьевны и смотрела черными окнами прямо на нас. Одно из окон вдруг тихонько открылось, и из него выпрыгнул человек. Направился было к нам, на мгновение остановился и бросился в лес. Калина Иванович прервал рассказ об эвакуации Миргорода в 1918 году и сказал спокойно:

— Этот паразит — Карабанов. Видишь, он смотрит не теорехтически, а прахтически. А ты остался в дурнях, хоть и освиченный человек...

7. ПОПОЛНЕНИЕ

В колонию пришел Мусий Карпович. Мы думали, что он начинает тяжбу по случаю слишком свободного обращения с его головой разгневанного Чобота. И в самом деле: голова Мусия Карповича была демонстративно пе-

---

[1] Луки — луг.

ревязана, и говорил он таким голосом, будто даже это не Мусий Карпович, а умирающий лебедь. Но по волнующему нас вопросу он высказался миролюбиво и по-христиански кротко:

— Так я ж совсем не потому, что девчонка. Я по другому делу. Боже сохрани, чи я буду с вами спорить, чи што? Так, то пускай и так... Я насчет мельницы к вам пришел. От сельсовета пришел с хорошим делом.

Коваль прицелился лбом в Мусия Карповича:

— Насчет мельницы?

— Ну да ж. Вы насчет мельницы хлопочете,— это аренда, значит. И сельсовет же тоже подал заявление. Так от мы так думаем: как вы советская власть, так и сельсовет — советская власть, не может быть такого: то мы, а то —вы...

— Ага,— сказал Коваль несколько иронически.

Так начался в колонии короткий дипломатический период. Я уговорил Коваля и хлопцев напялить на себя дипломатические фраки и белые галстуки, и Лука Семенович с Мусием Карповичем на некоторое время получили возможность появляться на территории колонии без опасности для жизни.

В это время всю колонию сильно занимал вопрос о покупке лошадей. Знаменитые наши рысаки старели на глазах, даже Рыжий начинал отращивать стариковскую бороду, а Малыша совет командиров перевел уже на положение инвалида и назначил ему пенсию. Малыш получил на дожитие постоянное место в конюшне и порцию овса, а запрягать его допускалось только с моего личного разрешения. Шере всегда с презрением относился к Бандитке, Мэри и Коршуну и говорил:

— Хорошее хозяйство то, в котором кони хорошие, а если кони дрянь, значит, и хозяйство — дрянь.

Антон Братченко, переживший влюбленность во всех наших лошадей по очереди и всегда всем предпочитавший Рыжего, и тот теперь под влиянием Шере начинал любить какого-то будущего коня, который вот-вот появится в его царстве. Я, Шере, Калина Иванович и Братченко не пропускали ни одной ярмарки, видели тысячи лошадей, но купить нам все-таки ничего не довелось. То кони были плохие, такие же, как и у нас, то дорого с нас

просили, то находил Шере какую-нибудь припрятанную болезнь или недостаток. И правду нужно сказать, хороших лошадей на ярмарках не было. Война и революция прикончили породистые лошадиные фамилии, а новых заводов еще не народилось. Антон приезжал с ярмарки почти в оскорбленном состоянии:

— Как же это так? Коней нэма. А если нам нужен хороший конь, настоящий конь, так как же? Буржуев просить, чи как?

Калина Иванович, по гусарской старой памяти, любил копаться в лошадином вопросе, и даже Шере доверял его знаниям, изменяя в этом деле своей постоянной ревности. А Калина Иванович однажды в кругу понимающих людей сказал:

— Говорят эти паразиты, Лука та Мусий этот самый, что будто у дядьков на хуторах есть хорошие кони, а на ярмарок не хотят выводить, боятся.

— Неправда,— сказал Шере,— нет у них хороших коней. Есть такие, как мы видели. Хороших коней вот скоро с заводов достать можно будет, еще рановато.

— А я вам кажу — есть,— продолжал утверждать Калина Иванович.— Лука знает, этот сукин сын всю округу знает, как и что. Та и подумайте, откуда ж может взяться хорошая животная, если не у хозяина! А на хуторах хозяева живуть. Он, паразит, тихонько соби сыдыть, а жеребчика выгодовал, держит, сволочь, в тайне, значить, боиться — отберуть. А если поехать — купим...

Я тоже решил вопрос без всяких признаков идеологии.

— В ближайшее воскресенье едем, посмотрим. А может быть, и купим что-нибудь.

Шере согласился:

— Отчего не поехать? Коня, конечно, не купим, а проехаться хорошо. Посмотрю, что за хлеба у этих «хозяев».

В воскресенье запрягли фаэтон и мягко закачались на мягких селянских дорогах. Проехали Гончаровку, пересекли харьковский большак, шагом проползли через засыпанную песком сосновую рощу и выехали, наконец, в некоторое царство-государство, где никогда еще не были.

С высокой пологой возвышенности открылся довольно приятный пейзаж. Перед нами без конца, от горизонта до горизонта, ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она не поражала разнообразием; может быть, в этой самой простоте и было что-то красивое. Равнина плотненько была засеяна хлебом; золотые, золотисто-зеленые, золотисто-желтые ходили кругом широкие волны, изредка подчеркнутые ярко-зелеными пятнами проса или полем рябенькой гречихи. А на этом золотом фоне с непостижимой правильностью были расставлены группы белоснежных хат, окруженные приземистыми бесформенными садиками. У каждой группы одно-два дерева: вербы, осины, очень редко тополи и баштан с грязно-коричневым куренем. Все это было выдержано в точном стиле; самый придирчивый художник не мог бы здесь обнаружить ни одного ложного мазка.

Картина понравилась и Калине Ивановичу:

— Вот видите, как хозяева живуть? Тут тебе живуть аккуратные люди.

— Да,— неохотно согласился Шере.

— Давайте завернем к этому,— предложил Калина Иванович.

По забитой травкой дорожке повернул Антон к примитивным воротам, сделанным из трех тонких стволов вербы, связанных лыком. Серый задрипанный пес, потягиваясь, вылез из-под воза и хрипло, с трудом пересиливая лень, протявкал. Из хаты вышел хозяин и, стряхивая что-то с нечесаной бороды, с удивлением и некоторым страхом воззрился на мой полувоенный костюм.

— Драстуй, хозяин! — весело сказал Калина Иванович.— От церкви, значиться, вернулись?

— Я до церкви редко бываю,— ответил хозяин таким же ленивым хриплым голосом, как и охранитель его имущества.— Жинка разве когда... А откедова будете?

— А мы по такому хорошему делу: кажут люди, что у вас коня можно доброго купить, а?

Хозяин перевел глаза на наш выезд. Недостаточно гармонированная пара Рыжего и вороной Мэри, видимо, его успокоила.

— Как вам это сказать? Чтобы хорошие лошади были, так где ж там! А есть у меня лошинка, третий год,— може, вам пригодится?

Он отправился в конюшню и из самого дальнего угла вывел трехлетку кобылку, веселую и упитанную.

— Не запрягал? — спросил Шере.

— Так чтобы запрягать куды для какого дела, так нет, а проезжать — проезжал. Можно проехаться. Добре бежит, не могу ничего такого сказать.

— Нет,— сказал Шере,— молода для нас. Нам для работы нужно.

— Молода, молода,— согласился хозяин.— Так у хороших людей подрасти может. Это такое дело. Я за нею три года ходил. Добре ходил, вы же бачите?

Кобылка действительно была холеная: блестящая, чистая шерсть, расчесанная грива, во всех отношениях она была чистоплотнее своего воспитателя и хозяина.

— А сколько, к примеру, эта кобылка, а? — спросил Калина Иванович.

— Вижу так, что хозяева покупают, да если магарыч хороший будет, так шестьдесят червяков.

Антон уставился на верхушку вербы и, наконец, сообразив, в чем дело, ахнул:

— Сколько? Шестьсот рублей?

— Шестьсот же,— сказал хозяин скромно.

— Шестьсот рублей вот за это г...? — не сдерживая гнева, закричал Антон.

— Сам ты г..., много ты понимаешь! Ты походи за конем, а потом будешь говорить.

Калина Иванович примирительно сказал:

— Нельзя так сказать, что г..., кобылка хорошая, но только нам не подходить.

Шере молча улыбнулся. Мы уселись в фаэтон и поехали дальше. Серый отсалютовал нам прежним тявканьем, а хозяин, закрывая ворота, даже не посмотрел нам вдогонку.

Мы побывали на десятке хуторов. Почти в каждом были лошади, но мы ничего не купили.

Домой возвращались уже под вечер. Шере уже не рассматривал поля, а о чем-то сосредоточенно думал. Антон злился на Рыжего и то и дело перетягивал его кнутом, приговаривая:

— Одурел, что ли? Бурьяна не бачив, смотри ты...

Калина Иванович со злостью посматривал на придорожную нехворощу и бурчал всю дорогу:

— Какой же, понимаешь ты, скверный народ, паразиты! Приезжают до них люди, ну, там продав чи не продав, так будь же человеком, будь же хозяином, сволочь. Ты ж видишь, паразит, что люди с утра в дороге, дай же поисты, есть же у тебя чи там борщ, чи хоть картошка... Ты ж пойми: бороду расчесать ему николы, ты видав такого? А за паршивую лошичку шестьсот рублей! Он, видите, «ходыв за лошичкою». Тай не он ходыв, а сколько там этих самых батрачков, ты видав?

Я видел этих молчаливых замазур, перепуганно застывших возле сажей и конюшен в напряженном наблюдении неслыханных событий: приезда городских людей. Они ошеломлены чудовищным сочетанием стольких почтенностей на одном дворе. Иногда эти немые деятели выводили из конюшен лошадей и застенчиво подавали хозяину повод, иногда даже они похлопывали коня по крупу, выражая этим, может быть, и ласку к привычному живому существу.

Калина Иванович, наконец, замолчал и раздраженно курил трубку. Только у самого въезда в колонию он сказал весело:

— От выморили голодом, чертовы паразиты!..

В колонии мы застали Луку Семеновича и Мусия Карповича. Лука был очень поражен неудачей нашей экспедиции и протестовал:

— Не может такого дела буты! Раз я сказал Антону Семеновичу и Калине Ивановичу, так отетое самое дело мы сполним. Вы, Калина Иванович, не утруждайте себе, потому нет хуже, када у человека нервы спорчены. А вот на той неделе поедем с вами, только пускай Антон Семенович не едут, у них вид такой, хэ-хэ-хэ, большевицький, так народ опасается.

В следующее воскресенье Калина Иванович поехал на хутора с Лукой Семеновичем и на его лошади. Братченко к этому отнесся хладнокровно-безнадежно и зло пошутил, провожая:

— Вы хоть хлеба возьмите на дорогу, а то с голоду сдохнете.

Лука Семенович погладил рыжую красавицу-бороду над праздничной вышитой рубашкой и аппетитно улыбнулся розовыми устами:

— Как это можно, товарищ Братченко? До людей едем, как это можно такое дело: свой хлеб брать! Поимо сегодня и борщу настоящего и баранины, а може хто й пляшку соорудить.

Он подмигнул заинтересованному Калине Ивановичу и взял в руки фасонные темно-красные вожжи. Широкий кормленый жеребец охотно заколыхался под раскоряченной дугой, увлекая за собой добротную, щедро окованную бричку.

Вечером все колонисты, как по пожарному сигналу, сбежались к неожиданному явлению: Калина Иванович приехал победителем. За бричкой был привязан жеребец Луки Семеновича, а в оглоблях пришла красивая, серая в яблоках, большая кобыла. И Калина Иванович и Лука Семенович носили на себе доказательства хорошего приема, оказанного им лошадиными хозяевами. Калина Иванович с трудом вылез из брички и старался изо всех сил, чтобы колонисты не заметили этих самых доказательств. Карабанов помог Калине Ивановичу:

— Магарыч был, значит?

— Ну, а как же! Ты ж видишь, какая животная.

Калина Иванович похлопывал кобылу по неизмеримому крупу. Кобыла была и в самом деле хороша: мохнатые мощные ноги, рост, богатырская грудь, ладная, массивная фигура. Никаких пороков не мог найти в ней и Шере, хотя и долго лазил под ее животом и то и дело весело и нежно просил:

— Ножку, дай ножку...

Хлопцы покупку одобрили. Бурун, серьезно прищурив глаза, обошел кобылу со всех сторон и отозвался:

— Наконец-то в колонии лошадь, как лошадь.

И Карабанову кобыла понравилась:

— Да, это хозяйская лошадь. Эта стоит пятьсот рублей. Если таких лошадей десяток, можно пироги исты.

Братченко кобылу принял с любовным вниманием, ходил вокруг нее и причмокивал от удовольствия, поражался с радостным оживлением ее громадной и спокойной силе, ее мирному, доверчивому характеру. У Антона по-

явились перспективы, он пристал к Шере с настойчивым требованием:

— Жеребца нужно хорошего. Свой завод будет, понимаете?

Шере понимал, серьезно-одобрительно поглядывал на Зорьку (так звали кобылу) и говорил сквозь зубы:

— Буду искать жеребца. У меня наметилось одно место. Только вот пшеницу уберем — поеду.

В колонии в это время с самого утра до заката проходила работа, ритмически постукивая на проложенных Шере точных и гладких рельсах. Сводные отряды колонистов, то большие, то малые, то состоящие из взрослых, то нарочито пацаньи, вооруженные то сапками, то косами, то граблями, то собственными пятернями, с четкостью расписания скорого поезда проходили в поле и обратно, блестя смехом и шутками, бодростью и уверенностью в себе, до конца зная, где, что и как нужно сделать. Иногда Оля Воронова, наш помагронома, приходила с поля и между глотками воды из кружки в кабинете говорила дежурному командиру:

— Пошли помощь пятому сводному.

— А что такое?

— С вязкой отстают... жарко.

— Сколько?

— Человек пять. Девочки есть?

— Есть одна.

Оля вытирает губы рукавом и уходит куда-то. Дежурный с блокнотом в руках направляется под грушу, где с самого утра расположился штаб резервного сводного отряда. За дежурным командиром бежит смешной мелкой побежкой дежурный сигналист. Через минуту из-под груши раздается короткое «стаккато» сбора резерва. Из-за кустов, из реки, из спален стремглав вылетают пацаны, у груши собирается кружок, и еще через минуту пятерка колонистов быстрым шагом направляется к пшеничному полю.

Мы уже приняли сорок пацанов пополнения. Целое воскресенье возились с ними колонисты, банили, одевали, разбивали по отрядам. Число отрядов мы не увеличили, а перевели наши одиннадцать в красный дом, оставив в каждом определенное число мест. Поэтому новенькие крепко увязаны старыми кадрами и с гордостью

чувствуют себя горьковцами, только ходить еще не умеют, «лазят», как говорит Карабанов.

Народ пришел к нам все молодой, тринадцати-четырнадцати лет, и есть замечательно хорошие морды, особенно симпатичные после того, когда разрумянится пацан в бане, блестят на нем новые сатиновые трусики, а голова если и плохо пострижена, так Белухин успокаивает:

— Сегодня они сами стриглись, так, понимаете, не очень... Вечерком придет парикмахер, так мы оформим.

Пополнение дня два ходит по колонии с расширенными зрачками, фиксируя всякие новые впечатления. Заходит в свинарню и удивленно таращится на строгого Ступицына.

Антон с пополнением принципиально не разговаривает:

— Чего это прилезли? Ваше место пока что в столовой.

— Почему в столовой?

— А что ж ты еще умеешь делать? Ты — хлебный токарь.

— Нет, я буду работать.

— Знаем, как вы работаете: за тобой двух надзирателей ставить нужно. Правда?

— А вот командир говорил: послезавтра на работу, вот посмотришь.

— Подумаешь, посмотрю,— не видел, что ли: ой, жарко! ой, воды хочется! ой, папа, ой, мама!..

Пацаны смущенно улыбаются:

— Какая там мама... ничего подобного.

Но уже к вечеру первого дня у Антона появляются симпатии. Какими-то неизвестными способами он отбирает любителей лошадей. Смотришь, по дорожке на поле уже катится бочка с водой, а на бочке сидит новый горьковец Петька Задорожный и правит Коршуном, сопровождаемый напутствием из дверей конюшни:

— Не гони коня, не гони, это не пожарная бочка.

Через день новенькие участвуют в сводных отрядах, спотыкаются и кряхтят в непривычных трудовых усилиях, но ряд колонистов упорно проходит по полю картофеля, почти не ломая равнения, и новенькому кажется, что и он равняется со всеми. Только через час он заме-

чает, что на двух новеньких дали один рядок картофеля, а у старых колонистов рядок на каждого. Обливаясь пóтом, он тихонько спрашивает соседа:

— А скоро кончать?

Сняли пшеницу и на току завозились с молотилкой. Шере, грязный и потный, как и все, проверяет шестеренки и поглядывает на стог, приготовленный к молотьбе.

— Послезавтра молотить, а завтра за конем поедем.

— Я поеду,— говорит осторожно Семен, поглядывая на Братченко.

— Поезжай, что же,— говорит Антон.— А хороший жеребец?

— Жеребец ничего себе,— отвечает Шере.

— В совхозе купили?

— В совхозе.

— А сколько?

— Триста.

— Дешево.

— Угу!

— Совецький, значит? — смотрит Калина Иванович на молотилку.— А зачем этот элеватор так высоко задрали?

— Советский,— отвечает Шере.— Ничего не высоко, солома легкая.

В воскресенье отдыхали, купались, катались на лодках, возились с новичками, а под вечер вся аристократия, как всегда, собралась у крыльца белого дома, дышала запахами «снежных королев» и, поражая притаившихся в сторонке новичков, вспоминала разные истории.

Вдруг из-за угла мельницы, вздымая пыль, крутой дугой пятясь от брошенного старого котла, карьером, вылетел всадник. Семен на золотом коне летел прямо к нам, и мы все вдруг смолкли и затаили дыхание: такие вещи мы раньше видели только на картинках в иллюстрациях к сказкам и к «Страшной мести». Конь нес Семена свободным, легким, но в то же время стремительным аллюром, развевая полный, богатый хвост и комкая на ветру пушистую, пронизанную золотым светом гриву. В его движении мы еле успевали пораженной душой вдыхать новые ошеломляющие детали: изогнутую в гордом и капризно-игривом повороте могучую шею и тонкие, просторным махом идущие ноги.

Семен осадил коня перед нами, притянул к его груди небольшую красивую голову. Черный, по углам налитый кровью, молодой и горячий глаз глянул вдруг в самое сердце потерявшегося Антона Братченко. Антон взялся руками за уши, ахнул и затрепетал:

— Цэ наш? Что? Жеребец? Наш?

— Та наш же! — гордо сказал Семен.

— Слазь к чертовой матери с жеребца! — заорал вдруг Антон на Карабанова.— Чего расселся? Мало тебе? От, смотри, запарил. Это вам не куркульская кляча.

Антон ухватился за повод, гневным взглядом повторяя свое приказание.

Семен слез с седла.

— Понимаю, брат, понимаю. Такой конь, может, когда и был, так разве у Наполеона.

Антон каким-то взрывом ветра взвился в седло и потрепал ласково коня по шее. Потом неожиданно смущенно отвернулся и рукавом вытер глаза.

Ребята негромко засмеялись. Калина Иванович улыбнулся, крякнул, еще раз улыбнулся.

— Ничего не скажешь,— такой конь, я тебе скажу... Даже так скажу: не к нашему рылу крыльцо. Да... У нас его спортят.

— Кто испортит? — свирепо наклонился к нему Антон. Он зарычал на колонистов: — Убью! Кто тронет, убью! Палкой! Железной палкой по голове!

Он круто повернул коня, и конь послушно понес его к конюшне кокетливым коротким галопом, как будто обрадовался, что, наконец, уселся в седле настоящий хозяин.

Назвали жеребца «Молодцом».

8. ДЕВЯТЫЙ И ДЕСЯТЫЙ ОТРЯДЫ

В начале июля мы получили мельницу в аренду на три года, с платой по три тысячи рублей в год. Получили в полное свое распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было компаний. Дипломатические сношения с сельсоветом снова были прерваны, да и дни самого сельсовета были уже сочтены. Завоевание мельницы было

победой нашего комсомола на втором участке боевого фронта.

Неожиданно для себя колония начала заметно богатеть и приобретать стиль солидного, упорядоченного и культурного хозяйства.

Если так недавно на покупку двух лошадей мы собирались с некоторым напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ассигновать довольно большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель.

Между делом, почти не затрудняя наших смет, затеял Шере постройку нового коровника, и не успели мы опомниться, как стояло уже на краю двора новое здание, приятное и основательное, и перед ним расположил Шере цветник, в мелкие кусочки разбивая предрассудок, по которому коровник — это место грязи и зловония. В новом коровнике стояло новых пять симменталок, а из наших телят вдруг подрос и поразил нас и даже Шере невиданными статями бык, называемый Цезарем.

Шере очень трудно было получить паспорт на Цезаря, но симментальские стати его были настолько разительны, что паспорт нам все-таки выдали. Имел паспорт и Молодец, с паспортом жил и Василий Иванович, шестнадцатипудовый кнур, которого я давно вывез из опытной станции,— чистокровный англичанин, названный Василием Ивановичем в честь старого Трепке.

Вокруг этих знатных иностранцев — немца, бельгийца и англичанина — легче было организовать настоящее племенное хозяйство.

Царство десятого отряда Ступицына — свинарня — давно уже обратилось в серьезное учреждение, которое по своей мощности и племенной чистоте считалось в нашем округе первым после опытной станции.

Десятый отряд, четырнадцать колонистов, работал всегда образцово. Свинарня — это было такое место в колонии, о котором ни у кого ни на одну минуту не возникало сомнений. Свинарня, великолепная трепкинская постройка пустотелого бетона, стояла посреди нашего двора, это был наш геометрический центр, и она настолько была вылощена и так всем импонировала, что в голову никому не приходило поднять вопрос о шокировании колонии имени Горького.

В свинарню допускался редкий колонист. Многие новички бывали в свинарне только в порядке специальной образовательной экскурсии; вообще для входа в свинарню требовался пропуск, подписанный мною или Шере. Поэтому в глазах колонистов и селян работа десятого отряда была окружена многими тайнами, проникнуть в которые считалось особой честью.

Сравнительно легкий доступ — с разрешения командира десятого отряда Ступицына — был в так называемую приемную. В этом помещении жили поросята, назначенные к продаже, и производилась случка селянских маток.

В приемной клиенты платили деньги, по три рубля за прием; помощник Ступицына и казначей, Овчаренко, выдавали квитанции. В приемной же продавались поросята по твердой цене за килограмм, хотя селяне и доказывали, что смешно продавать поросят на вес, что такое нигде не видано.

Большой наплыв гостей в приемной бывал во время опороса. Шере оставлял от каждого опороса только семь поросят, самых крупных — первенцев, всех остальных отдавал охотникам даром. Тут же Ступицын инструктировал покупателей, как нужно ухаживать за поросенком, отнимаемым от матки, как нужно кормить его при помощи соски, как составлять молоко, как купать, когда переходить на другой корм. Молочные поросята раздавались только по удостоверениям комнезама, а так как у Шере заранее были известны все дни опороса, то у дверей свинарни всегда висел график, в котором было написано, когда приходить за поросятами тому или другому гражданину.

Эта раздача поросят прославила нас по всей округе, и у нас завелось много друзей среди селянства. По всем окрестным селам заходили хорошие английские свиньи, которые, может быть, и не годились на племя, но откармливались — лучше не надо.

Следующее отделение свинарни был поросятник. Это настоящая лаборатория, в которой производились пристальные наблюдения за каждым индивидуумом, раньше чем определялся его жизненный путь. Поросят у Шере собиралось несколько сот, в особенности весной. Многих талантливых «пацанов» колонисты знали в лицо и вни-

мательно, с большой ревностью следили за их развитием. Самые выдающиеся личности известны были и мне, и Калине Ивановичу, и совету командиров, и многим колонистам. Например, со дня рождения пользовался нашим общим вниманием сын Василия Ивановича и Матильды. Он родился богатырем, с самого начала показал все потребные качества и назначался в наследники своему отцу. Он не обманул наших ожиданий и скоро был помещен в особняке рядом с папашей под именем Петра Васильевича, названного так в честь молодого Трепке.

Еще дальше помещалась откормочная. Здесь царили рецепты, данные взвешивания, доведенные до совершенства мещанское счастье и тишина. Если в начале откорма некоторые индивиды еще проявляли признаки философии и даже довольно громко излагали кое-какие формулы мировоззрения и мироощущения, то через месяц они молча лежали на подстилке и покорно переваривали свои рационы. Биографии их заканчивались принудительным кормлением, и наступал, наконец, момент, когда индивид передавался в ведомство Калины Ивановича, и Силантий на песчаном холме, у старого парка, без единой философской судороги превращал индивидуальности в продукт, а у дверей кладовой Алешка Волков приготовлял бочки для сала.

Последнее отделение — маточная, но сюда могли входить только первосвященники, и я всех тайн этого святилища не знаю.

Свинарня приносила нам большой доход; мы никогда даже не рассчитывали, что так быстро придем к рентабельному хозяйству. Упорядоченное до конца полевое хозяйство Шере приносило нам огромные запасы кормов: бурака, тыквы, кукурузы, картофеля. Осенью мы насилу-насилу все это могли спрятать.

Получение мельницы открывало широкие дороги впереди. Мельница давала нам не только плату за помол — четыре фунта с пуда зерна, но давала и отруби — самый драгоценный корм для наших животных.

Мельница имела значение и в другом разрезе: она ставила нас в новые отношения ко всему окрестному селянству, и эти отношения давали нам возможность вести ответственную большую политику. Мельница — это коло-

нийский наркоминдел. Здесь шагу нельзя было ступить, чтобы не очутиться в сложнейших переплетах тогдашних селянских конъюнктур. В каждом селе были комнезамы, большею частью активные и дисциплинированные, были середняки, кругленькие и твердые, как горох, и, как горох, рассыпанные в отдельные, отталкивающиеся друг от друга силы, были и «хозяева» — кулаки, охмуревшие в своих хуторских редутах и одичавшие от законсервированной злобы и неприятных воспоминаний.

Получивши мельницу в свое распоряжение, мы сразу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллективами и коллективам будем предоставлять первую очередь. Просили производить запись коллективов заранее. Незаможники легко сбивались в такие коллективы, приезжали своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и быстро производили расчет, и работа на мельнице катилась, как по рельсам. «Хозяева» составили коллективы небольшие, но крепко сбитые взаимными симпатиями и родственными связями. Они орудовали как-то солидно-молчаливо, и часто даже трудно было разобрать, кто у них старший.

Зато, когда приезжала на мельницу компания середняков, работа колонистов обращалась в каторгу. Они никогда не приезжали вместе, а растягивались на целый день. Бывал у них и уполномоченный, но он сдавал свое зерно, конечно, первым и немедленно уезжал домой, оставляя взволнованную разными подозрениями и несправедливостями толпу. Позавтракав — по случаю путешествия — с самогоном, наши клиенты приобретали большую наклонность к немедленному решению многих домашних конфликтов и после словесных прений и хватаний друг друга «за грудки» из клиентов обращались к обеду в пациентов перевязочного пункта Екатерины Григорьевны, в бешенство приводя колонистов. Командир девятого отряда, работавший на мельнице, Осадчий нарочно приходил в больницу ссориться с Екатериной Григорьевной:

— На что вы его перевязываете? Разве их можно лечить? Это ж граки, вы их не знаете. Начнете лечить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы сразу вылечим. Лучше посмотрели бы, что на мельнице делается!

И девятый отряд и заведующий мельницей Денис Кудлатый, правду нужно сказать, умели лечить буянов и приводить их к порядку, с течением времени заслужив в этой области большую славу и добившись непогрешимого авторитета.

До обеда хлопцы еще спокойно стоят у станков посреди бушующего моря матерных эпиграмм, эманаций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчетов за очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспоминаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены девятого отряда, подержав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег Коломака. С самым деловым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают на берегу и с примерной добросовестностью обливают десятком ведер воды. Подвергаемый экзекуции сначала не может войти в суть происходящих событий и упорно возвращается к темам, затронутым на мельнице. Осадчий, расставив черные от загара ноги и заложив руки в карманы трусиков, внимательно прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами следит за каждым его движением.

— Этот еще три раза «мать» сказал. Дай ему еще три ведра.

Озабоченный Лапоть снизу с берега, с размаху подает указанное количество и после этого деланно серьезно, как доктор, рассматривает физиономию пациента.

Пациент, наконец, начинает что-то соображать, протирает глаза, трясет головой, даже протестует:

— Есть такие права? Ах, вы мать вашу...

Осадчий спокойно приказывает:

— Еще одну порцию.

— Есть одну порцию аш два о,— ладно и ласково говорит Лапоть и, как последнюю драгоценную дозу лекарства, выливает из ведра на голову бережно и заботливо. Нагнувшись к многострадальной мокрой груди, он так же ласково и настойчиво требует:

— Не дышите... Дышите сильней... Еще дышите... Не дышите.

К общему восторгу окончательно замороченный пациент послушно выполняет требования Лаптя, то замирает в полном покое, то начинает раздувать живот и хэкать. Лапоть с просветленным лицом выпрямляется:

— Состояние удовлетворительное: пульс 370, температура 15.

Лапоть в таких случаях умеет не улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах высоконаучных. Только ребята у реки хохочут, держа в руках пустые ведра, да толпа селян стоит на горке и сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо, серьезно спрашивает:

— Кто следующий? Чья очередь в кабинет водолечения?

Селяне с открытым ртом, как нектар, принимают каждое слово Лаптя и начинают смеяться за полминуты до произнесения этого слова.

— Товарищ профессор,— говорит Лапоть Осадчему,— больных больше нет.

— Просушить выздоравливающих,— отдает распоряжение Осадчий.

Девятый отряд с готовностью начинает укладывать на травке и переворачивать под солнцем действительно приходящих в себя пациентов. Один из них уже трезвым голосом просит, улыбаясь:

— Та не треба... я й сам... я вже здоровый.

Вот только теперь и Лапоть добродушно и открыто смеется и докладывает:

— Этот здоров, можно выписать.

Другие еще топорщатся и даже пытаются сохранить в действии прежние формулы: «Да ну вас...», но короткое напоминание Осадчего о ведре приводит их к полному состоянию трезвости, и они начинают упрашивать:

— Та не нада, честное слово, якось вырвалось, привычка, знаете...

Лапоть таких исследует очень подробно, как самых тяжелых, и в это время хохот колонистов и селян доходит до высших выражений, прерываемый только для того, чтобы не пропустить новых перлов диалога:

— Говорите, привычка? Давно это с вами?

— Та що вы, хай бог милуеть,— краснеет и смущается пациент, но как-нибудь решительно протестовать боится, ибо у реки девятый отряд еще не оставил ведер.

— Значит, недавно? А родители ваши матюкались?

— Та само ж собой,— неловко улыбается пациент.

— А дедушка?

— Та й дедушка...

— А дядя?

— Ну да ж...

— А бабушка?

— Та натурально... Э, шо вы, бог с вами. Бабушка, мабуть, нет...

Вместе со всеми и Лапоть радуется тому, что бабушка была совершенно здорова. Он обнимает мокрого больного.

— Пройдет, я говорю: пройдет. Вы к нам чаще приезжайте, мы за лечение ничего не берем.

И больной, и его приятели, и враги умирают от припадков смеха. Лапоть серьезно продолжает, направляясь уже к мельнице, где Осадчий отпирает замок:

— А если хотите, мы можем и на дом выезжать. Тоже бесплатно, но вы должны заявить за две недели, прислать за профессором лошадей, а кроме того, ведра и вода ваши. Хотите и папашу вашего вылечим. И мамашу можно.

— Та мамаша у него не болееть такой болезнею,— сквозь хохот заявляет кто-то.

— Позвольте, я же вас спрашивал о родителях, а вы сказали: та само собой.

— Та ну,— поражается выздоровевший.

Селяне приходят в полное восхищение:

— А га-га-га-га... от смотри ж ты... на ридну маты чого наговорыв...

— Хто?

— Та... Явтух же той... хворый, хворый... Ой, не можу, ой пропав, слово чести, пропав, от сволочь! Ну й хлопець же, та хочь бы тоби засмиявся... Добрый доктор...

Лаптя почти с триумфом вносят в мельницу, и в машинное отделение отдается приказание продолжать. Те-

перь тон работы диаметрально противоположный: клиенты с чрезмерной даже готовностью исполняют все распоряжения Кудлатого, беспрекословно подчиняются установленной очереди и с жадностью прислушиваются к каждому слову Лаптя, который действительно неистощим и на слово и на мимику. К вечеру помол оканчивается, и селяне нежно пожимают колонистам руки, а усаживаясь на воз, страстно вспоминают:

— А бабушка, каже... Ну й хлопець. От на сэло хочь бы по одному такому, так нихто и до церквы нэ ходыв бы.

— Гей, Карпо, що, просох? Га? Просох? А голова як? Все добре? А бабушка? Га-га-га-га...

Карпо смущенно улыбается в бороду, поправляя мешки на возу, и вертит головой:

— Не думав ничого, а попав в больницю...

— А ну, матюкнысь, чи ни забув?

— Э, ни, тепера разви, як Сторожево проидэмо, то може на коня заматюкаеться...

— Га-га-га-га...

Слава о водолечебнице девятого отряда скоро разнеслась кругом, и приезжающие к нам помольцы то и дело вспоминали об этом прекрасном учреждении и непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем. Лапоть серьезно и дружелюбно подавал им руку:

— Я только первый ассистент. А главный профессор вот: товарищ Осадчий.

Осадчий холодно оглядывает селян. Селяне осторожно хлопают Лаптя по голым плечам:

— Систент? У нас тепера и на сели, як бува хто загнеть, так кажуть: чи не привесты до тебе водяного ликаря з колонии. Бо кажуть, вин може и до дому выехаты...

Скоро на мельнице мы добились нашего тона. Было оживленно, весело и бодро, дисциплина ходила на строгих мягких лапах и осторожно, «за ручку», переставляла случайных нарушителей на правильные места.

В июле мы провели перевыборы сельсовета. Без боя Лука Семенович и его друзья сдали позиции. Председателем стал Павло Павлович Николаенко, а из колонистов в сельсовет попал Денис Кудлатый.

9. ЧЕТВЕРТЫЙ СВОДНЫЙ

В конце июля заработал четвертый сводный отряд в составе пятидесяти человек под командой Буруна. Бурун был признанный командир четвертого сводного, и никто из колонистов не претендовал на эту трудную, но почетную роль.

Четвертый сводный отряд работает «от зари до зари». Хлопцы чаще говорили, что он работает «без сигнала», потому что для четвертого сводного ни сигнал на работу, ни сигнал с работы не давался. Четвертый сводный Буруна сейчас работает у молотилки.

В четыре часа утра, после побудки и завтрака, четвертый сводный выстраивается вдоль цветника против главного входа в белый дом. На правом фланге шеренги колонистов выстраиваются все воспитатели. Они, собственно говоря, не обязаны участвовать в работе четвертого сводного, кроме двух, назначенных в порядке рабочего дежурства, но давно уже считается хорошим тоном в колонии поработать в четвертом сводном, и поэтому ни один уважающий себя человек не прозевает приказа об организации четвертого сводного. На правом фланге поместились и Шере, и Калина Иванович, и Силантий Отченаш, и Оксана, и Рахиль, и две прачки, и Спиридон секретарь, и находящийся в отпуску старший вальцовщик с мельницы, и колесный инструктор Козырь, и рыжий и угрюмый наш садовник Мизяк, и его жена, красавица Наденька, и жена Журбина, и еще какие-то люди,— я даже всех и не знаю.

И в шеренге колонистов много добровольцев: свободные члены десятого и девятого отрядов, второго отряда конюхов, третьего отряда коровников,— все здесь.

Только Мария Кондратьевна Бокова, хоть и потрудилась встать рано и пришла к нам в стареньком ситцевом сарафане, не становится в строй, а сидит на крылечке и беседует с Буруном. Мария Кондратьевна с некоторых пор не приглашает меня ни на чай, ни на мороженое, но относится ко мне не менее ласково, чем к другим, и я на нее ни за что не в обиде. Мне она нравится даже больше прежнего: серьезнее и строже стали у нее глаза и душевнее шутка. За это время познакомилась Мария Кондратьевна со многими пацанами и девчата-

ми, подружилась с Силантием, опробовала на вес и некоторые наши тяжелые характеры. Милый и прекрасный человек Мария Кондратьевна, и все же я ей говорю потихоньку:

— Мария Кондратьевна, станьте в строй. Все будут вам рады в рабочих рядах.

Мария Кондратьевна улыбается на утреннюю зарю, поправляет розовыми пальчиками капризный и тоже розовый локон, и немножко хрипло, из самой глубины груди отвечает:

— Спасибо. А что я буду сегодня... молоть, да?

— Не молоть, а молотить,— говорит Бурун.— Вы будете записывать выход зерна.

— А я это смогу хорошо делать?

— Я вам покажу, как.

— А может быть, вы для меня слишком легкую работу дали?

Бурун улыбается:

— У нас вся работа одинаковая. Вот вечером, когда будет ужин четвертому сводному, вы расскажете.

— Господи, как хорошо: вечером ужин, после работы...

Я вижу, как волнуется Мария Кондратьевна, и, улыбаясь, отворачиваюсь. Мария Кондратьевна, уже на правом фланге, звонко смеется чему-то, а Калина Иванович галантерейно пожимает ей руку и тоже смеется, как квалифицированный фавн.

Выбежали и застрекотали восемь барабанщиков, пристраиваясь справа. Играя мальчишескими пружинными талиями, вышли и приготовились четыре трубача. Подтянулись, посуровели колонисты.

— Под знамя — смирно!

Подбросили в шеренге легкие голые руки — салют. Дежурная по колонии Настя Ночевная, в лучшем своем платье, с красной повязкой на руке, под барабанный грохот и серебряный привет трубачей провела на правый фланг шелковое горьковское знамя, охраняемое двумя настороженно холодными штыками.

— Справа по четыре, шагом марш!

Что-то запуталось в рядах взрослых, вдруг пискнула и пугливо оглянулась на меня Мария Кондратьевна, но

марш барабанщиков всех приводит к порядку. Четвертый сводный вышел на работу.

Бурун бегом нагоняет отряд, подскакивает, выравнивая ногу, и ведет отряд туда, где давно красуется высокий стройный стог пшеницы, сложенный Силантием, и несколько стогов поменьше и не таких стройных — ржи, овса, ячменя и еще той замечательной ржи, которую даже граки не могли узнать и смешивали с ячменем; эти стоги сложены Карабановым, Чоботом, Федоренко, и нужно признать — как ни парились хлопцы, как ни задавались, а перещеголять Силантия не смогли.

У нанятого в соседнем селе локомобиля ожидают прихода четвертого сводного измазанные серьезные машинисты. Молотилка же наша собственная, только весной купленная в рассрочку, новенькая, как вся наша жизнь.

Бурун быстро расставляет свои бригады, у него с вечера все рассчитано, недаром он старый комсвод-четыре. Над стогом овса, назначенного к обмолоту последним, развевается наше знамя.

К обеду уже заканчивают пшеницу. На верхней площадке молотилки самое людное и веселое место. Здесь блестят глазами девчата, покрытые золотисто-серой пшеничной пылью, из ребят только Лапоть. Он неутомимо не разгибает ни спины, ни языка. На главном, ответственном пункте лысина Силантия и пропитанный той же пылью его незадавшийся ус.

Лапоть сейчас специализируется на Оксане.

— Это вам колонисты назло сказали, что пшеница. Разве это пшеница? Это горох.

Оксана принимает еще не развязанный сноп пшеницы и надевает его на голову Лаптя, но это не уменьшает общего удовольствия от лаптевых слов.

Я люблю молотьбу. Особенно хороша молотьба к вечеру. В монотонном стуке машин уже начинает слышаться музыка, ухо уже вошло во вкус своеобразной музыкальной фразы, бесконечно разнообразной с каждой минутой и все-таки похожей на предыдущую. И музыка эта такой счастливый фон для сложного, уже усталого, но настойчиво неугомонного движения: целыми рядами, как по сказочному заклинанию, подымаются с обезглавленного стога снопы и после короткого нежного прикосновения на смертном пути к рукам колонистов вдруг

обрушиваются в нутро жадной, ненасытной машины, оставляя за собой вихрь разрушенных частиц, стоны взлетающих, оторванных от живого тела крупинок. И в вихрях, и в шумах, и в сутолоке смертей многих и многих снопов, шатаясь от усталости и возбуждения, смеясь над усталостью, наклоняются, подбегают, сгибаются под тяжелыми ношами, хохочут и шалят колонисты, обсыпанные хлебным прахом и уже осененные прохладой тихого летнего вечера. Они прибавляют в общей симфонии к однообразным темам машинных стуков, к раздирающим диссонансам верхней площадки победоносную, до самой глубины мажорную музыку радостной человеческой усталости. Трудно уже различить детали, трудно оторваться от захватывающей стихии. Еле-еле узнаешь колонистов в похожих на фотографический негатив золотисто-серых фигурах. Рыжие, черные, русые — они теперь все похожи друг на друга. Трудно согласиться, что стоящая с утра с блокнотом в руках под самыми густыми вихрями призрачно склоненная фигура — это Мария Кондратьевна; трудно признать в ее компаньоне, нескладной, смешной, сморщенной тени — Эдуарда Николаевича, и только по голосу я догадываюсь, когда он говорит, как всегда, вежливо-сдержанно:

— Товарищ Бокова, сколько у нас сейчас ячменя?

Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к закату:

— Четыреста пудов уже,— говорит она таким срывающимся, усталым дискантом, что мне по-настоящему становится ее жалко.

Хорошо Лаптю, который в крайней усталости находит выходы.

— Галатенко! — кричит он на весь ток.— Галатенко!

Галатенко несет на голове на рижнатом копье двухпудовый набор соломы и из-под него откликается, шатаясь:

— А чего тебе приспичило?

— Иди сюда на минуточку, нужно...

Галатенко относится к Лаптю с религиозной преданностью. Он любит его и за остроумие, и за бодрость, и за любовь, потому что один Лапоть ценит Галатенко и уверяет всех, что Галатенко никогда не был лентяем.

Галатенко сваливает солому к локомобилю и спешит

к молотилке. Опираясь на рижен и в душе довольный, что может минутку отдохнуть среди всеобщего шума, он начинает с Лаптем беседу.

— А чего ты меня звал?

— Слушай, друг,— наклоняется сверху Лапоть, и все окружающие начинают прислушиваться к беседе, уверенные, что она добром не кончится.

— Ну, слухаю...

— Пойди в нашу спальню...

— Ну?

— Там у меня под подушкой...

— Що?

— Под подушкой, говорю...

— Так що?

— Там у меня найдешь под подушкой...

— Та понял, под подушкой...

— Там лежат запасные руки.

— Ну, так шо с ними робыть? — спрашивает Галатенко.

— Принеси их скорее сюда, бо эти уже никуда не годятся,— показывает Лапоть свои руки под общий хохот.

— Ага! — говорит Галатенко.

Он понимает, что смеются все над словами Лаптя, а может быть, и над ним. Он изо всех сил старался не сказать ничего глупого и смешного, и как будто ничего такого и не сказал, а говорил только Лапоть. Но все смеются еще сильнее, молотилка уже стучит впустую, и уже начинает «париться» Бурун:

— Что тут случилось? Ну, чего стали? Это ты все, Галатенко?

— Та я ничего...

Все замирают, потому что Лапоть самым напряженно-серьезным голосом, с замечательной игрой усталости, озабоченности и товарищеского доверия к Буруну, говорит ему:

— Понимаешь, эти руки уже не варят. Так разреши Галатенко пойти принести запасные руки.

Бурун моментально включается в мотив и говорит Галатенко немного укорительно:

— Ну конечно, принеси, что тебе — трудно? Какой ты ленивый человек, Галатенко!

Уже нет симфонии молотьбы. Теперь захватила дыхание высокоголосая какофония хохота и стонов, даже Шере смеется, даже машинисты бросили машину и хохочут, держась за грязные колени. Галатенко поворачивается к спальням. Силантий пристально смотрит на его спину:

— Смотри ж ты, какая, брат, история...

Галатенко останавливается и что-то соображает. Карабанов кричит ему с высоты соломенного намета:

— Ну, чего ж ты стал? Иди же!

Но Галатенко растягивает рот до ушей. Он понял, в чем дело. Не спеша он возвращается к рижну и улыбается. На соломе хлопцы его спрашивают:

— Куда это ты ходил?

— Та Лапоть придумал, понимаешь,— принеси ему запасные руки.

— Ну, и что же?

— Та нэма у него никаких запасных рук, брешет все.

Бурун командует:

— Отставить запасные руки! Продолжать!

— Отставить, так отставить,— говорит Лапоть,— будем и этими как-нибудь.

В девять часов Шере останавливает машину и подходит к Буруну:

— Уже валятся хлопцы. А еще на полчаса.

— Ничего,— говорит Бурун.— Кончим.

Лапоть орет сверху:

— Товарищи горьковцы! Осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заморимся. Я не согласен.

— А чего ж ты хочешь? — насторожился Бурун.

— Я протестую! За полчаса ноги вытянем. Правда ж, Галатенко?

— Та, конечно ж, правда. Полчаса — это много.

Лапоть подымает кулак.

— Нельзя полчаса. Надо все это кончить, всю эту кучу за четверть часа. Никаких полчаса!

— Правильно! — орет и Галатенко.— Это он правильно говорит.

Под новый взрыв хохота Шере включает машину. Еще через двадцать минут — все кончено. И сразу на

всех нападает желание повалиться на солому и заснуть. Но Бурун командует:

— Стройся!

К переднему ряду подбегают трубачи и барабанщики, давно уже ожидающие своего часа. Четвертый сводный эскортирует знамя на его место в белом доме. Я задерживаюсь на току, и от белого дома до меня долетают звуки знаменного салюта. В темноте на меня наступает какая-то фигура с длинной палкой в руке.

— Кто это?

— А это я, Антон Семенович. Вот пришел к вам насчет молотилки, это, значит, с Воловьего хутора, и я ж буду Воловик по хвамилии...

— Добре. Пойдем в хату...

Мы тоже направляемся к белому дому. Воловик, старый, видно, шамкает в темноте.

— Хорошо это у вас, как у людей раньше было...

— Чего это?

— Да вот, видите, с крестным ходом молотите, по-настоящему.

— Да где же крестный ход! Это знамя. И попа у нас нету.

Воловик немного забегает вперед и жестикулирует палкой в воздухе:

— Да не в том справа, что попа нету. А в том, что вроде как люди празднуют, выходит так, будто праздник. Видишь, хлеб собрать человеку — торжество из торжеств, а у нас люди забыли про это.

У белого дома шумно. Как ни устали колонисты, все же полезли в речку, а после купанья — и усталости как будто нет. За столами в саду радостно и разговорчиво, и Марии Кондратьевне хочется плакать от разных причин: от усталости, от любви к колонистам, оттого, что восстановлен и в ее жизни правильный человеческий закон, попробовала и она прелести трудового свободного коллектива.

— Легкая была у вас работа? — спрашивает ее Бурун.

— Не знаю,— говорит Мария Кондратьевча.— Наверное, трудная, только не в том дело. Такая работа все равно — счастье.

За ужином подсел ко мне Силантий и засекретничал:

— Там это, сказали вам, здесь это, передать, значит: в воскресенье к вам люди, как говорится, придут, насчет Ольки. Видишь, какая история.

— Это от Николаенко?

— Здесь это, от Павла Ивановича, старика, значит. Так ты, Антон Семенович, как это говорится, постарайся: рушники, видишь, здесь это, полагается и хлеб, и соль, и больше никаких данных.

— Голубчик Силантий, так ты это устрой все.

— Здесь это, устрою, как говорится, так, видишь, такая, брат, история: полагается в таком месте выпить, самогонку или что, видишь.

— Самогонку нельзя, Силантий, а вина сладкого купи две бутылки.

10. СВАДЬБА

В воскресенье пришли люди от Павла Ивановича Николаенко. Пришли знакомые: Кузьма Петрович Могорыч и Осип Иванович Стомуха. Кузьму Петровича в колонии все хорошо знали, потому что он жил недалеко от нас, за рекой. Это был разговорчивый, но не солидный человек. У него было засоренное песчаное поле, на которое он почти никогда не выезжал, и росла на том поле всякая дрянь, большею частью по собственной инициативе. Через это поле было протоптано неисчислимое количество дорожек, потому что оно у всех лежало на пути. Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле, и на нем ничего путного не растет, и тоже кажется, будто каждый куст грязновато-черной бороденки растет по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И по лицу его были проложены многочисленные тропинки морщин, складок, канавок. От своего поля только тем отличался Кузьма Петрович, что на поле не торчало такого тонкого и длинного носа.

Осип Иванович Стомуха, напротив, отличался красотой. Во всей Гончаровке не было такого стройного и красивого мужчины, как Осип Иванович. У него был большой и рыжий ус и нахально-скульптурные, хорошего рисунка глаза; он носил полугородской, полувоенный костюм и умел всегда казаться подтянутым и тонким.

У Осипа было много родственников из очень заможнего селянства, но сам он почему-то земли не имел, а пробавлялся охотой. Он жил на самом берегу реки, в одинокой, убежавшей из села хате.

Хоть и ожидали мы гостей, но они застали нас слабо подготовленными,— да и кто его знает, как нужно было готовиться к такому непривычному делу? Впрочем, когда они вошли в мой кабинет, в нем было солидно, тихо и внушительно. Застали они только меня и Калину Ивановича. Гости вошли, пожали нам руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать. Осип Иванович обрадовал меня, когда начал просто:

— Раньше в таких делах про охотников рассказывали: шли мы на охоту та проследили лисицу, красную девицу, а та лисица — красная девица... та я думаю, что это не надо теперь, хоть я ж и охотник.

— Это правильно,— сказал я.

Кузьма Петрович засеменил ногами, сидя на диване, и помотал бороденкой:

— Дурачество это, я так скажу.

— Не то что дурачество, а не ко времени,— поправил Стомуха.

— Время разное бываеть,— начал поучительно Калина Иванович.— Бываеть народ темный, так ему еще мало, он еще и сам всякую потьму на себя напускаеть, а потом и живеть, как остолоп какой, всего боиться: и грома, и месяца, и кошки. А теперь совецькая власть, хэ-хэ, теперь разве заградительного отряду надо бояться, а то все не страшно...

Стомуха перебил Калину Ивановича, который, очевидно, забыл, что собрались не для ученых разговоров:

— Мы просто скажем: прислал нас известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Степановна. Вы — как отец здесь, в колонии, так чи не отдадите вашу, так сказать, вроде приблизительно дочку Олю Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же теперь председатель сельсовета.

— Просим нам ответ дать,— запищал и Кузьма Петрович.— Если есть ваше такое согласие, как уже и батько хотят, дадите нам рушники и хлеб, а если такого со-

гласия вашего не последует, то просим не обижаться, что побеспокоили.

— Хэ-хэ-хэ, того будет малувато, что просим не обижаться,— сказал Калина Иванович,— а полагается по этому дурацькому вашему закону гарбуза домой нести.

— Гарбуза не сподиваемося,— улыбнулся Осип Иванович,— да и время теперь такое, что гарбуз еще не вродился.

— Она-то правда,— согласился Калина Иванович.— То раньше девка, гордая если сдуру, так она нарочно полную комору гарбузов держала. А если женихи не приходили, так она, паразитка, кашу варила. Хорошая гарбузяная каша, особенно если с пшеном...

— Так какой ваш родительский ответ будет? — спросил Осип Иванович.

Я ответил:

— Спасибо вам, Павлу Ивановичу и Евдокии Степановне за честь. Только я не отец, и власть у меня не родительская. Само собой нужно спросить Олю, а потом для всяких подробностей надо постановить совету командиров.

— А это мы вам не указчики. Как по новому обычаю полагается, так и делайте,— просто согласился Осип Иванович.

Я вышел из кабинета и в следующей комнате нашел дежурного по колонии, попросил его протрубить сбор командиров. В колонии чувствовались непривычные горячка и волнение. Набежала на меня Настя, со смехом спросила:

— Где эти рушники держать? Туда же нельзя нести? — кивнула она в кабинет.

— Да подожди с рушниками, еще не сговорились. Вы здесь где-нибудь близко побудьте, я позову.

— А кто будет завязывать?

— Что завязывать?

— Да надевать на этих... сватов, чи как их?

Возле меня стоял Тоська Соловьев и держал под мышкой большой пшеничный хлеб, а в руках — солонку, потряхивал солонкой и наблюдал, как подскакивают крупинки соли. Прибежал Силантий.

— Что ж ты, здесь это, трусишь тут хлебом-солью? Это ж надо на блюде...

Он наклонился, скрывая одолевавший его смех:

— Это ж с пацанами беда!.. А закуска как же?

Вошла Екатерина Григорьевна, и я обрадовался:

— Помогите с этим делом.

— Да я их давно ищу. С самого утра таскают этот хлеб по колонии. Идем со мной. Наладим, вы не беспокойтесь. Мы будем у девочек, пришлете.

В кабинет прибежали голоногие командиры.

У меня сохранился список командиров той счастливой эпохи. Это:

Командир первого отряда — сапожников — Гуд.

Командир второго отряда — конюхов — Братченко.

Командир третьего отряда — коровников — Опришко.

Командир четвертого отряда — столяров — Таранец.

Командир пятого отряда — девочек — Ночевная.

Командир шестого отряда — кузнецов — Белухин.

Командир седьмого отряда — Ветковский.

Командир восьмого отряда — Карабанов.

Командир девятого отряда — мельничных — Осадчий.

Командир десятого отряда — свинарей — Ступицын.

Командир одиннадцатого отряда — пацанов — Георгиевский.

Секретарь совета командиров — Колька Вершнев.

Заведующий мельницей — Кудлатый.

Кладовщик — Алеша Волков.

Помагронома — Оля Воронова.

На деле в совете командиров собиралось народу гораздо больше: по полному, неоспоримому праву приходили члены комсомола — Задоров, Жорка Волков, Волохов, Бурун, убеленные сединами старики — Приходько, Сорока, Голос, Чобот, Овчаренко, Федоренко, Корыто, на полу усаживались любители-пацаны и между ними Митька, Витька, Тоська и Ванька Шелапутин обязательно. В совете всегда бывали и воспитатели, и Калина Иванович, и Силантий Семенович. Поэтому в совете всегда не хватало стульев: сидели на окнах, стояли под стенками, заглядывали в окна снаружи.

Колька Вершнев открыл заседание. Сваты потеряли свою торжественность, задавленные на диване десятком

колонистов, перемешавшиеся с голыми их руками и ногами.

Я рассказал командирам о приходе сватов. Никакой новости в этом известии для совета командиров не было, давно все видели дружбу Павла Павловича и Ольги. Вершнев только для формальности спросил Ольгу:

— Ты согласна выйти замуж за Павла?

Ольга немного покраснела и сказала:

— Ну, конечно.

Лапоть надул губы:

— Никто так не делает. Надо было пручаться[1], а мы тебя уговаривали бы. Так скучно.

Калина Иванович сказал:

— Скучно чи не скучно, а надо о деле говорить. Вы вот нам аккуратно скажите: как это будет все — хозяйство и все такое?

Осип Иванович потрогал усы:

— Значит, так: если ваше согласие, свадьбу там, венчанье проведем, молодые после того к старикам,— жить, значит, вместе, и хозяйство вместе.

— А для кого новую хату строили? — спросил Карабанов.

— А то хата будет для Михайла.

— Так Павло ж старший?

— Старший, конечно, он старший, от же старый так решил. Бо Павло жинку берет с колонии.

— Ну, так что, что из колонии? — недружелюбно забурчал Коваль.

Осип Иванович не сразу нашел слова. Тоненьким голосом затарахтел Кузьма Петрович:

— Так получается. Павло Иванович говорят: до хозяина и хозяйку нужно, бо у хозяйки и батько есть, тесть, выходит так,— Михайло берет у Сергея Гречаного. А ваша, значит, в невестки пойдет при Павле Павловиче. И Павло Павлович же и согласие дали.

Карабанов махнул рукой:

— С такими разговорами и до гарбуза можно добалакаться. Какое нам дело, что Павел Павлович дал согласие! Он просто, выходит, ну, шляпа, тай годи. Совет

[1] Пручаться — сопротивляться.

командиров Олю так выдать не может. Если так говорить, так это в батрачки к старому черту...

— Семен...— нахмурился Колька.

— Ну, хорошо, хорошо, беру черта обратно. Это раз. А потом, про какое там венчанье говорили?

— А это уже как полагается,— не было такого дела, чтобы без попов женились. Такого у нас на селе не было.

— Так будет,— сказал Коваль.

Кузьма Петрович зачесал в бородке:

— Кто его знает, чи будет, чи не будет. У нас так считается, будто нехорошо: это же выходит — невенчанным жить.

В совете замолчали. Все думали об одном и том же: свадьбы не выйдет. Я даже боялся, что в случае неудачи ребята выпроводят сватов без особенных почестей.

— Ольга, ты пойдешь к попам? — спросил Колька.

— Ты что? Плохо позавтракал? Ты забыл, что я комсомолка?

— С попами дело не пойдет,— сказал я сватам,— думайте как-нибудь иначе. Ведь вы знали, куда шли. Как вам могло прийти в голову, что мы согласимся на церковь?

Силантий поднялся с места и наладил для речи свой палец.

— Силантий, говорить будешь? — спросил Колька.

— Здесь это, спросить хочу.

— Ну, спрашивай.

— Здесь это, Кузьма такой, видишь, человек, мечтатель, как говорится. А вот пусть Осип Иванович скажет: для какого хрена водолазы здесь это, понадобились? Ты лучше бы, здесь это, кабана выкормил.

— Да хай они сказятся! — засмеялся Стомуха.— Я если встречу одного, так и с охоты вертаюсь.

— Значит, здесь это, Кузьме нужны долгогривые, как говорится.

Кузьма Петрович заулыбался:

— Хи-хи, не в том дело, что нужны, и никакой же пользы от них, это само собой. Так видишь что: деды наши и прадеды так делали, а тут еще и Павло Иванович говорит: девку берем бедную, без этого, сказать бы, приданого, ну, и все такое...

Калина Иванович стукнул кулаком по столу:

— Это что за разговоры? Кто тебе дал право такое мурлякать? Кто это такой богатый прийшов сюда, задаваться тут будеть? Ты думаешь, как ты с твоим Павлом Ивановичем из земли хату смазали, так уже и губы вам надувать? У него, паразита, понимаешь, стоить стол та две лавки, та кожух заховав в скрыне, так он уже миллионер какой?

Кузьма Петрович перепугался и запищал:

— Та разве ж кто задавался тут? Мы только так сказали насчет как бы приданого.

— Ты знаешь, куда ты прийшов, чи не знаешь? Тут тебе совецькая власть, чи ты, може, не видав совецькой власти? Совецькая власть может дать такое приданое, что все твои вонючие деды в гробах тричи[1] перевернуться, паразиты.

— Та мы ж...— слабо возражал Кузьма Петрович.

Хлопцы хохотали и аплодировали Калине Ивановичу.

Калина Иванович разошелся не на шутку.

— Это пускай совет командиров обсудить хорошенько. Факт: пришли они свататься к нам, нам же нужно подумать, чи отдавать нашу дочку Ольгу за такого голодранция, как этот самый Николаенко, который только и видит, что картошку с цыбулей лопает да лободу разводить, паразит, заместо хлеба. А мы люди богатые, нам нужно осторожно думать.

Общий восторг совета командиров и всех присутствующих показал, что никаких проблем не существует больше. Сваты на время были удалены, и совет командиров приступил к обсуждению, что дать Ольге в приданое.

Хлопцы были задеты за живое всеми предыдущими переговорами и назначили Ольге приданое, по каким угодно меркам, совершенно выдающееся. Позвали Шере, боялись, что он запротестует против больших выдач, но Шере и минутки не подумал и сказал строго:

— Это правильно. Пусть нам будет даже тяжело, но Воронову нужно выдать богато, богаче всех в округе. Куркулям нужно показать место.

---

[1] Тричи — трижды.

Поэтому при обсуждении приданого если и были возражения, то только такого типа:

— И что ты мелешь: лошонка! Не лошонка, а коня нужно дать.

Через час отдышавшихся на свежем воздухе сватов вызвали в совет, и Колька Вершнев поднялся за своим столом и произнес, немного заикаясь, такую внушительную речь.

— Совет командиров постановил: Ольгу выдать за Павла. Павло переходит в отдельную хату, и батько выделяет ему хозяйство, какое может. Никаких попов, записаться в загсе. Первый день свадьбы у нас празднуем, а вы там, как хотите. Ольге на хозяйство даем:

корову с теленком симментальской породы,

кобылу с лошонком,

пятеро овец,

свинью английской породы...

Колька успел охрипнуть, пока дочитал длиннейший список Ольгиного приданого. Здесь были и инвентарь, и семена, и запасы кормов, одежда, белье, мебель, и даже швейная машина. Кончил Колька так:

— Мы будем помогать Ольге всегда, если потребуется, и они обязаны, если нужно, помогать колонии без всякого отказа. А Павлу дать звание колониста.

Сваты испуганно хлопали глазами и имели такой вид, будто они причащаются перед смертью. Уже не беспокоясь о том, правильно выходит или неправильно, прибежали смеющиеся девчата и перевязали сватов рушниками, а пацаны во главе с Тоськой поднесли им на блюде, покрытом рушником, хлеб и соль. Растерявшиеся, неповоротливые сваты взяли хлеб и не знали, куда его девать. Тоська из-под мышки Кузьмы Петровича вытащил блюдо и сказал весело:

— Э, это отдайте, а то попадет мне от мельника. Это его... такая тарелка.

На моем столе разостлали девчата скатерть, поставили три бутылки кагора и полтора десятка стаканов. Калина Иванович налил всем и поднял стакан:

— Ну, чтоб росла та слухала.

— Кого ей слухать? — спросил Осип Иванович.

— А известно кого: совет командиров и вообще совецькую власть.

Мы все чокнулись, выпили вино и закусили бутербродами с колбасой.

Кузьма Петрович кланялся:

— Ну, спасибо вам, что так все хорошо, будем, значить, поздравлять Павла Ивановича и Евдокию Степановну.

— Поздравляй, поздравляй,— сказал Калина Иванович.

Осип Иванович пожал нам руки:

— А вы того... молодец народ, куда нам с вами тягаться!

Сваты, тихие и скромные, как институтки, вышли из кабинета и направились к деревне. Мы смотрели им вслед. Калина Иванович вдруг прищурился весело и недовольно дернул плечом:

— Нет, это не годится так! Что ж они пошли, как адиоты? Нагони их, Петро, скажи, чтобы ко мне шли на квартиру, а ты, Антон, запряжи через часик да и подъезжай.

Через час хлопцы со смехом погрузили сватов в бричку, еще перевязанных рушниками, но уже потерявших много других отличий официальных послов, в том числе и членораздельную речь. Кузьма Петрович, правда, не забыл хлеб и любовно прижимал его к груди. Молодец, как перышко, понес тяжелую бричку по песчаной дороге.

Калина Иванович сплюнул:

— Это он нарочно таких бедных прислал, паразит.

— Кто?

— Да этот самый Николаенко. Это он, значить, показать хотел: какая невеста, такие и сваты.

— Здесь это, не то,— сказал Силантий.— Тут такая, видишь, история: другой сват не пошел бы, как говорится, без попов, а эти люди, здесь это, на попов плевать, такие люди... уже не такие! А старый хрен, здесь это, им так сказал: требуйте с попами будто, а в случае, как говорится, не выйдет, так черт с ними с попами. Видишь, какая история.

В середине августа назначили свадьбу, работали комиссии, готовили спектакль. Забот было много, а еще больше расходов, и Калина Иванович даже грустил:

— Если бы всех наших девчат выдать замуж таким

манером, так бери, Антон Семенович, хлопцив и меня, старого дурня, тай веди просить милостыню... А нельзя ж иначе...

В день свадьбы с утра колония окружена часовыми — два отряда пришлось выделить для охраны. Только семидесяти лицам разослали мы напечатанные в типографии приглашения. На них было написано:

«Совет командиров трудовой колонии имени Максима Горького просит Вас пожаловать на обед, а вечером на спектакль по случаю выпуска из колонии колонистки Ольги Вороновой и выхода ее замуж за тов. П. П. Николаенко.

Совет командиров».

К двум часам дня в колонии все готово. В саду вокруг фонтана накрыты парадные столы. Украшение этого места — подарок кружка Зиновия Ивановича: на тонких тростях, установленных над столовой, везде, куда с трудом проникли руки колонистов и куда так легко проникает сейчас глаз, повисли тонкие зеленые гирлянды, сделанные из нежных березовых побегов. На столах в кувшинах букеты «снежных королев».

Сегодня можно с уверенной радостью видеть, как выросла и похорошела колония. В парке широкие, посыпанные песком дорожки подчеркивают зеленое богатство трех террас, на которых каждое дерево, каждая группа кустов, каждая линия цветника проверены в ночных раздумьях, политы трудовым пòтом сводных отрядов, как драгоценными камнями, украшены заботами и любовью коллектива. Высоты и низины речного берега сурово и привольно-ласково дисциплинированы: то десяток деревянных ступенек, то березовые перильца, то квадратный коверчик цветов, то узенькие витые дорожки, то платформа набережной, усыпанная песком, еще раз доказывают, насколько умнее и выше природы человек, даже вот такой босоногий. И на просторных дворах этого босоногого хозяина, на месте глубоких ран, оставленных ему в наследство, он, пасынок старого человечества, тоже коснулся везде рукой художника. Двести кустов роз высадили здесь колонисты еще осенью, а сколько здесь астр, гвоздики, левкоев, ярко-красной герани, синеньких колоколь-

чиков и еще неизвестных и не названных цветов,— колонисты даже никогда и не считали. Целые шоссе протянулись по краям двора, соединяя и отграничивая площадки отдельных домов, квадраты и треугольники райграса осмыслили и омолодили свободные пролеты, коегде твердо стали зеленые садовые диваны.

Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в колонии, и я, видя это, горжусь долей своего участия в украшении земли. Но у меня свои эстетические капризы: ни цветы, ни дорожки, ни тенистые уголки ни на одну минуту не заслоняют от меня вот этих мальчиков в синих трусиках и белых рубашках. Вот они бегают, спокойно прохаживаются между гостями, вот они хлопочут вокруг столов, стоят на постах, сдерживая сотни ротозеев, пришедших посмотреть на невиданную свадьбу,— вот они, горьковцы. Они стройны и собранны, у них хорошие, подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что такое медицина, тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в колонии,— с улицы приходят в колонию совсем не такие лица.

У каждого из них есть свой путь и есть путь у колонии имени Горького. Я ощущаю в своих руках многие начала этих путей, но как трудно рассмотреть в близком тумане будущего их направления, продолжения, концы. В тумане ходят и клубятся стихии, еще не побежденные человеком, еще не крещенные в плане и математике. И в нашем марше среди этих стихий есть своя эстетика, но эстетика цветов и парков уже не волнует меня.

Не волнует еще и потому, что подходит ко мне Мария Кондратьевна и спрашивает.

— Что это вы, папаша, грустите в одиночестве?

— Как же мне не грустить, когда меня все бросили, даже и вы?

— Я рада вас утешить, я даже нарочно искала вас и выставки приданого не хотела без вас смотреть. Пойдемте.

В двух классах собрано все хозяйство Ольги. На выставке толпятся гости, сердитые, завистливые бабы поджимают губы и злобно-внимательно присматриваются ко мне. Они высокомерно обошли нашу невесту и женили своих сыновей на хуторских девчатах, а теперь оказывается, что самые заможные невесты были у них под бо-

ком. Я признаю их право относиться ко мне с негодованием.

Бокова говорит:

— Но что вы будете делать, если к вам сваты станут ходить толпами?

— Я застрахован,— отвечаю я: — наши невесты переборчивы.

Прибежал вдруг пацан, перепуганный насмерть:

— Едут!

Во дворе уже играют требовательный сигнал общего сбора. У въезда вытянулся строй колонистов со знаменем и взводом барабанщиков, как полагается. Из-за мельницы показалась наша пара: лошади убраны красными ленточками, на козлах Братченко, тоже украшенный бантом. Мы отдаем салют молодым. Антон натягивает вожжи, и Оля радостно бросается мне на шею. Она волнуется, плачет и смеется и говорит мне:

— Вы же, смотрите, не бросайте меня, а то мне уже страшно.

Мы начинаем маленький митинг. Мария Кондратьевна неожиданно умиляет меня: от имени наробраза она подносит молодым подарок — сельскохозяйственную библиотеку. Целую кучу книг приносят за нею два колониста на убранных цветами носилках.

После митинга мы ставим молодых под знамя и всем строем эскортируем их к столам. Им приготовлено почетное место, и сзади них останавливается знаменная бригада. Дежурный колонист заботливо меняет караул. Двадцать колонистов в белоснежных халатах начинают подавать пищу. Особый сводный отряд Таранца внимательно проводит глазами по линии карманов гостей и бесшумно спускает в Коломак несколько бутылок самогона, реквизированных с ловкостью фокусников и вежливостью хозяев.

Я сижу рядом с молодыми, по другую сторону от них Павел Иванович и Евдокия Степановна. Павел Иванович, строгий человек с бородкой Николая-чудотворца, тяжело вздыхает: то ли ему досадно отделять сына, то ли скучно смотреть на бутылку пива, ибо и у него Таранец только что отнял самогон.

Колонисты сегодня чудесны, я любуюсь ими не отдыхая. Оживлены, добродушны, приветливы и как-то по-

особенному ироничны. Даже одиннадцатый отряд, заседающий на другом конце стола, завел длинные и задорные разговоры с прикомандированной к ним пятеркой гостей. Я немного беспокоюсь, не очень ли откровенно там высказываются. Подхожу. Шелапутин, до сих пор сохранивший свой дискант, наливает пиво Козырю и говорит:

— А вас попы венчали, так, видите, и плохо.

— А давайте мы вас перевенчаем,— предлагает Тоська.

Козырь улыбается:

— Поздно мне, сынки, перевенчиваться.

Козырь крестится и выпивает пиво. Тоська хохочет.

— Теперь у вас живот заболит...

— Спаси господи, отчего?

— А зачем перекрестились?

Рядом сидит селянин с запутанной светло-соломенной бородой — гость по списку Павла Ивановича. Он первый раз в колонии, и его все удивляет:

— Хлопцы, а это правда, что вы тут хозяева?

— Ну, а кто ж? — отвечает Шурка.

— А для чего же вам хозяйство?

Тоська Соловьев поворачивается к нему всем телом:

— А разве вы не знаете, для чего? То мы батраками были бы, а то нет.

— А чем ты теперь будешь, к примеру?

— Ого! — говорит Тоська, подымая пирог высоко за ухом.— Я буду инженером, так и Антон Семенович говорит, а Шелапутин будет летчиком.

Он насмешливо посматривал на своего друга, Шелапутина. Это потому, что его линия летчика еще никем не признана в колонии. Шелапутин энергично жует:

— Угу, буду летчиком.

— А вот, скажем, насчет крестьянства, так у вас нету охочих?

— Как нету? Есть. Только наши будут не такими крестьянами.— Тоська быстро взглядывает на собеседника.

— Вот оно какое дело! Значится, как же это понять: не такими?

— Ну, не такими. Тракторы будут. Вы видели трактор?

— Нет, не довелось.

— А мы видели. Там есть такой совхоз, так мы туда свиней отвозили. Там трактор есть, как жук такой...

Длинная линия гостей основательно связана нашими отрядами. Я ясно различаю границы отрядов и вижу их центры, в которых сейчас наиболее шумно. Веселее всего в девятом отряде, потому что там Лапоть, вокруг него хохочут и стонут и колонисты и гости. Сегодня Лапоть, сговорившись с своим другом Таранцом, устроил большую и сложную каверзу с компанией мельничной верхушки, сидящей за столом девятого отряда и порученной по приказу его вниманию. Это плотный и пушистый мельник, худой и острый бухгалтер и вальцовщик — человек скромный. Когда-то Таранец был карманщиком, и для него пустым делом было вынуть из кармана мельника бутылку с самогоном и заменить ее другой, наполненной обыкновенной водой из Коломака.

За столом мельник и бухгалтер долго стеснялись и оглядывались на сводный отряд Таранца. Но Лапоть успокоительно моргнул:

— Вы люди свои, я устрою.

Он наклоняет к себе голову проходящего Таранца и что-то ему шепчет. Таранец кивает головой.

Лапоть конфиденциально советует:

— Вы под столом налейте и пивом закрасьте, и хорошо.

После акробатических упражнений под столом возле жаждущих стоят стаканы, полные подозрительно бледного пива, и счастливые обладатели их нервно готовят закуску под внимательным взглядом притаившегося девятого отряда. Наконец все готово, и мельник хитро моргает Лаптю, поднося стакан к бороде. Бухгалтер и вальцовщик еще осторожно равняются направо и налево, но кругом все спокойно. Таранец скучает у тополя. Глаза Лаптя начинают пламенеть, и он прикрывает их веками.

Мельник говорит тихонько:

— Ну, хай буде все добре.

Девятый отряд, наклонив головы, наблюдает, как три гостя осушают стаканы. Уже в последних бульканьях замечается некоторая неуверенность. Мельник ставит

пустой стакан на стол и посматривает осторожным глазом на Лаптя, но Лапоть скучно жует и о чем-то далеком думает. Бухгалтер и вальцовщик изо всех сил стараются показать, что ничего особенного не случилось — и даже тыкают вилками в закуску.

Бывалый мельник под столом рассматривает бутылку, но его нежно кто-то берет за руку. Он подымает голову: над ним продувная веснушчатая физиономия Таранца.

— Как же вам не стыдно! — говорит Таранец и даже краснеет от искренности.— Было же сказано, нельзя приносить самогон, а еще свой человек... И смотри ты, уже и выпили. А кто с вами?

— Та черт его знает,— потерялся мельник,— чи выпили, чи нет, и не разберу.

— Как это не разберете? А ну, дыхните! Ну... смотри ты, не разберет! От вас же несет, как из бочки. И как вам не стыдно: прийти в колонию с такими вещами...

— А что такое? — издали заинтересовывается Калина Иванович.

— Самогон,— говорит Таранец, показывая бутылку.

Калина Иванович грозно смотрит на мельника. Девятый отряд давно уже находится в припадочном состоянии, вероятно, потому, что Лапоть что-то смешное рассказывает о Галатенко. Ребята положили головы на столы и больше не могут выносить ничего смешного.

Здесь веселья хватит до конца обеда, потому что Лапоть время от времени спрашивает мельника:

— А что — мало? А больше нет? Вот горе!.. А хорошая была? Так себе?.. Вот только Федор, жалко, придирается. Ну, что ты пристал, Федька,— свои же люди!

— Нельзя,— говорит серьезно Таранец.— Смотри, они насилу сидят.

У Лаптя впереди еще большая программа. Он еще будет бережно поднимать мельника из-за стола и на ухо шептать ему:

— Давайте, мы вас садом проведем, а то заметно очень...

Восьмой отряд Карабанова сегодня на охране, но он сам то и дело появляется возле столов, в том месте, где ярким костром горит философия, возбужденная необычной свадьбой. Здесь Коваль, Спиридон, Калина Иванович, Задоров, Вершнев, Волохов и председатель коммуны

имени Луначарского, с козлиной рыжей бородкой умный Нестеренко.

Коммуна за рекой живет неладно, не управляется с полями, не умеет развесить и разложить нагрузки и права, не осиливает бабьих вздорных характеров и не в силах организовать терпение в настоящем и веру в завтрашний день. Нестеренко грустно итожит:

— Надо бы новых каких-то людей достать .. А где их достанешь?

Калина Иванович горячо отвечает:

— Не так говоришь, товарищ Нестеренко, не так... Эти новые, паразиты, ничего не способны сделать как следовает. Надо обратно стариков прибавить...

За столами становится шумнее. Принесли яблоки и груши наших садов, и на горизонте показались бочки с мороженым — гордость сегодняшнего дежурства.

За домом захрипела гармошка, и испортило день визгливое бабье пение — одна из казней свадебного ритуала. Полдесятка баб кружились и топали перед пьяненьким кислооким гармонистом, постепенно подвигаясь к нам.

— За приданым приехали,— сказал Таранец.

Румяная костлявая женщина затопала, видимо, специально для меня, выставляя вперед локти и шаркая по песку неловкими большими башмаками.

— Папаша ридный, папаша дорогый, пропивай дочку, выряжай дочку...

В руках у нее откуда-то взялась бутылка с самогоном и граненая, почему-то коричневого цвета, рюмка. Она с пьяного размаху налила в рюмку, поливая землю и свое платье. Между мною и ею стал Таранец:

— Довольно с тебя.

Он легко отнял у нее угощение, но она уже забыла обо мне и жадно набросилась на Ольгу с радостно-пьяным причитанием:

— Красавица наша Ольга Петровна! И косы распустила... Не годится так, не годится. Вот завтра очипок наденем, ходить в очипке будешь.

— И не надену,— неожиданно строго сказала Ольга.

— А как же? Так с косами и будешь?

— Ну да, с косами.

Бабы что-то завизжали, заговорили, наступая на Ольгу. Злой, раздраженный Волохов растолкал их и в упор спросил главную:

— А если не наденет, так что?

— Тай не надевай, не надевай, вам же лучше знать, все равно не венчались!

Подошли дипломаты дядьки и развели хохочущих, облитых самогоном баб в разные стороны. Мы с Ольгой вышли из парка.

— Я их не боюсь,— сказала Ольга,— а только трудно будет.

Мимо нас колонисты проносили мебель и узлы с костюмами. Сегодня идет «Женитьба» Гоголя, а перед спектаклем еще и лекция Журбина «Свадебные обычаи у разных народов».

Еще далеко, очень далеко до конца праздника.

11. ЛИРИКА

Вскоре после свадьбы Ольги нагрянула на нас давно ожидаемая беда: нужно было провожать рабфаковцев. Хотя о рабфаке говорили еще со времен «нашего найкращего» и к рабфаку готовились ежедневно, хотя ни о чем так жадно не мечтали, как о собственных рабфаковцах, и хотя все это дело было делом радостным и победным, а пришел день прощания, и у всех засосало под ложечкой, навернулись на глаза слезы, и стало страшно: была колония, жила, работала, смеялась, а теперь вот разъезжаются, а этого как будто никто и не ожидал. И я проснулся в этот день со стесненным чувством потери и беспокойства.

После завтрака все переоделись в чистые костюмы, приготовили в саду парадные столы, в моем кабинете знаменная бригада снимала со знамени чехол, и барабанщики приделывали к своим животам барабаны. И эти признаки праздника не могли потушить огоньков печали; голубые глаза Лидочки были заплаканы с утра; девчонки откровенно ревели, лежа в постелях, и Екатерина Григорьевна успокаивала их безуспешно, потому что и сама еле сдерживала волнение. Хлопцы были серьезны и молчаливы. Лапоть казался бесталанно скучным чело-

веком, пацаны располагались в непривычно строгих линиях, как воробьи на проволоке, и у них никогда не было столько насморков. Они чинно сидят на скамейках и барьерах, заложив руки между колен, и рассматривают предметы, помещающиеся гораздо выше их обычного поля зрения: крыши, верхушки деревьев, небо.

Я разделяю их детское недоумение, я понимаю их грусть — грусть людей, до конца уважающих справедливость. Я согласен с Тоськой Соловьевым: с какой стати завтра в колонии не будет Матвея Белухина? Неужели нельзя устроить жизнь более разумно, чтобы Матвей никуда не уезжал, чтобы не было у Тоськи большого, непоправимого, несправедливого горя? А разве у Матвея один корешок Тоська, и разве уезжает один Матвей? Уезжают: Бурун, Карабанов, Задоров, Крайник, Вершнев, Голос, Настя Ночевная, и у каждого из них корешки насчитываются дюжинами, а Матвей, Семен и Бурун — настоящие люди, которым так сладко подражать и жизнь без которых нужно начинать сначала.

Угнетали колонию не только эти чувства. И для меня и для каждого колониста ясно было, что колонию положили на плаху и занесли над нею тяжелый топор, чтобы оттяпать ей голову.

Сами рабфаковцы имели такой вид, будто их приготовили для того, чтобы принести в жертву «многим богам необходимости и судьбы». Карабанов не отходил от меня, улыбался и говорил:

— Жизнь так сделана, что как-то все неудобно. На рабфак ехать, так это ж счастье, это, можно сказать, чи снится, чи якась жар-птица, черт его знает. А на самом деле, може, оно и не так. А може, и так, что счастье наше сегодня отут и кончается, бо колонии жалко, так жалко... як бы никто не бачив, задрав бы голову и завыв, ой, завыв бы... аж тоди, може, и легче б стало... Нэма правды на свете.

Из угла кабинета смотрит на нас злым глазом Вершнев:

— Правда одна: люди.

— Сказал! — смеется Карабанов.— А ты что... ты уже и у кошек правду шукав?

— Н-н-нет, не в том дело... а в том, что люди должны быть хорошие, иначе к-к ч-черту в-всякая правда.

Если, понимаешь, сволочь, так и в социализме будет мешать. Я это сегодня понял.

Я внимательно посмотрел на Николая:

— Почему сегодня?

— Сегодня люди, к-к-как в зеркале. А я не знаю: то все была работа, и каждый день такой... рабочий, и все такое. А сегодня к-к-как-то видно. Горький правду написал, я раньше не понимал, то есть и понимал, а значения не придавал: человек. Это тебе не всякая сволочь. И правильно: есть люди, а есть и человеки.

Такими словами прикрывали рабфаковцы свежие раны, уезжая из колонии. Но они страдали меньше нас, потому что впереди у них стоял лучезарный рабфак, а у нас не было впереди ничего лучезарного.

Накануне собрались вечером воспитатели на крыльце моей квартиры, сидели, стояли, думали и застенчиво прижимались друг к другу. Колония спала, было тихо, тепло, звездно. Мир казался мне чудесным сиропом страшно сложного состава: вкусно, увлекательно, а из чего он сделан — не разберешь, какие гадости в нем растворены — неизвестно. В такие минуты нападают на человека философские жучки, и человеку хочется поскорее понять непонятные вещи и проблемы. А если завтра от вас уезжают «насовсем» ваши друзья, которых вы с некоторым трудом извлекли из социального небытия, в таком случае человек тоже смотрит на тихое небо и молчит, и мгновениями ему кажется, будто недалекие осокори, вербы, липы шепотом подсказывают ему правильные решения задачи.

Так и мы бессильной группой, каждый в отдельности и все согласно молчали и думали, слушали шепот деревьев и смотрели в глаза звездам. Так ведут себя дикари после неудачной охоты.

Я думал вместе со всеми. В ту ночь, ночь моего первого настоящего выпуска, я много передумал всяких глупостей. Я никому не сказал о них тогда; моим коллегам даже казалось, что это они только ослабели, а я стою на прежнем месте, как дуб, несокрушимый и полный силы. Им, вероятно, было даже стыдно проявлять слабость в моем присутствии.

Я думал о том, что жизнь моя каторжная и несправедливая. О том, что я положил лучший кусок жизни только для того, чтобы полдюжины «правонарушителей» могли поступить на рабфак, что на рабфаке и в большом городе они подвергнутся новым влияниям, которыми я не могу управлять, и кто его знает, чем все это кончится? Может быть, мой труд и моя жертва окажутся просто не нужным никому сгустком бесплодно израсходованной энергии?..

Думал и о другом: почему такая несправедливость?.. Ведь я сделал хорошее дело, ведь это в тысячу раз труднее и достойнее, чем пропеть романс на клубном вечере, даже труднее, чем сыграть роль в хорошей пьесе, хотя бы даже и в МХАТе... Почему там артистам сотни людей аплодируют, почему артисты пойдут спать домой с ощущением людского внимания и благодарности, почему я в тоске сижу темной ночью в заброшенной в полях колонии, почему мне не аплодируют хотя бы гончаровские жители? Даже хуже: я то и дело тревожно возвращаюсь к мысли о том, что для выдачи рабфаковцам «приданого» я истратил тысячу рублей, что подобные расходы нигде в смете не предусмотрены, что инспектор финотдела, когда я к нему обратился с запросом, сухо и осуждающе посмотрел на меня и сказал:

— Если вам угодно, можете истратить, но имейте в виду, что начет на ваше жалованье обеспечен.

Я улыбнулся, вспомнив этот разговор. В моем мозгу сразу заработало целое учреждение: в одном кабинете кто-то горячий слагал убийственную филиппику против инспектора, в соседней комнате кто-то бесшабашный сказал громко: «Наплевать», а рядом, нависнув над столами, услужливая мозговая шпана подсчитывала, в течение скольких месяцев придется мне выплачивать по начету тысячу рублей. Это учреждение работало добросовестно, несмотря на то, что в моем мозгу работали и другие учреждения. В соседнем здании шло торжественное заседание: на сцене сидели наши воспитатели и рабфаковцы, стоголосый оркестр гремел «Интернационал», ученый педагог говорил речь.

Я снова мог улыбнуться: что хорошего мог сказать ученый педагог? Разве он видел Карабанова с наганом в руке, «стопорщика» на большой дороге, или Буруна на

чужом подоконнике, «скокаря» Буруна, друзья которого по подоконникам были расстреляны? Он не видел.

— О чем вы все думаете? — спрашивает меня Екатерина Григорьевна.— Думаете и улыбаетесь?

— У меня торжественное заседание,— говорю я.

— Это видно. А все-таки скажите нам, как мы теперь будем без ядра?

— Ага, вот еще один отдел будущей педагогической науки, отдел о ядре.

— Какой отдел?

— Это я о ядре. Если есть коллектив, то будет и ядро.

— Смотря какое ядро.

— Такое, какое нам нужно. Нужно быть более высокого мнения о нашем коллективе, Екатерина Григорьевна. Мы здесь беспокоимся о ядре, а коллектив уже выделил ядро, вы даже и не заметили. Хорошее ядро размножается делением, запишите это в блокнот для будущей науки о воспитании.

— Хорошо, запишу,— соглашается уступчиво Екатерина Григорьевна.

На другой день воспитательский коллектив был невыразителен и торжествовал строго официально. Я не хотел усиливать настроения и играл, как на сцене, играл радостного человека, празднующего достижение лучших своих желаний.

В полдень пообедали за парадными столами и много и неожиданно смеялись. Лапоть в лицах показывал, что получится из наших рабфаковцев через семь-восемь лет. Он изображал, как умирает от чахотки инженер Задоров, а у кровати его врачи Бурун и Вершнев делят полученный гонорар, приходит музыкант Крайник и просит за похоронный марш уплатить немедленно, иначе он играть не будет. Но в нашем смехе и в шутках Лаптя на первый план выпирала не живая радость, а хорошо взнузданная воля.

В три часа построились, вынесли знамя. Рабфаковцы заняли места на правом фланге. От конюшни подъехал на Молодце Антон, и пацаны нагрузили на воз корзинки отъезжающих. Дали команду, ударили барабаны, и колонна тронулась к вокзалу. Через полчаса вылезли из сыпучих песков Коломака и с облегчением вступили

на мелкую крепкую травку просторного шляха, по которому когда-то ходили татары и запорожцы. Барабанщики расправили плечи, и палочки в их руках стали веселее и грациознее.

— Подтянись, голову выше! — потребовал я строго.

Карабанов на ходу, не сбиваясь с ноги, обернулся и обнаружил редкий талант: в простой улыбке он показал мне и свою гордость, и радость, и любовь, и уверенность в себе, в своей прекрасной будущей жизни. Идущий рядом с ним Задоров сразу понял его движение, как всегда застенчиво поспешил спрятать эмоцию, стрельнул только живыми глазами по горизонту и поднял голову к верхушке знамени. Карабанов вдруг начал высоко и задорно песню:

Стелыся, барвинку, нызенько,
Прысунься, козаче, блызенько.

Обрадованные шеренги подхватили песню. У меня на душе стало, как Первого мая на площади. Я точно чувствовал, что у меня и у всех колонистов одно настроение: как-то вдруг стало важно, подчеркнуто главное — колония имени Горького провожает своих первых. В честь их реет шелковое знамя, и гремят барабаны, и стройно колышется колонна в марше, и порозовевшее от радости солнце уступает дорогу, приседая к западу, как будто поет с нами хорошую песню, хитрую песню, в которой снаружи влюбленный казак, а на самом деле — отряд рабфаковцев, уезжающий в Харьков, по вчерашнему приказу совета командиров, «седьмой сводный отряд под командой Александра Задорова». Ребята пели с наслаждением и искоса поглядывали на меня: они были довольны, что и мне с ними весело.

Сзади давно курилась пыль, и скоро мы узнали и всадника: Оля Воронова.

Она спрыгнула и предложила мне:

— Садитесь. Хорошее седло — казацкое. А я чуть-чуть не опоздала.

— Что я за полководец? — сказал я. — Пускай Лапоть садится, он теперь ССК [1].

---

[1] ССК — секретарь совета командиров.

— Правильно,— сказал Лапоть и, взгромоздившись на коня, поехал впереди колонны, подбоченившись и покручивая несуществующий ус.

Пришлось дать команду «вольно», потому что и Ольге нужно было высказаться и Лапоть чересчур смешил колонистов.

На вокзале было торжественно-грустно и бестолково-радостно. Студенты залезли в вагон и гордо посматривали на наш строй и на взволнованную нашим приходом публику.

После второго звонка Лапоть сказал короткую речь:

— Смотри ж, сынки, не подкачай. Шурка, ты построже их держи. Да не забудьте этот вагон сдать в музей. И надпись чтобы написали: в этом вагоне ехал на рабфак Семен Карабан.

Назад пошли лугами по узким дорожкам, кладкам, ручейкам и канавкам, через которые нужно было прыгать. Поэтому разбились на приятельские кучки и в наступивших сумерках тихонько выворачивали души и без всякого хвастовства показывали их друг другу. Гуд сказал:

— От я не поеду ни на какой рабфак. Я буду сапожником и буду шить хорошие сапоги. Это разве хуже? Нет, не хуже. А жалко, что хлопцы уехали, правда ж, жалко?

Корявый, кривоногий, основательный Кудлатый строго посмотрел на Гуда:

— Из тебя и сапожник поганый выйдет. Ты мне на прошлой неделе пришил латку, так она отвалилась к вечеру. Такой сапожник, собственно говоря, хуже доктора. А хороший сапожник так и лучше доктора может быть.

В колонии вечером была утомленная тишина. Только перед самым сигналом «спать» пришел дежурный командир Осадчий и привел пьяного Гуда. Он был не столько, впрочем, пьян, сколько нежен и лиричен. Не обращая внимания на общее негодование, Гуд стоял передо мной и негромко говорил, глядя на мою чернильницу:

— Я выпил, потому что так и нужно. Я сапожник, но душа у меня есть? Есть. Если столько хлопцев поехали

куда-то к чертям, и Задоров тоже, могу я это так перенести? Не могу я так перенести. Я пошел и выпил на заработанные деньги. Подметки мельнику прибивал? Прибивал. На заработанные деньги и выпил. Я зарезал кого-нибудь? Оскорбил? Может, девочку какую тронул? Не тронул. А он кричит: идем к Антону! Ну, и идем. А кто такой Антон... это значит вы, Антон Семенович? Кто такой? Зверь? Нет, не зверь. Он человек какой,— может, бузовый? Нет, не бузовый. Ну, так что ж! Я и пришел. Пожалуйста! Вот перед вами — плохой сапожник Гуд.

— Ты можешь выслушать, что я скажу?

— Могу. Я могу слушать, что вы скажете.

— Так вот, слушай, сапоги шить — дело нужное, хорошее дело. Ты будешь хорошим сапожником и будешь директором обувной фабрики только в том случае, если не будешь пить.

— Ну, а если вот уедут столько человек?

— Все равно.

— Значит, я тогда неправильно выпил, по-вашему?

— Неправильно.

— Поправить уже нельзя? — Гуд низко склонил голову.— Накажите, значит.

— Иди спать, наказывать на этот раз не буду.

— Я ж говорил! — сказал Гуд окружающим, презрительно всех оглянул и салютнул по-колонийски:

— Есть идти спать.

Лапоть взял его под руку и бережно повел в спальню, как некоторую концентрированную колонийскую печаль.

Через полчаса в моем кабинете Кудлатый начал раздачу ботинок на осень. Он любовно вынимал из коробки новые ботинки, пропуская по отрядам колонистов по своему списку. У дверей часто кричали:

— А когда менять будешь? Эти на меня тесные.

Кудлатый отвечал, отвечал и рассердился:

— Да говорил же двадцать разов: менять сегодня не буду, завтра менять. Вот остолопы!

За моим столом щурится уставший Лапоть и говорит Кудлатому:

— Товарищи, будьте взаимно вежливы с покупателями.

12. ОСЕНЬ

Снова надвигалась зима. В октябре закрыли бесконечные бурты с бураком, и Лапоть в совете командиров предложил:

— Постановили: вздохнуть с облегчением.

Бурты — это длинные глубокие ямы, метров по двадцать каждая. Таких ям на эту зиму Шере наготовил больше десятка, да еще утверждал, что этого мало, что бурак нужно расходовать очень осторожно.

Бурак нужно было складывать в ямах с такой осторожностью, как будто это оптические приборы. Шере умел с утра до вечера простоять над душой сводного отряда и вякать:

— Пожалуйста, товарищи, не бросайте так, очень прошу. Имейте в виду: если вы один бурачок сильно ударите, на этом месте начнется омертвение, а потом он будет гнить, и гниение пойдет по всему бурту. Пожалуйста, товарищи, осторожнее.

Уставшие от однообразной и вообще «бураковой» работы колонисты не пропускали случая воспользоваться намеченной Шере темой, чтобы немного поразвлечься и отдохнуть. Они выбирают из кучи самый симпатичный, круглый и розовый корень, окружают его всем сводным отрядом, и командир сводного, человек вроде Митьки или Витьки, подымает руки с растопыренными пальцами и громко шепчет:

— Отойди дальше, не дыши. У кого руки чистые?

Появляются носилки. Нежные пальцы комсводотряда берут бурачок из кучи, но уже раздается тревожный возглас:

— Что ты делаешь? Что ты делаешь?

Все в испуге останавливаются и потом кивают головами, когда тот же голос говорит:

— Надо же осторожно.

Первая попавшаяся под руку спецовка свертывается в уютно-мягкую подушечку, подушечка помещается на носилках, а на ней покоится и действительно начинает вызывать умиление розовенький, кругленький, упитанный бурачок. Чтобы не очень заметно улыбаться, Шере грызет стебелек какой-то травки. Носилки подымают с земли, и Митька шепчет:

— Потихоньку, потихоньку, товарищи! Имейте в виду: начнется омертвение, очень прошу...

Митькин голос обнаруживает отдаленное сходство с голосом Шере, и поэтому Эдуард Николаевич не бросает стебелька.

Закончили вспашку на зябь. О тракторе мы тогда только начинали воображать, а плугом на паре лошадей больше полугектара в день никак поднять не удавалось. Поэтому Шере сильно волновался, наблюдая работу первого и второго сводных. В этих сводных работали люди более древней формации, и командирами их бывали такие массивные колонисты, как Федоренко, Корыто, Чобот. Обладая силой, мало уступающей силе запряженной пары, и зная до тонкости работу вспашки, эти товарищи, к сожалению, ошибочно переносили методы вспашки и на все другие области жизни. И в коллективной, и в дружеской, и в личной сфере они любили прямые глубокие борозды и блестящие могучие отвалы. И работа мысли у них совершалась не в мозговых коробках, а где-то в других местах: в мускулах железных рук, в бронированной коробке груди, в монументально устойчивых бедрах. В колонии они стойко держались против рабфаковских соблазнов и с молчаливым презрением уклонялись от всяких бесед на ученые темы. В чем-то они были до конца уверены, и ни у кого из колонистов не было таких добродушно-гордых поворотов головы и уверенно-экономного слова.

Как активные деятели первых и вторых сводных, эти колонисты пользовались большим уважением всех, но зубоскалы наши не всегда были в силах удержаться от сарказмов по их адресу.

В эту осень запутались первый и второй сводные на почве соревнования. В то время соревнование еще не было общим признаком советской работы, и мне пришлось даже подвергнуться мучениям в застенках наробраза из-за соревнования. В оправдание могу только сказать, что соревнование началось у нас неожиданно и не по моей воле.

Первый сводный работал от шести утра до двенадцати дня, а второй — от двенадцати дня до шести вечера. Сводные отряды составлялись на неделю. На новую неделю комбинация колонийских сил по сводным отря-

дам всегда немного изменялась, хотя некоторая специализация и имела место.

Ежедневно перед концом работы сводного отряда на поле выходил наш помагронома Алешка Волков с двухметровой раскорякой и вымерял, сколько квадратных метров сделано сводным отрядом.

Сводные отряды на вспашке работали хорошо, но бывали колебания, зависящие от почвы, лошадей, склона местности, погоды и других причин, на самом деле объективных. Алешка Волков на фанерной доске, повешенной для всяких объявлений, писал мелом:

19 октября 1-й сводный Корыто	2 350 кв. метров
19 октября 1-й сводный Ветковского . . .	2 300 кв. метров
19 октября 2-й сводный Федоренко	2 410 кв. метров
19 октября 2-й сводный Нечитайло	2 270 кв. метров

Само собой так случилось, что ребята увлеклись сравнением результатов их работы, и каждый сводный отряд старался перещеголять своих предшественников. Выяснилось, что наилучшими командирами, имеющими больше шансов остаться победителями, являются Федоренко и Корыто. С давних пор они были большими друзьями, но это не мешало им ревниво следить за успехами друг друга и находить всякие грехи в дружеской работе. В этой области с Федоренко случилась драма, которая доказала всем, что у него тоже есть нервы. Некоторое время Федоренко оставался впереди других сводных, изо дня в день повторяя на фанерной доске Алешки Волкова цифры в пределах 2 500—2 600. Сводные отряды Корыто гнались за этими пределами, но всегда отставали на сорок — пятьдесят квадратных метров, и Федоренко шутил над другом:

— Брось, кум, уже ж видно, что ты еще молодой пахарь...

В конце октября заболела Зорька, и Шере пустил в поле одну пару, а для усиления эффекта выпросил у совета командиров назначение Федоренко в сводный отряд Корыто.

Федоренко не заметил сначала всей драматичности положения, потому что и болезнь Зорьки и необходимость спешить с зябью, имея только одну запряжку, его сильно удручали. Он взялся горячо за дело и опомнил-

ся только тогда, когда Алешка Волков написал на своей доске:

24 октября 2-й сводный Корыто . . . . . 2 730 кв. метров

Гордый Корыто торжествовал победу, а Лапоть ходил по колонии и язвил:

— Да куда ж там Федоренко с Корыто справиться! Корыто ж — это прямо агроном, куда там Федоренко!

Хлопцы качали Корыто и кричали «ура», а Федоренко, заложив руки в карманы штанов, бледнел от зависти и рычал:

— Корыто — агроном? Я такого агронома не бачив!

Федоренко не давали покоя невинными вопросами:

— Ты признаешь, что Корыто победил?

Федоренко все же додумался. В совете командиров он сказал:

— Чего Корыто задается? На этой неделе опять будет одна пара. Дайте мне в первый сводный Корыто, я вам покажу три тысячи метров.

Совет командиров пришел в восторг от остроумия Федоренко и исполнил его просьбу. Корыто покрутил головой и сказал:

— Ой, и хитрый же чертов Федоренко!

— Ты смотри! — сказал ему Федоренко.— Я у тебя работал на совесть, попробуй только симулировать...

Корыто еще до начала работы признал свое тяжелое положение:

— Ну, шо его робыть? От же Федоренко Федоренком, а тут же тебе поле. А если хлопцы скажут, что я подвел Федоренко, плохо робыв, чи як, тоже нехорошо будет.

И Федоренко и Корыто смеялись, выезжая утром в поле. Федоренко положил на плуг огромную палку и обратил на нее внимание друга:

— Ты бачив того дрючка? Я там, в поли, не дуже с тобою нежничать буду.

Корыто краснел сначала от серьезности положения, потом от смеха.

Когда Алешка со своей раскорякой возвращался с поля и уже шарил в карманах, доставая кусок мела, его встречала вся колония, и ребята нетерпеливо допрашивали:

— Ну, как?

Алешка медленно, молча выписывал на доске:

26 октября 1-й сводный Федоренко . . . . 3 010 кв. метров

— Ох, ты, смотри ж ты, Федоренко — три тысячи.

Подошли с поля и Федоренко с Корыто. Хлопцы приветствовали Федоренко как триумфатора, и Лапоть сказал:

— Я ж всегда говорил: куда там Корыто до Федоренко! Федоренко — это тебе настоящий агроном!

Федоренко недоверчиво посматривал на Лаптя, но боялся что-нибудь выразить по поводу его коварной политики, ибо дело происходило не в поле, а во дворе, и в руках у Федоренко не было ручек вздрагивающего, напряженного плуга.

— Как же ты сдал, Корыто? — спросил Лапоть.

— Это потому, что не по правилу, товарищи колонисты. Я так скажу, Федоренко с дрючком выехал в поле, вот какое дело.

— С дрючком,— подтвердил Федоренко,— плуг надо ж чистить...

— И говорил: нежничать не буду.

— А зачем мне с тобой нежничать? Я и теперь скажу: на что ты мне сдался с тобой нежничать, ты ж не дивчына.

— А сколько раз он тебя потянул дрючком? — интересуются хлопцы.

— Та я перелякався того дрючка, так робыв добре, ни разу не потянул. От же ты и плуга тем дрючком не чистил, Федоренко.

— А это у меня был запасный дрючок. А там нашлась такая удобная... той... палочка.

— Если ни разу не потянул, ничего не поделаешь,— пояснил Лапоть.— Ты, Корыто, вел неправильную политику. Тебе нужно было так, знаешь, не спешить да еще заедаться с командиром. Он бы и потянул тебя дрючком. Тогда другое дело: совет командиров, бюро, общее собрание, ой-ой-ой!..

— Не догадался,— сказал Корыто.

Так и осталась победа за Федоренко благодаря его настойчивости и остроумию.

Осень подходила к концу, обильная, хорошо упакованная, надежная. Мы немного скучали по уехавшим в Харьков колонистам, но рабочие дни и живые люди по-прежнему приносили к вечеру хорошие порции смеха и бодрости, и даже Екатерина Григорьевна признавалась:

— А вы знаете, наш коллектив молодец: как будто ничего и не случилось.

Я теперь еще лучше понимал, что, собственно говоря, ничего и не должно было случиться. Успех наших рабфаковцев на испытаниях в Харькове и постоянное ощущение того, что они живут в другом городе и учатся, оставаясь колонистами в седьмом сводном отряде, много прибавили в колонии какой-то хорошей надежды. Командир седьмого сводного Задоров регулярно присылал еженедельные рапорты, и мы их читали на собраниях под одобрительный, приятный гул. Задоров рапорты составлял подробные, с указанием, кто по какому предмету кряхтит, и между делом прибавлял неофициальные замечания:

«Семен собирается влюбиться в одну черниговку. Напишите ему, чтобы не выдумывал. Вершнев только волынит, говорит, что никакой медицины на рабфаке не проходят, а грамматика ему надоела. Напишите ему, чтобы не воображал».

В другом письме Задоров писал:

«Часто к нам приходят Оксана и Рахиль. Мы им даем сала, а они нам кое в чем помогают, а то у Кольки грамматика, а у Голоса арифметика не выходят. Так мы просим, чтобы совет командиров зачислил их в седьмой сводный отряд, дисциплине они подчиняются».

И еще Шурка писал:

«У Оксаны и Рахили нет ботинок, а купить не на что. Мы свои ботинки починили, ходить нужно много, и все по камню. Тех денег, которые прислал Антон Семенович, уже нету, потому что купили книжки и для моего черчения готовальню. Оксане и Рахили нужно купить ботин-

ки, стоят по семи рублей на благбазе. Кормят нас ничего себе, плохо только то, что один раз в день, а сало уже поели. Семен много ест сала. Напишите ему, чтобы ел сала меньше, если еще пришлете сала».

Ребята с горячей радостью постановляли на общем собрании: послать денег, послать сала побольше, принять Оксану и Рахиль в седьмой сводный отряд, послать им значки колонистов, а Семену не нужно писать насчет сала, у них там есть командир, пускай командир сам сало выдает, как полагается командиру. Вершневу написать, чтобы не психовал, а Семену насчет черниговки, пусть будет осторожнее и головы себе не забивает разными черниговками. А если нужно, так пускай черниговка напишет в совет командиров.

Лапоть умел делать общие собрания деловыми, быстрыми и веселыми и умел предложить замечательные формулы для переписки с рабфаковцами. Мысль о том, что черниговка должна обратиться в совет командиров, очень всем понравилась и в дальнейшем получила даже некоторое развитие.

Жизнь седьмого сводного в Харькове в корне изменила тон нашей школы. Теперь все убедились, что рабфак — вещь реальная, что при желании каждый может добиться рабфака. Поэтому мы наблюдали с этой осени заметное усиление энергии в школьных занятиях. Открыто пошли к рабфаку Братченко, Георгиевский, Осадчий, Шнайдер, Глейзер, Маруся Левченко.

Маруся окончательно бросила свои истерики и за это время влюбилась в Екатерину Григорьевну, всегда сопутствуя ей и помогая в дежурстве, всегда провожая ее горящим взглядом. Мне понравилось, что Маруся стала большой аккуратисткой в одежде и научилась носить строгие высокие воротнички и с большим вкусом перешитые блузки. На наших глазах из Маруси вырастала красавица.

И в младших группах стал распространяться запах далекого еще рабфака, и ретивые пацаны часто стали расспрашивать о том, на какой рабфак лучше всего направить им стопы.

С особенной жадностью набросилась на ученье Наташа Петренко. Ей было около шестнадцати лет, но она была неграмотной. С первых же дней занятий обнаружи-

лись у нее замечательные способности, и я поставил перед ней задачу пройти за зиму первую и вторую группы. Наташа поблагодарила меня одними ресницами и коротко сказала:

— А чого ж?

Она уже перестала называть меня «дядечкой» и заметно освоилась в коллективе. Ее полюбили все за непередаваемую прелесть натуры, за постоянную доверчиво-светлую улыбку, за косой зубик и грациозность мимики. Она по-прежнему дружила с Чоботом, и по-прежнему Чобот молчаливо-угрюмо оберегал это драгоценное существо от врагов. Но положение Чобота с каждым днем становилось затруднительнее, ибо никаких врагов вокруг Наташи не было, а зато постепенно заводились у нее друзья и среди девочек и среди хлопцев. Даже Лапоть по отношению к Наташе выступал совсем новым: без зубоскальства и проказ, внимательным, ласковым и заботливым. Поэтому Чоботу приходилось долго ожидать, пока Наташа останется одна, чтобы поговорить или, правильнее, помолчать о каких-то строго конспиративных делах.

Я начал различать в поведении Чобота начало тревоги и не был удивлен, когда Чобот пришел вечером ко мне и сказал:

— Отпустите меня, Антон Семенович, к брату съездить.

— А разве у тебя есть брат?

— А как же, есть. Хозяйствует возле Богодухова. Я от него письмо получил.

Чобот протянул мне письмо. Там было написано:

«А что ты пишешь насчет твоего положения, то приезжай, дорогой брат Мыкола Федорович, и прямо оставайся тут, бо у меня ж и хата большая, и хозяйство не как у другого кого, и моему сердцу будет хорошо, что брат нашелся, а колы полюбил девушку, привози смело».

— Так я хочу проехать посмотреть.

— Ты Наташе говорил?

— Говорил.

— Ну?

— Наташа мало чего понимает. А надо поехать посмотреть, бо я как ушел из дому, так и не видел брата.

— Ну, что же, поезжай к брату, посмотри. Кулак, наверное, брат твой?

— Нет, такого нет, чтобы кулак, бо коняка у него была одна, а про то теперь не знаю, как оно будет.

Чобот уехал в начале декабря и долго не возвращался.

Наташа как будто не заметила его отъезда, оставалась такой же радостно-сдержанной и так же настойчиво продолжала школьную работу. Я видел, что за зиму эта девочка могла бы пройти и три группы.

Новая политика колонистов в школе изменила лицо колонии. Колония стала более культурной и ближе к нормальному школьному обществу. Уж не могло быть ни у одного колониста сомнения в важности и необходимости ученья. А увеличивалось это новое настроение нашей общей мыслью о Максиме Горьком. В одном из своих писем колонистам Алексей Максимович писал:

«Мне хотелось бы, чтобы осенним вечером колонисты прочитали мое «Детство». Из него они увидят, что я совсем такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моем желании учиться и не боялся никакого труда. Верил, что действительно ученье и труд все перетрут».

Колонисты давно уже переписывались с Горьким. Наше первое письмо, отправленное с коротким адресом — «Сорренто, Максиму Горькому», к нашему удивлению, было получено им, и Алексей Максимович немедленно на него ответил приветливым, внимательным письмом, которое мы в течение недели зачитали до дырок. С той поры переписка между нами происходила регулярно. Колонисты писали Горькому по отрядам, письма приносили мне для редакции, но я считал, что никакой редакции не нужно, что чем они будут естественнее, тем приятнее Горькому будет их читать. Поэтому моя редакторская работа ограничивалась такими замечаниями:

— Бумагу выбрали какую-то неаккуратную.

— А почему без подписей?

Когда приходило письмо из Италии, раньше чем оно попадало в мои руки, его должен был подержать в руках каждый колонист, удивиться тому, что Горький сам пишет адрес на конверте, и осуждающим взглядом рассмотреть портрет короля на марке:

— Как они могут, эти итальянцы, терпеть так долго? Король... для чего это?

Письмо разрешалось вскрывать только мне, и я читал его вслух первый и второй раз, а потом оно передавалось секретарю совета командиров и читалось всласть любителями, от которых Лапоть требовал соблюдения только одного условия:

— Не водите пальцем по письму. Есть у вас глаза, и водите глазами,— для чего тут пальцы?

Ребята умели находить в каждой строчке Горького целую философию, тем более важную, что это были строчки, в которых сомневаться было нельзя. Другое дело — книга. С книгой можно еще спорить, можно отрицать книгу, если она неправильно говорит. А это не книга, а живое письмо самого Максима Горького.

Правда, в первое время ребята относились к Горькому с некоторым, почти религиозным благоговением, считали его существом выше всех людей, и подражать ему казалось им почти кощунством. Они не верили, что в «Детстве» описаны события его жизни:

— Так он какой писатель! Он разве мало всяких жизней видел? Видел и описал, а сам он, наверное, как и пацаном был, так не такой, как все.

Мне стоило большого труда убедить колонистов, что Горький пишет правду в письме, что и талантливому человеку нужно много работать и учиться. Живые черты живого человека, вот того самого Алеши, жизнь которого так похожа на жизнь многих колонистов, постепенно становились близкими нам и понятными без всяких напряжений. И тогда в особенности захотелось ребятам повидать Алексея Максимовича, тогда начали мечтать о его приезде в колонию, никогда до конца не поверив тому, что это вообще возможно.

— Доедет он до колонии, как же! Ты думаешь, какой ты хороший, лучше всех. У Горького тысячи таких, как ты,— нет, десятки тысяч...

— Так что же? Он всем и письма пишет?

— А ты думаешь, не пишет? Он тебе напишет двадцать писем в день,— считай, сколько это в месяц? Шестьсот писем. Видишь?

Ребята по этому вопросу затеяли настоящее обследование и специально приходили спрашивать у меня, сколько писем в день пишет Горький.

Я им ответил:

— Я думаю: одно-два письма, да и то не каждый день.

— Не может быть! Больше! Куда!..

— Ничего не больше. Он ведь книги пишет, для этого нужно время. А людей сколько к нему ходит? А отдохнуть ему нужно или нет?

— Так, по-вашему, выходит: вот он нам написал, так это что ж, это значит, какие мы, значит, знакомые такие у Горького?

— Не знакомые,— говорю,— а горьковцы. Он — наш шеф. А чаще будем писать да еще повидаемся, станем друзьями. Таких мало у Горького.

Оживление образа Горького в колонийском коллективе, наконец, достигло нормы, и только тогда я стал замечать не благоговение перед большим человеком, не почитание великого писателя, а настоящую живую любовь к Алексею Максимовичу и настоящую благодарность горьковцев к этому далекому, немного непонятному, необыкновенному, но все же настоящему живому человеку.

Проявить эту любовь колонистам было очень трудно. Писать письма так, чтобы выразить свою любовь, они не умели, даже стеснялись ее выразить, потому что сурово привыкли никаких чувств не выражать. Только Гуд со своим отрядом нашел выход. В своем письме они послали Алексею Максимовичу просьбу, чтобы он прислал мерку со своей ноги, а они ему пошьют сапоги. Первый отряд был уверен, что Горький обязательно исполнит их просьбу, ибо сапоги — это несомненная ценность; сапоги заказывали в нашей сапожной очень редкие люди, и это было дело довольно хлопотливое: нужно было долго ходить по толкучке и найти подходящий набор или хорошие вытяжки, надо было купить и подошвы, и стельку, и подкладку. Нужен был хороший сапожник, чтобы сапоги не жали, чтобы они были красивы. Горь-

кому сапоги всегда будут на пользу, а кроме того, ему будет приятно, что сапоги пошиты колонистами, а не каким-нибудь итальянским сапожником.

Знакомый сапожник из города, считавшийся большим специалистом своего дела, приехав в колонию смолоть мешок муки, подтвердил мнение ребят и сказал:

— Итальянцы и французы не носят таких сапог и шить их не умеют. А только, какие вы сапоги пошьете Горькому? Надо же знать, какие он любит: вытяжки или с головками, какой каблук и голенище... если мягкое — одно дело, а бывает, человеку нравится твердое голенище. И материал тоже: надо пошить не иначе как шевровые сапоги, а голенище хромовое. И высота какая — вопрос.

Гуд был ошеломлен сложностью вопроса и приходил ко мне советоваться:

— Хорошо это будет, если поганые сапоги выйдут? Нехорошо. А какие сапоги: шевровые или лакированные, может? А кто достанет лаковой кожи? Я разве достану? Может, Калина Иванович достанет? А он говорит, куды вам, паразитам, Горькому сапоги шить! Он, говорит, шьет сапоги у королевского сапожника в Италии.

Калина Иванович тут подтверждал:

— Разве я тебе неправильно сказав? Такой еще нет хвирмы: Гуд и компания. Хвирменные сапоги вы не пошьете. Сапог нужный такой, чтобы на чулок надеть и мозолей не наделать. А вы привыкли как? Три портянки намотаешь, так и то давит, паразит. Хорошо это будет, если вы Горькому мозолей наделаете?

Гуд скучал и даже похудел от всех этих коллизий.

Ответ пришел через месяц. Горький писал:

«Сапог мне не нужно. Я ведь живу почти в деревне, здесь и без сапог ходить можно».

Калина Иванович закурил трубку и важно задрал голову:

— Он же умный человек и понимает: лучше ему без сапог ходить, чем надевать твои сапоги, потому что даже Силантий в твоих сапогах жизнь проклинает, на что человек привычный...

Гуд моргал глазами и говорил:

— Конечно, разве можно пошить хорошие сапоги, если мастер здесь, а заказчик аж в Италии? Ничего, Калина Иванович, время еще есть. Он если к нам приедет, так увидите, какие сапоги мы ему отчубучим...

Осень протекала мирно.

Событием был приезд инспектора Наркомпроса, Любови Савельевны Джуринской. Она приехала из Харькова нарочно посмотреть колонию, и я встретил ее, как обыкновенно встречал инспекторов, с настороженностью волка, привыкшего к охоте на него. В колонию привезла ее румяная и счастливая Мария Кондратьевна.

— Вот знакомьтесь с этим дикарем,— сказала Мария Кондратьевна.— Я раньше тоже думала, что он интересный человек, а он просто подвижник. Мне с ним страшно: совесть начинает мучить.

Джуринская взяла Бокову за плечи и сказала:

— Убирайся отсюда, мы обойдемся без твоего легкомыслия.

— Пожалуйста,— ласково согласились ямочки Марии Кондратьевны,— для моего легкомыслия здесь найдутся ценители. Где сейчас ваши пацаны? На речке?

— Мария Кондратьевна! — кричал уже с речки высокий альт Шелапутина.— Мария Кондратьевна! Идите сюда, у нас ледянка хиба ж такая!

— А мы поместимся вдвоем? — уже на ходу к речке спрашивает Мария Кондратьевна.

— Поместимся, и Колька еще сядет! Только у вас юбка, падать будет неудобно.

— Ничего, я умею падать,— стрельнула глазами в Джуринскую Мария Кондратьевна.

Она умчалась к ледяному спуску к Коломаку, а Джуринская, любовно проводив ее взглядом, сказала:

— Какое это странное существо. Она у вас, как дома.

— Даже хуже,— ответил я.— Скоро я буду давать ей наряды за слишком шумное поведение.

— Вы напомнили мне мои прямые обязанности. Я вот приехала поговорить с вами о системе дисциплины. Вы, значит, не отрицаете, что накладываете наказания? Наряды эти... потом, говорят, у вас еще кое-что практикуется: арест... а говорят, вы и на хлеб и на воду сажаете?

Джуринская была женщина большая, с чистым лицом

и молодыми свежими глазами. Мне почему-то захотелось обойтись с нею без какой бы то ни было дипломатии:

— На хлеб и на воду не сажаю, но обедать иногда не даю. И наряды. И аресты могу, конечно, не в карцере — у себя в кабинете. У вас правильные сведения.

— Послушайте, но это же все запрещено.

— В законе это не запрещено, а писания разных писак я не читаю.

— Не читаете педологической литературы? Вы серьезно говорите?

— Не читаю вот уже три года.

— Но как же вам не стыдно! А вообще читаете?

— Вообще читаю. И не стыдно, имейте в виду. И очень сочувствую тем, которые читают педологическую литературу.

— Я, честное слово, должна вас разубедить. У нас должна быть советская педагогика.

Я решил положить предел дискуссии и сказал Любови Савельевне:

— Знаете что? Я спорить не буду. Я глубоко уверен, что здесь, в колонии, самая настоящая советская педагогика, больше того: что здесь коммунистическое воспитание. Вас убедить может либо опыт, либо серьезное исследование — монография. А в разговоре мимоходом такие вещи не решаются. Вы долго у нас будете?

— Дня два.

— Очень рад. В вашем распоряжении много всяких способов. Смотрите, разговаривайте с колонистами, можете с ними есть, работать, отдыхать. Делайте какие хотите заключения, можете меня снять с работы, если найдете нужным. Можете написать самое длинное заключение и предписать мне метод, который вам понравится. Это ваше право. Но я буду делать так, как считаю нужным и как умею. Воспитывать без наказания я не умею, меня еще нужно научить этому искусству.

Любовь Савельевна прожила у нас не два дня, а четыре, я ее почти не видел. Хлопцы про нее говорили:

— О, это грубая баба: все понимает.

Во время пребывания ее в колонии пришел ко мне Ветковский:

— Я ухожу из колонии, Антон Семенович...

— Куда?

— Что-нибудь найду. Здесь стало неинтересно. На рабфак я не пойду, столяром не хочу быть. Пойду, еще посмотрю людей.

— А потом что?

— А там видно будет. Вы только дайте мне документ.

— Хорошо. Вечером будет совет командиров. Пускай совет командиров тебя отпустит.

В совете командиров Ветковский держался недружелюбно и старался ограничиться формальными ответами:

— Мне не нравится здесь. А кто меня может заставить? Куда хочу, туда и пойду. Это уже мое дело, что я буду делать... Может, и красть буду.

Кудлатый возмутился:

— Как это так, не наше дело! Ты будешь красть, а не наше дело? А если я тебя сейчас за такие разговоры сгребу да дам по морде, так ты, собственно говоря, поверишь, что это наше дело?

Любовь Савельевна побледнела, хотела что-то сказать, но не успела. Разгоряченные колонисты закричали на Ветковского. Волохов стоял против Кости:

— Тебя нужно отправить в больницу. Вот и все. Документы ему, смотри ты!.. Или говори правду. Может, работу какую нашел?

Больше всех горячился Гуд:

— У нас что, заборы есть? Нету заборов. Раз ты такая шпана — на все четыре стороны путь. Может, запряжем Молодца, гнаться за тобою будем? Не будем гнаться. Иди, куда хочешь. Чего ты сюда пришел?

Лапоть прекратил прения:

— Довольно вам высказывать свои мысли. Дело, Костя, ясное: документа тебе не дадим.

Костя наклонил голову и пробурчал:

— Не надо документа, я и без документа пойду. Дайте на дорогу десятку.

— Дать ему? — спросил Лапоть.

Все замолчали. Джуринская обратилась в слух и даже глаза закрыла, откинув голову на спинку дивана. Коваль сказал:

— Он в комсомол обращался с этим самым делом. Мы его выкинули из комсомола. А десятку, я думаю, дать ему можно.

— Правильно,— сказал кто-то.— Десятки не жалко.

Я достал бумажник.

— Я ему дам двадцать рублей. Пиши расписку.

При общем молчании Костя написал расписку, спрятал деньги в карман и надел фуражку на голову:

— До свидания, товарищи!

Ему никто не ответил. Только Лапоть сорвался с места и крикнул уже в дверях:

— Эй, ты, раб божий! Прогуляешь двадцатку, не стесняйся, приходи в колонию! Отработаешь!

Командиры расходились злые. Любовь Савельевна опомнилась и сказала:

— Какой ужас! Поговорить бы с мальчиком нужно...

Потом задумалась и сказала:

— Но какая страшная сила этот ваш совет командиров! Какие люди!..

На другой день утром она уезжала. Антон подал сани. В санях были грязная солома и какие-то бумажки. Любовь Савельевна уселась в сани, а я спросил Антона:

— Почему это такая грязь в санях?

— Не успел,— пробурчал Антон, краснея.

— Отправляйся под арест, пока я вернусь из города.

— Есть,— сказал Антон и отодвинулся от саней.— В кабинете?

— Да.

Антон поплелся в кабинет, обиженный моей строгостью, а мы молча выехали из колонии. Только перед вокзалом Любовь Савельевна взяла меня под руку и сказала:

— Довольно вам лютовать. У вас же прекрасный коллектив. Это какое-то чудо. Я прямо ошеломлена... Но скажите, вы уверены, что этот ваш... Антон сейчас сидит под арестом?

Я удивленно посмотрел на Джуринскую:

— Антон — человек с большим достоинством. Конечно, сидит под арестом. Но в общем... это настоящие звереныши.

— Да не нужно так. Вы все из-за этого Кости? Я уверена, что он вернется. Это же замечательно! У вас замечательные отношения, и Костя этот лучше всех...

Я вздохнул и ничего не ответил.

13. ГРИМАСЫ ЛЮБВИ И ПОЭЗИИ

Наступил 1925 год. Начался он довольно неприятно. В совете командиров Опришко заявил, что он хочет жениться, что старый Лукашенко не отдаст Марусю, если колония не назначит Опришко такого же приданого, как и Оле Вороновой, а с таким хозяйством Лукашенко принимает Опришко к себе в дом, и будут они вместе хозяйничать.

Опришко держался в совете командиров с неприятной манерой наследника Лукашенко и человека с положением.

Командиры молчали, не зная, как понимать всю эту историю. Наконец Лапоть, глядя на Опришко через острие попавшего в руку карандаша, спросил негромко:

— Хорошо, Дмитро, а ты как же думаешь? Ну, будешь ты хозяйничать с Лукашенком, это значит — ты селянином станешь?

Опришко посмотрел на Лаптя немного через плечо и саркастически улыбнулся:

— Пусть будет по-твоему: селянином.

— А по-твоему как?

— А там видно будет.

— Так,— сказал Лапоть.— Ну, кто выскажется?

Взял слово Волохов, командир шестого отряда:

— Хлопцам нужно искать себе доли, это правда. До старости в колонии сидеть не будешь. Ну, и квалификация какая у нас? Кто в шестом, или в четвертом, или в девятом отряде, тем еще ничего,— можно кузнецом выйти и столяром, и по мельничному делу. А в полевых отрядах никакой квалификации,— значит, если он идет в селяне, пускай идет. Но только у Опришко как-то подозрительно выходит. Ты ж комсомолец?

— Ну, так что ж — комсомолец?

— Я думаю так,— продолжал Волохов,— не мешало бы об этом раньше в комсомоле поговорить. Совету командиров нужно знать, как на это комсомол смотрит.

— Комсомольское бюро об этом деле уже имеет свое мнение,— сказал Коваль.— Колония Горького не для того, чтобы кулаков разводить. Лукашенко кулак.

— Та чего ж он кулак? — возразил Опришко.— Что дом под железом, так это еще ничего не значит.

— А лошадей двое?

— Двое.

— И батрак есть?

— Батрака нету.

— А Серега?

— Серегу ему наробраз дал из детского дома. На патронирование — называется.

— Один черт,— сказал Коваль,— из наробраза чи не из наробраза, а все равно батрак.

— Так, если дают...

— Дают. А ты не бери, если ты порядочный человек.

Опришко не ожидал такой встречи и рассеянно сказал:

— А почему так? Ольге ж дали?

Коваль ответил:

— Во-первых, с Ольгой другое дело. Ольга вышла за нашего человека, теперь они с Павлом переходят в коммуну, наше добро на дело пойдет. А во-вторых, и колонистка Ольга была не такая, как ты. А третье и то, что нам разводить кулаков не к лицу.

— А как же мне теперь?

— А как хочешь.

— Нет, так нельзя,— сказал Ступицын.— Если они там влюблены, пускай себе женятся. Можно дать и приданое Дмитру, только пускай он переходит не к Лукашенку, а в коммуну. Теперь там Ольга будет заворачивать делом.

— Батько Марусю не отпустит.

— А Маруся пускай на батька наплюет.

— Она не сможет этого сделать.

— Значит, мало тебя любит... и вообще куркулька.

— А тебе дело, любит или не любит?

— А вот видишь, дело. Значит, она за тебя больше по расчету выходит. Если бы любила...

— Она, может, и любит, да батька слухается. А перейти в коммуну она не может.

— А не может, так нечего совету командиров голову морочить! — грубо отозвался Кудлатый.— Тебе хочется к куркулю пристроиться, а Лукашенку зятя богатого в хату нужно. А нам какое дело? Закрывай совет...

Лапоть растянул рот до ушей в довольной улыбке:

— Закрываю совет по причине слабой влюбленности Маруськи.

Опришко был поражен. Он ходил по колонии мрачнее тучи, задирал пацанов, на другой день напился пьяным и буянил в спальне.

Собрался совет командиров судить Опришко за пьянство.

Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены Опришко. Лапоть сказал:

— Хоть ты и командир, а сейчас ты отдуваешься по личному делу, поэтому стань на середину.

У нас был обычай: виноватый должен стоять на середине комнаты.

Опришко повел сумрачными глазами по председательскому лицу и пробурчал:

— Я ничего не украл и на середину не стану.

— Поставим,— сказал тихо Лапоть.

Опришко оглядел совет и понял, что поставят. Он отвалился от стены и вышел на середину.

— Ну, хорошо.

— Стань смирно,— потребовал Лапоть.

Опришко пожал плечами, улыбнулся язвительно, но опустил руки и выпрямился.

— А теперь говори, как ты смел напиться пьяным и разоряться в спальне, ты, комсомолец, командир и колонист? Говори.

Опришко всегда был человеком двух стилей: при удобном случае он не скупился на удальство, размах и «на все наплевать», но, в сущности, всегда был осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это хорошо знали, и поэтому покорность Опришко в совете командиров никого не удивила. Жорка Волков, командир седьмого отряда, недавно выдвинутый вместо Ветковского, махнул рукой на Опришко и сказал:

— Уже прикинулся. Уже он тихонький. А завтра опять будет геройство показывать.

— Да нет, пускай он скажет,— проворчал Осадчий.

— А что мне говорить: виноват — и все.

— Нет, ты скажи, как ты смел?

Опришко доброжелательно умаслил глаза и развел руками по совету:

— Да разве тут какая смелость? С горя выпил; а человек, выпивши если, за себя не отвечает.

— Брешешь,— сказал Антон.— Ты будешь отвечать. Ты это по ошибке воображаешь, что не отвечаешь. Выгнать его из колонии — и все. И каждого выгнать, если выпьет... Беспощадно!

— Так ведь он пропадет,— расширил глаза Георгиевский.— Он же пропадет на улице.

— И пускай пропадает.

— Так он же с горя! Что вы в самом деле придираетесь? У человека горе, а вы к нему пристали с советом командиров! — Осадчий с откровенной иронией рассматривал добродетельную физиономию Опришко.

— И Лукашенко его не примет без барахла,— сказал Таранец.

— А наше какое дело! — кричал Антон.— Не примет, так пускай себе Опришко другого куркуля ищет...

— Зачем выгонять? — несмело начал Георгиевский.— Он старый колонист, ошибся, правда, так он еще исправится. А нужно принять во внимание, что они влюблены с Маруськой. Надо им помочь как-нибудь.

— Что он, беспризорный? — с удивлением произнес Лапоть.— Чего ему исправляться? Он колонист.

Взял слово Шнайдер, новый командир восьмого, заменивший Карабанова в этом героическом отряде. В восьмом отряде были богатыри типа Федоренко и Корыто. Возглавляемые Карабановым, они прекрасно притерли свои угловатые личности друг к другу, и Карабанов умел выпаливать ими, как из рогатки, по любому рабочему заданию, а они обладали талантом самое трудное дело выполнять с запорожским реготом и с высоко поднятым знаменем колонийской чести. Шнайдер в отряде сначала был недоразумением. Он пришел маленький, слабосильный, черненький и мелкокучерявый. После древней истории с Осадчим антисемитизм никогда не подымал голову в колонии, но отношение к Шнайдеру еще долго было ироническим. Шнайдер действительно иногда смешно комбинировал русские слова и формы и смешно и неповоротливо управлялся с сельскохозяйственной работой. Но время проходило, и постепенно вылепились в восьмом отряде новые отношения: Шнайдер сделался

любимцем отряда, им гордились карабановские рыцари. Шнайдер был умница и обладал глубокой, чуткой духовной организацией. Из больших черных глаз он умел спокойным светом облить самое трудное отрядное недоразумение, умел сказать нужное слово. И хотя он почти не прибавил роста за время пребывания в колонии, но сильно окреп и нарастил мускулы, так что не стыдно было ему летом надеть безрукавку, и никто не оглядывался на Шнайдера, когда ему поручались напряженные ручки плуга. Восьмой отряд единодушно выдвинул его в командиры, и мы с Ковалем понимали это так:

— Держать отряд мы и сами можем, а украшать нас будет Шнайдер.

Но Шнайдер на другой же день после назначения командиром показал, что карабановская школа для него даром не прошла: он обнаружил намерения не только украшать, но и держать; и Федоренко, привыкший к громам и молниям Карабанова, так же легко стал привыкать и к спокойно-дружеской выволочке, которую иногда задавал ему новый командир.

Шнайдер сказал:

— Если бы Опришко был новеньким, можно было бы и простить. А теперь нельзя простить ни в коем случае. Опришко показал, что ему на коллектив наплевать. Вы думаете, это он показал в последний раз? Все знают, что нет. Я не хочу, чтобы Опришко мучился. Зачем это нам? А пускай он поживет без нашего коллектива, и тогда он поймет. И другим нужно показать, что мы таких куркульских выходок не допустим. Восьмой отряд требует увольнения.

Требование восьмого отряда было обстоятельством решающим: в восьмом отряде почти не было новеньких. Командиры посматривали на меня, и Лапоть предложил мне слово:

— Дело ясное. Антон Семенович, вы скажите, как вы думаете?

— Выгнать,— сказал я коротко.

Опришко понял, что спасения нет никакого, и отбросил налаженную дипломатическую сдержанность:

— Как выгнать? А куда я пойду? Воровать? Вы думаете, на вас управы нету? Я и в Харьков поеду...

В совете рассмеялись.

— Вот и хорошо! Поедешь в Харьков, тебе дадут там записочку, и ты вернешься в колонию и будешь у нас жить с полным правом. Тебе будет хорошо, хорошо.

Опришко понял, что он сморозил вопиющую глупость, и замолчал.

— Значит, один Георгиевский против,— оглядел совет Лапоть.— Дежурный командир!

— Есть,— строго вытянулся Георгиевский.

— Выставить Опришко из колонии.

— Есть выставить! — ответил обычным салютом Георгиевский и движением головы пригласил Опришко к двери.

Через день мы узнали, что Опришко живет у Лукашенко. На каких условиях состоялось между ними соглашение — не знали, но ребята утверждали, что все дело решала Маруська.

Проходила зима. В марте пацаны откатались на льдинах Коломака, приняли полагающиеся по календарю неожиданные все-таки весенние ванны, потому что древние стихийные силы сталкивали их в штанах и «куфайках» с самоделковых душегубок, льдин и надречных веток деревьев. Сколько полагается, отболели гриппом.

Но проходили гриппы, поднимались туманы, и скоро Кудлатый стал находить «куфайки» брошенными посреди двора и устраивал обычный весенний скандал, угрожая трусиками и голошейками на две недели раньше, чем полагалось бы по календарю.

14. НЕ ПИЩАТЬ!

В середине апреля приехали на весенний перерыв первые рабфаковцы.

Они приехали похудевшие и почерневшие, и Лапоть рекомендовал передать их десятому отряду в откормочное отделение. Было хорошо, что они не гордились перед колонистами своими студенческими особенностями. Карабанов не успел даже со всеми поздороваться, а побежал по хозяйству и мастерским. Белухин, обвешанный пацанами, рассказывал о Харькове и о студенческой жизни.

Вечером мы все уселись под весенним небом и по старой памяти занялись вопросами колонии. Карабанову

очень не нравились наши последние события. Он говорил:

— Что оно правильно сделано, так ничего не скажешь. Раз Костя сказал, что ему тут не нравится, так поступили правильно: иди к чертям, шукай себе кращего. И Опришко — куркуль, это понятно, и пошел в куркули, так ему и полагается. А все-таки, если подумать, так оно как-то не так. Надо что-то думать. Мы вот в Харькове уже повидали другую жизнь. Там другая жизнь, и люди другие.

— У нас плохие люди в колонии?

— В колонии хорошие люди,— сказал Карабанов,— очень хорошие, так смотрите ж кругом, куркульни с каждым днем больше. Разве здесь колонии можно жить? Тут або зубами грызть, або тикать.

— Не в том дело,— задумчиво протянул Бурун,— с куркулями все бороться должны. Это особое дело. Не в том суть. А в том, что в колонии делать нечего. Колонистов сто двадцать человек, силы много, а работа здесь какая: посеял — снял, посеял — снял. И поту много выходит, и толку не видно. Это хозяйство маленькое. Еще год прожить, хлопцам скучно станет, захочется лучшей доли...

— Это правильно он говорит, Гришка,— Белухин пересел ближе ко мне,— наш народ, беспризорный, как это называется, так он пролетарский народ, ему дай производство. На поле, конечно, приятно работать и весело, а только что ж ему с поля? На село пойти, в мелкую буржуазию, значит,— стыдно как-то, так и пойти ж не с чем, для этого нужно владеть орудиями производства: и хату нужно, и коня, и плуг, и все. А идти в приймы, вот как Опришко, не годится. А куда пойдешь? Только один завод паровозоремонтный, так рабочим своих детей некуда девать.

Все рабфаковцы с радостью набросились на полевые работы, и совет командиров с изысканною вежливостью назначал их командирами сводных. Карабанов возвращался с поля возбужденным:

— Ой, до чего ж люблю работу у поли! И такая жалость, что нема ниякого толку с этой работы, хай вона сказыться. От було б хорошо б так: поробыв в поли, пишов косыты, а тут тоби — мануфактура растеть, чо-

боты растуть, машины колыхаются на ныви, тракторы, гармошки, очки, часы, папиросы... ой-ой-ой! Чего ж мэнэ нэ спытали, колы свит строили, подлюки?

Рабфаковцы должны были провести с нами и Первое мая. Это очень украшало и без того радостный для нас праздник.

Колония по-прежнему просыпалась утром по сигналу и стройными сводными бросалась на поля, не оглядываясь назад и не тратя энергии на анализ жизни. Даже старые наши хвосты, такие, как Евгеньев, Назаренко, Перепелятченко, перестали нас мучить.

К лету 1925 года колония подходила совершенно компактным коллективом и при этом очень бодрым — так по крайней мере казалось снаружи. Только Чобот торчком стал в нашем движении, и с Чоботом я не справился.

Вернувшись от брата в марте, Чобот рассказал, что брат живет хорошо, но батраков не имеет — середняк. Никакой помощи Чобот не просил у колонии, но заговорил о Наташе. Я ему сказал:

— Что ж тут со мной говорить, это пусть сама Наташа решает...

Через неделю он опять ко мне пришел уже в полном тревожном волнении.

— Без Наташи мне не жизнь. Поговорите с нею, чтобы поехала со мной.

— Слушай, Чобот, какой же ты странный человек! Ведь тебе с нею надо говорить, а не мне.

— Если вы скажете ехать, так она поедет, а я говорю, так как-то плохо выходит.

— Что она говорит?

— Она ничего не говорит.

— Как это «ничего»?

— Ничего не говорит, плачет.

Чобот смотрел на меня напряженно-настороженно. Для него важно было увидеть, какое впечатление произвело на меня его сообщение. Я не скрыл от Чобота, что впечатление было у меня тяжелое:

— Это очень плохо... Я поговорю.

Чобот глянул на меня налитыми кровью глазами, глянул в самую глубину моего существа и сказал хрипло:

— Поговорите. Только знайте: не поедет Наташа, я с собой покончу.

— Это что за дурацкие разговоры! — закричал я на Чобота.— Ты человек или слякоть? Как тебе не стыдно?

Но Чобот не дал мне кончить. Он повалился на лавку и заплакал невыразимо горестно и безнадежно. Я молча смотрел на него, положив руку на его воспаленную голову. Он вдруг вскочил, взял меня за локти и залепетал мне в лицо захлебывающиеся, нагоняющие друг друга слова:

— Простите... Я ж знаю, что мучаю вас... Так я не могу ничего уже сделать... Я, видите, какой человек, вы же все видите и все знаете... Я на колени стану... без Наташи я не могу жить.

Я проговорил с ним всю ночь и в течение всей ночи ощущал свою немощность и бессилие. Я ему рассказывал о большой жизни, о светлых дорогах, о многообразии человеческого счастья, об осторожности и плане, о том, что Наташе надо учиться, что у нее замечательные способности, что она и ему потом поможет, что нельзя ее загнать в далекую богодуховскую деревню, что она умрет там от тоски,— все это не доходило до Чобота. Он угрюмо слушал мои слова и шептал:

— Я разобьюсь на части, а все сделаю, абы она со мной поехала...

Отпустил я его в прежнем смятении, человеком, потерявшим управление и тормоза. На другой же вечер я пригласил к себе Наташу. Она выслушала мой короткий вопрос одними вздрагивающими ресницами, потом подняла на меня глаза и сказала чистым до блеска, нестыдящимся голосом:

— Чобот меня спас... а теперь я хочу учиться.

— Значит, ты не хочешь выходить за него замуж и ехать к нему?

— Я хочу учиться... А если вы скажете ехать, так я поеду.

Я еще раз взглянул в эти открытые, ясные очи, хотел спросить, знает ли она о настроении Чобота, но почему-то не спросил, а сказал только:

— Ну, иди спать спокойно.

— Так мне не ехать? — спросила она меня по-детски, мотая головой немного вкось.

— Нет, не ехать, будешь учиться,— ответил я хму-

ро и задумался, не заметив даже, как тихонько вышла Наташа из кабинета.

Чобота увидел я на другой день утром. Он стоял у главного входа в белый дом и явно поджидал меня. Я движением головы пригласил его в кабинет. Пока я разбирался с ключами и ящиками своего стола, он молча следил за мной и вдруг сказал, как будто про себя:

— Значит, не поедет Наташа?

Я взглянул на него и увидел, что он не ощущает ничего, кроме своей потери. Прислонившись одним плечом к двери, Чобот смотрел в верхний угол окна и что-то шептал. Я крикнул ему:

— Чобот!..

Чобот, кажется, меня не слышал. Как-то незаметно он отвалился от двери и, не взглянув на меня, вышел неслышно и легко, как призрак.

Я за ним следил. После обеда он занял свое место в сводном отряде. Вечером я вызвал его командира, Шнайдера:

— Как Чобот?

— Молчит.

— Работал как?

— Комсвод Нечитайло говорит — хорошо.

— Не спускай его с глаз несколько дней. Если что-нибудь заметите, мне сейчас же скажите.

— Знаем, как же,— сказал Шнайдер.

Несколько дней Чобот молчал, но на работу выходил, являлся и в столовую. Встречаться со мной, видно, не хотел сознательно. Накануне праздника я приказом поручил персонально ему прибить лозунги на всех зданиях. Он аккуратно приготовил лестницу и пришел ко мне с просьбой:

— Выпишите гвоздей.

— Сколько?

Он поднял глаза к потолку, пошептал и ответил:

— Я так считаю, килограмм хватит...

Я проверил. Он добросовестно и заботливо выравнивал лозунги и спокойно говорил своему компаньону на другой лестнице:

— Нет, выше... Еще выше... Годи. Прибивай.

Колонисты любили готовиться к праздникам и больше всего любили праздник Первого мая, потому что это

весенний праздник. Но в этом году Первомай подходил в плохом настроении. Накануне с самого утра перепадал дождик. На полчаса затихнет и снова моросит, как осенью, мелкий, глуповатый, назойливый. К вечеру зато заблестели на небе звезды, и только на западе мрачнел темно-синий кровоподтек, бросая на колонию недружелюбную, грязноватую тень. Колонисты бегали по колонии, чтобы покончить до собрания с разными делами: костюмы, парикмахер, баня, белье. На просыхающем крылечке белого дома барабанщики чистили мелом медь своих инструментов. Это были герои завтрашнего дня.

Барабанщики наши были особенные. Это вовсе не были жалкие неучи пионерских отрядов, производящие беспорядочную толпу звуков. Горьковские барабанщики недаром ходили полгода на выучку к полковым мастерам, и только один Иван Иванович протестовал тогда:

— Вы знаете, у них ужасный метод, ужасный!

Иван Иванович с остановившимися от ужаса глазами рассказал мне об этом методе, заключающемся в прекрасной аллитерации, где речь идет о бабе, табаке, сыре, дегте, и только одно слово не может быть приведено здесь, но и это слово служило честно барабанному делу. Этот ужасный метод, однако, хорошо делал свое воспитательное дело, и марши наших барабанщиков отличались красотой, выразительностью. Их было несколько: походный, зоревой, знаменный, парадный, боевой, в каждом из них были своеобразные переливы трелей, сухое, аккуратное стаккато, приглушенное нежное рокотанье, неожиданно взрывные фразы и кокетливо-танцевальные шалости. Наши барабанщики настолько хорошо исполняли свое дело, что даже многие инспектора наробраза, услышав их, принуждены были, наконец, признать, что они не вносят в дело социального воспитания никакой особенно чуждой идеологии.

Вечером на собрании колонистов мы проверили свою готовность к празднику, и только одна деталь оказалась до конца не выясненной: будет ли завтра дождь. Шутя предлагали отдать в приказе: предлагается дежурству обеспечить хорошую погоду. Я утвер-

ждал, что дождь будет обязательно, такого же мнения были и Калина Иванович, и Силантий, и другие товарищи, понимающие в дождях. Но колонисты протестовали против наших страхов и кричали:

— А если дождь, так что?

— Измокнете.

— А мы разве сахарные?

Я принужден был решить вопрос голосованием: идти ли в город, если с утра будет дождь? Против поднялось три руки, и в том числе моя. Собрание победоносно смеялось, и кто-то орал:

— Наша берет!

После этого я сказал:

— Ну, смотрите, постановили — пойдем, пусть и камни с неба падают.

— Пускай падают! — кричал Лапоть.

— Только смотрите, не пищать! А то сейчас храбрые, а завтра хвостики подожмете и будете попискивать: ой, мокро, ой, холодно...

— А мы когда пищали?

— Значит, договорились — не пищать?

— Есть не пищать!

Утро нас встретило сплошным серым небом и тихоньким коварным дождиком, который иногда усиливался и поливал землю, как из лейки, потом снова начинал бесшумно брызгать. Никакой надежды на солнце не было.

В белом доме меня встретили уже готовые к походу колонисты и внимательно присматривались к выражению моего лица, но я нарочно надел каменную маску, и скоро начало раздаваться в разных углах ироническое воспоминание:

— Не пищать!

Видимо, на разведку прислали ко мне знаменщика, который спросил:

— И знамя брать?

— А как же без знамени?

— А вот... дождик...

— Да разве это дождик? Наденьте чехол до города.

— Есть надеть чехол,— сказал знаменщик кротко.

В семь часов проиграли общий сбор. Колонна вышла в город точно по приказу. До городского центра

было километров десять, и с каждым километром дождь усиливался. На городском плацу мы никого не застали,— ясно было, что демонстрация отменена. В обратный путь тронулись уже под проливным дождем, но для нас было теперь все равно: ни у кого не осталось сухой нитки, а из моих сапог вода выливалась, как из переполненного ведра. Я остановил колонну и сказал ребятам:

— Барабаны намокли, давайте песню. Обращаю ваше внимание, некоторые ряды плохо равняются, идут не в ногу, кроме того, голову нужно держать выше.

Колонисты захохотали. По их лицам стекали целые реки воды.

— Шагом марш!

Карабанов начал песню:

Гей, чумаче, чумаче!
Життя твое собаче...

Но слова песни показались всем настолько подходящими к случаю, что и песню встретили хохотом. При втором запеве песню подхватили и понесли по безлюдным улицам, затопленным дождевыми потоками.

Рядом со мной в первом ряду шагал Чобот. Песни он не пел и не замечал дождя, механически упорно вглядываясь куда-то дальше барабанщиков и не замечая моего пристального внимания

За вокзалом я разрешил идти вольно. Плохо было то, что ни у кого не осталось ни одной сухой папиросы или щепотки махорки, поэтому все накинулись на мой кожаный портсигар. Меня окружили и гордо напоминали:

— А все ж таки никто не запищал.

— Постойте, вон за тем поворотом камни будут падать, тогда что скажете?

— Камни — это, конечно, хуже,— сказал Лапоть,— но бывает еще и хуже камней, например, пулемет.

Перед входом в колонию снова построились, выравнялись и снова запели песню, хотя она уже с большим трудом могла осилить нараставший шум ливня и неожиданно приятные, как салют нашему возвращению, первые в этом году раскаты грома. В колонию вошли с гордо

поднятой головой, на очень быстром марше. Как всегда, отдали салют знамени, и только после этого все приготовились разбежаться по спальням. Я крикнул:

— Да здравствует Первое мая! Ура!

Ребята подбросили вверх мокрые фуражки, заорали и, уже не ожидая команды, бросились ко мне. Они подбросили меня вверх, и из моих сапог вылились на меня новые струи воды.

Через час в клубе был прибит еще один лозунг. На огромном длинном полотнище было написано только два слова:

Не пищать!

15. ТРУДНЫЕ ЛЮДИ

Чобот повесился ночью на третье мая.

Меня разбудил сторожевой отряд, и, услышав стук в окно, я догадался, в чем дело. Возле конюшни, при фонарях, Чобота, только что снятого с петли, приводили в сознание. После многих усилий Екатерины Григорьевны и хлопцев удалось возвратить ему дыхание, но в сознание он так и не пришел и к вечеру умер. Приглашенные из города врачи объяснили нам, что спасти Чобота было невозможно: он повесился на балконе конюшни; стоя на этом балконе, он, очевидно, надел на себя и затянул петлю, а потом бросился с нею вниз,— у него повреждены были шейные позвонки.

Хлопцы встретили самоубийство Чобота сдержанно. Никто не выражал особенной печали, и только Федоренко сказал:

— Жалко казака,— хороший был бы буденновец!

Но Федоренко ответил Лапоть:

— Далеко Чоботу до Буденного: граком жил, граком и помер, от жадности помер.

Коваль с гневным презрением посматривал в сторону клуба, где стоял гроб Чобота, отказался стать в почетный караул и на похороны не пришел:

— Я таких, как Чобот, сам вешал бы: лезет под ноги с драмами своими дурацкими!

Плакали только девочки, да и то Маруся Левченко иногда вытирала глаза и злилась:

— Дурак такой, дубина какая, ну, что ты скажешь, иди с ним «хозяйнуваты»! Вот счастье какое для Наташи! И хорошо сделала, что не поехала! Много их, таких Чоботов, найдется, да всем ублажать? Пускай вешаются побольше.

Наташа не плакала. Она с испуганным удивлением глянула на меня, когда я пришел к девочкам в спальню, и негромко спросила:

— Що мени теперь робыты?

Маруся ответила за меня:

— Может, и ты вешаться захочешь? Скажи спасибо, что этот дурень догадался смыться. А то он тебя всю жизнь мучил бы. Что ей «робыть», задумалась, смотри! На рабфаке будешь, тогда и задумывайся...

Наташа подняла глаза на сердитую Маруську и прислонилась к ее поясу:

— Ну, добре.

— Я принимаю шефство над Наталкой,— сказала Маруся, вызывающе сверкнув на меня глазами.

Я шутя расшаркался перед нею.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Левченко. А мне можно с вами «на пару»?

— Только с условием: не вешаться! А то видите, какие шефы бывают, ну их к собакам. Не столько того шефства, сколько неприятностей.

— Есть не вешаться!

Наташа оторвалась от марусиного пояса и улыбалась своим новым шефам, даже порозовела немного.

— Идем завтракать, бедная девочка,— сказала весело Маруся.

У меня на этом участке сердце стало... ничего себе. К вечеру приехали следователь и Мария Кондратьевна. Следователя я упросил не допрашивать Наташу, да он и сам был человек сообразительный. Написав короткий акт, он пообедал и уехал. Мария Кондратьевна осталась погрустить. Поздно ночью, когда уже все спали, она зашла в мой кабинет с Калиной Ивановичем и устало опустилась на диван:

— Безобразные ваши колонисты! Товарищ умер, а они хохочут, а этот самый ваш Лапоть так же валяет дурака, как и раньше.

На другой день я проводил рабфаковцев. По дороге на вокзал Вершнев говорил:

— Хлопцы н-не понимают, в чем дело. Ч-ч-человек решил умереть, значит, жизнь плохая. Им к-кажется, ч-что из-з-за Наталки, а на самом деле не из-за Наталки, а такая жизнь.

Белухин завертел головой:

— Ничего подобного! У Чобота все равно никакой жизни не было. Чобот не человек, а раб. Барина у него отняли, так он Наташку выдумал.

— Выкручуете [1], хлопцы,— сказал Семен.— Этого я не люблю. Повесился человек, ну, и вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу: тикайте отсюда с колонией, а то у вас все перевешаются.

На обратном пути я задумался над путями нашей колонии. В полный рост встал перед моими глазами какой-то грозный кризис, и угрожали полететь куда-то в пропасть несомненные для меня ценности, ценности живые, живущие, созданные, как чудо, пятилетней работой коллектива, исключительные достоинства которого я даже из скромности скрывать от себя не хотел.

В таком коллективе неясность личных путей не могла определять кризиса. Ведь личные пути всегда неясны. И что такое ясный личный путь? Это отрешение от коллектива, это концентрированное мещанство: такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске хлеба, об этой самой хваленой квалификации. И какой квалификации? Столяра, сапожника, мельника. Нет, я крепко верю, что для мальчика в шестнадцать лет нашей советской жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека.

Я представил себе силу коллектива колонистов и вдруг понял, в чем дело: ну, конечно, как я мог так долго думать! Все дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива.

Я обрадовался по-детски: какая прелесть! Какая чудесная, захватывающая диалектика! Свободный рабочий коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеобщего развития только теперь начинает пока-

---

[1] Выкручуете — хитрите.

зывать свои настоящие силы. Формы бытия свободного человеческого коллектива — движение вперед, форма смерти — остановка.

Да, мы почти два года стоим на месте: те же поля, те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг.

Я поспешил в колонию, чтобы взглянуть в глаза колонистов и проверить мое великое открытие.

У крыльца белого дома стояли два извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил сообщением:

— Приехала комиссия из Харькова.

«Вот и хорошо,— подумал я,— сейчас мы это дело решим».

В кабинете ожидали меня: Любовь Савельевна Джуринская, полная дама, в темно-малиновом, не первой чистоты платье, уже не молодая, но с живыми и пристальными глазами, и невзрачный человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки; очки на нем очень перекосились, и он все поправлял их свободной от портфеля рукой.

Любовь Савельевна заставила себя приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с остальными:

— А вот и товарищ Макаренко. Знакомьтесь: Варвара Викторовна Брегель, Сергей Васильевич Чайкин.

Почему не принять в колонии Варвару Викторовну Брегель — мое высшее начальство, но с какой стати этот самый Чайкин? О нем я слышал — профессор педагогики. Не заведовал ли он каким-нибудь детским домом?

Брегель сказала:

— Мы к вам специально — проверить ваш метод.

— Решительно протестую,— сказал я.— Нет никакого моего метода.

— А какой же у вас метод?

— Обыкновенный советский.

Брегель зло улыбнулась.

— Может быть, и советский, но во всяком случае не обыкновенный. Надо все-таки проверить.

Начиналась самая неприятная беседа, когда люди играют терминами, в полной уверенности, что термины определяют реальность. Я поэтому сказал:

— В такой форме я беседовать не буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но предупреждаю, что он займет не меньше трех часов.

Брегель согласилась. Мы немедленно уселись в кабинете, заперлись, и я занялся мучительным делом: переводом на слова накопившихся у меня за пять лет впечатлений, соображений, сомнений и проб. Мне казалось, что я говорил красноречиво, находил точные выражения для очень тонких понятий, аналитическим ножом осторожно и смело вскрывал тайные до сих пор области, набрасывал перспективы будущего и затруднения завтрашнего дня. Во всяком случае, я был искренним до конца, не щадил никаких предрассудков и не боялся показать, что в некоторых местах «теория» казалась мне уже жалкой и чуждой.

Джуринская слушала меня с радостным, горящим лицом, Брегель была в маске, а о Чайкине мало я заботился.

Когда я окончил, Брегель постучала полными пальцами по столу и сказала таким тоном, в котором трудно было разобрать, говорит ли она искренно или издевается:

— Так... Скажу прямо: очень интересно, очень интересно. Правда, Сергей Васильевич?

Чайкин попытался поправить очки, впился в свой блокнот и очень вежливо, как и полагается ученому, со всякими галантными ужимочками и с псевдопочтительной мимикой произнес такую речь:

— Хорошо, это, конечно, нужно все осветить, да... но я бы усомнился и сейчас в некоторых, если можно так выразиться, ваших теоремах, которые вы любезно нам изложили с таким даже воодушевлением, что, разумеется, говорит о вашей убежденности. Хорошо. Ну, вот, например, мы и раньше знали, а вы как будто умолчали. У вас здесь организована, так сказать, некоторая конкуренция между воспитанниками: кто больше сделает — того хвалят, кто меньше — того порицают. Поле у вас пахали, и была такая конкуренция, не правда ли? Вы об этом умолчали, вероятно, случайно. Мне желательно было бы услышать от вас: известно ли вам, что мы считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку она заменяет прямое отношение к вещи отношением косвенным? Это — раз. Другой: вы выдаете воспитанникам карманные деньги, правда, к праздникам, и выдаете не всем поровну, а, так сказать, пропорциональ-

но заслугам. Не кажется ли вам, что вы заменяете внутреннюю стимулировку внешней и при этом сугубо материальной? Дальше: наказания, как вы выражаетесь. Вам должно быть известно, что наказание воспитывает раба, а нам нужна свободная личность, определяющая свои поступки не боязнью палки или другой меры воздействия, а внутренними стимулами и политическим самосознанием...

Он еще много говорил, этот самый Чайкин. Я слушал и вспоминал рассказ Чехова, в котором описывается убийство при помощи пресс-папье; потом мне показалось, что убивать Чайкина не нужно, а следует выпороть, только не розгой и не какой-либо царскорежимной нагайкой, а обыкновенным пояском, которым рабочий подвязывает штаны. Это было бы идеологически выдержанно.

Брегель меня спросила, перебивая Чайкина:

— Вы чему-то улыбаетесь? Разве смешно то, что говорит товарищ Чайкин?

— О, нет,— сказал я,— это не смешно...

— А грустно, да? — улыбнулась, наконец, и Брегель.

— Нет, почему же, и не грустно. Это обыкновенно.

Брегель внимательно глянула на меня и, вздохнув, пошутила:

— Трудно вам с нами, правда?

— Ничего, я привык к трудным. У меня бывают гораздо труднее.

Брегель вдруг раскатилась смехом.

— Вы все шутите, товарищ Макаренко,— успокоилась она наконец.— Вы все-таки что-нибудь ответите Сергею Васильевичу?

Я умильно посмотрел на Брегель и взмолился:

— Я думаю, пускай и по этим вопросам тоже научпедком займется. Ведь там все сделают как следует? Лучше давайте обедать.

— Ну хорошо,— немного надулась Брегель.— Да, скажите, а что это за история: выгнали воспитанника Опришко?

— За пьянство.

— Где же он теперь? Конечно, на улице?

— Нет, живет рядом, у одного куркуля.

— Значит, что же, отдали на патронирование?

— В этом роде,— улыбнулся я.

— Он там живет? Это вы хорошо знаете?

— Да, хорошо знаю: живет у куркуля местного, Лукашенко. У этого доброго человека уж два беспризорных «на патронировании».

— Ну, это мы проверим.

— Пожалуйста.

Мы отправились обедать. После обеда Брегель и Чайкин захотели убедиться в чем-то собственными глазами, а я снял шапку перед Любовью Савельевной.

— Милый, дорогой, родненький Наркомпрос! Нам здесь тесно и все сделано. Мы запсихуем здесь через полгода. Дайте нам что-нибудь большое, чтобы голова закружилась от работы. У вас же много всего! У вас же не только принципы!

Любовь Савельевна засмеялась и сказала:

— Я вас хорошо понимаю. Это можно будет сделать. Пойдем, поговорим подробнее... Но постойте, вы все о будущем. Вас очень обижает эта ревизия?

— О нет, пожалуйста! А как же иначе?

— Ну, а выводы, все эти вопросы Чайкина вас не беспокоят?

— А почему? Ведь ими будет заниматься научпедком? Это ему беспокойство, а мне ничего...

Вечером Брегель, уходя спать, поделилась впечатлениями:

— Коллектив у вас чудесный. Но это ничего не значит, методы ваши ужасны.

Я в глубине души обрадовался: хорошо еще, что она ничего не знает об обучении наших барабанщиков.

— Спокойной ночи,— сказала Брегель.— Да, имейте в виду, вас никто и не думает обвинять в смерти Чобота...

Я поклонился с глубокой благодарностью.

16. ЗАПОРОЖЬЕ

Снова наступило лето. Снова, не отставая от солнца, заходили по полям сводные отряды, снова время от времени заработали знаменные четвертые сводные, и командовал ими все тот же Бурун.

Рабфаковцы приехали в колонию в середине июня и привезли с собою, кроме торжества по случаю перехода их на второй курс, еще и двух новых членов — Оксану и Рахиль, которым как колонисткам уже и выбора никакого не оставалось: обязаны были ехать в колонию. А также приехала и черниговка, существо донельзя чернобровое и черноглазое. Звали черниговку Галей Подгорной. Семен ввел ее в общее собрание колонистов, показал всем и сказал:

— Шурка написал в колонию, нибы я заглядывался на вот эту самую черниговку. Ничего не было, честное комсомольское слово. А важное что: Галя Подгорная не имеет, можно сказать, никакой территории, чтоб поехать на каникулы. Судите нас, товарищи колонисты, кто прав, а кто, может, и виноват.

Семен уселся на землю,— собрание происходило в парке.

Черниговка с удивлением рассматривала наше общество, голоногое, голорукое, а в некоторых частях и голопузое. Лапоть поджал губы, прищурился, похлопал лысыми огромными веками и захрипел:

— А скажите, пожалуйста, товарищ черниговка... это... как его...

Черниговка и собрание насторожились.

— ...а вы знаете «Отче наш»?

Черниговка улыбнулась, смутилась, покраснела и несмело ответила:

— Не знаю...

— Ага, не знаете? — Лапоть еще больше поджал губы и опять захлопал веками.— А «Верую» знаете?

— Нет, не знаю...

— Угу. А Днепр переплывете?

Черниговка растерянно посмотрела по сторонам:

— Да как вам сказать? Плаваю я хорошо, наверное, переплыву...

Лапоть повернулся к собранию с таким выражением лица, какое бывает у напряженно думающих дураков: надувался, хлопал глазами, поднимал палец, задирал нос, и все это без какого бы то ни было намека на улыбку.

— Значиться, так будэмо говорыты: «Отче наша» вона нэ тямыть, «Верую» ни в зуб ногой, Днипро пэрэплывэ. А може, нэ пэрэплывэ?

— Пэрэплывэ! — кричит собрание.

— Ну, добре, а колы не Днипро, так Коломак пэрэплывэ?

— Пэрэплывэ Коломак! — кричат хлопцы в хохоте.

— Выходыть так, що для нашои лыцарськои запорожськои колонии годыться?

— Годыться.

— До якого куреня?

— До пятого.

— В таким рази посыпьте ий голову писочком и вэдить до куреня.

— Та куды ж ты загнув? — кричит Карабанов.— То ж тилько кошевым писочком посыпалы...

— А скажы мени, козачэ,— задает вопрос Семену Лапоть,— а чи життя розвываеться, чи нэ розвываеться?

— Розвываеться. Ну?

— Ну, так раньше посыпали голову кошевому, а теперь всем.

— Ага,— говорит Карабанов,— правильно!

Мысль о переезде на Запорожье возникла у нас после одного из писем Джуринской, в котором она сообщала темные слухи, что есть проект организовать на острове Хортице большую детскую колонию, причем в Наркомпросе будут рады, если центральным организатором этой колонии явится колония имени Горького.

Детальная разработка этого проекта еще и не начиналась. На мои вопросы Джуринская отвечала, что окончательного решения вопроса нельзя ожидать скоро, что все это связано с проектом Днепростроя.

Что там делалось в Харькове, мы хорошо не знали, но в колонии делалось много. Трудно было сказать, о чем мечтали колонисты: о Днепре, об острове, о больших полях, о какой-нибудь фабрике. Многих увлекала мысль о том, что у нас будет собственный пароход. Лапоть дразнил девочек, утверждая, что на остров Хортицу по старым правилам девочки не допускаются, поэтому придется для них выстроить что-нибудь на берегу Днепра.

— Но это ничего,— утешал Лапоть.— Мы будем приезжать к вам в гости, а вешаться будем на острове,— вам же спокойнее.

Рабфаковцы приняли участие в шутливых мечтах получить в наследство запорожский остров и охотно отдали дань еще не потухшему стремлению к игре. Целыми вечерами колония хохотала до слез, наблюдая на дворе широкую имитацию запорожской жизни,— для этого большинство как следует штудировало «Тараса Бульбу». В такой имитации хлопцы были неисчерпаемы. То появится на дворе Карабанов в штанах, сделанных из театрального занавеса, и читает лекцию о том, как пошить такие штаны, на которые, по его словам, нужно сто двадцать аршин материи. То разыгрывается на дворе страшная казнь запорожца, обвиненного всей громадой в краже. При этом в особенности стараются сохранить в неприкосновенности такую легендарную деталь: казнь совершается при помощи киев, но право на удар кием имеет только тот, кто перед этим выпьет «кухоль горилки». За неимением горилки для колонистов, приводящих казнь в исполнение, ставится огромный горшок воды, выпить который даже самые большие питухи, водохлебы не в состоянии. То четвертый сводный, отправляясь на работу, подносит Буруну булаву и бунчук. Булава сделана из тыквы, а бунчук из мочалы, но Бурун обязан принять все эти «клейноды» с почтением и кланяться на четыре стороны.

Так проходило лето, а запорожский проект оставался проектом, ребятам уже и играть надоело. В августе уехали рабфаковцы и увезли с собою новую партию. Целых пять командиров выбыли из строя, и самая кровавая рана была на месте командира второго, — уехал-таки на рабфак Антон Братченко, мой самый близкий друг и один из основателей колонии имени Максима Горького. Уехал и Осадчий, за которого я заплатил хорошим куском жизни. Был это бандит из бандитов, а уехал в Харьков в технологический институт стройный красавец, высокий, сильный, сдержанный, полный какого-то особенного мужества и силы. Про него Коваль говорил:

— Комсомолец какой Осадчий, жалко провожать такого комсомольца!

Это верно: Осадчий вынес на своих плечах в течение двух лет сложнейшую нагрузку командира мельничного отряда, полную бесконечных забот, вечных расчетов с селами и комнезамами.

Уехал и Георгиевский, сын иркутского губернатора, так и не смывший с себя позорного пятна, хотя в официальной анкете Георгиевского и было написано: «Родителей не помнит».

Уехал и Шнайдер — командир славного восьмого отряда и командир пятого, Маруся Левченко, уехала.

Проводили рабфаковцев и вдруг заметили, как помолодело общество горьковцев. Даже в совете командиров засели недавние пацаны: во втором отряде Витька Богоявленский, в третьем отряде заменил Опришко Шаровский Костя, в пятом Наташа Петренко, в девятом Митька Жевелий, и только в восьмом добился, наконец, командирского поста огромный Федоренко. Отряд пацанов передал Георгиевский после трехлетнего командования Тоське Соловьеву.

Снова закопали бураки и картошку, обложили конюшни соломой, очистили и спрятали семена на весну, и снова на зябь, уже без конкуренции, заработали первые и вторые сводные. И только тогда получили мы из Харькова официальное предложение Наркомпроса осмотреть в Запорожском округе имение Попова.

Общее собрание колонистов, выслушав мое сообщение и пропустив через все руки бумажку Наркомпроса, сразу почувствовало, что дело серьезное. Ведь у нас на руках была и другая бумажка, в которой Наркомпрос просил Запорожский окрисполком передать имение Попова в распоряжение колонии.

В тот момент эти бумажки казались нам окончательным решением вопроса; оставалось вздохнуть свободно, забыть бесконечные разговоры о разных пустопорожних имениях, неудачных колониях, еще не умерших монастырях, еще не оживших помещичьих гнездах, потушить сказку о Хортицком острове, собираться и ехать.

Осмотреть и принять имение Попова поехали я и Митька Жевелий, избранный общим собранием. Митьке было уже пятнадцать лет. Он давно стоял в строю пацанов на голову выше других, давно прошел сложные искусы комсводотряда, больше года уже комсомолец, а в последнее время заслуженно был выдвинут на ответственный пост командира девятого. Митька был представителем новейшей формации горьковцев: к пятнадцати годам он приобрел большой хозяйственный

опыт и пружинный стан, и удачу организатора, заразившись в то же время многими ухватками старшего боевого поколения. Митька с первого дня был корешком Карабанова и от Карабанова получил как будто в наследство черный огневой глаз и энергичное красочное движение; но и отличался Митька от Семена заметно хотя бы уже потому, что к пятнадцати годам Митька был в пятой группе.

Мы с Митькой выехали в ясный морозный бесснежный день в конце ноября и через сутки были в Запорожье. По молодости нашей воображали, что новая счастливая эра трудовой колонии имени Горького начнется приблизительно так: председатель окрисполкома, человек с революционным приятным лицом, встретит нас ласково, обрадуется и скажет:

— Имение Попова? Для колонии имени Горького? Как же, как же, знаю. Пожалуйста, пожалуйста! Вот вам ордер на имение, идите и владейте.

Останется нам только узнать, где дорога в имение, и лететь в колонию с приглашением:

— Скорее, скорее собирайтесь!..

В том, что имение Попова нам понравится, мы не сомневались. На что уже Брегель в Наркомпросе женщина строгая, а и та сказала нам с Митькой, когда мы заехали к ней в Харьков:

— Попова имение? Как раз для Макаренко! Этот самый Попов был немножко чудак, он там такого настроил... да вот увидите. Хорошее имение, и вам понравится.

Джуринская говорила то же:

— Там хорошо и богато, и красиво. Это место нарочно сделано для детской колонии.

И Мария Кондратьевна сказала:

— Прелесть что за такое имение!

Уже одно то, что всем это имение известно, много значило, и поэтому и я и Митька были в фаталистическом настроении: это для нас, горьковцев, специально судьба приготовила.

Но из всех наших ожиданий правильным оказалось только одно: лицо предокрисполкома было действительно симпатичное и революционное. Все остальное вышло не так, и прежде всего не таковы были его речи.

Прочитав бумажку Наркомпроса, председатель сказал:

— Да, но там ведь крестьянская коммуна! А что это за колония Горького?

Он откровенно разглядывал нас с Митькой, и, кажется, Митька понравился ему больше, чем я, ибо он улыбнулся черноглазой Митькиной настороженности и спросил:

— Так это такие мальчики будут там хозяйничать?

Митька решительно покраснел и начал грубиянить:

— А чем у нас бузовые пацаны? Наверное, не хуже ваших граков будем хозяйничать.

После этих слов Митька еще больше покраснел, а председатель еще больше улыбнулся и доверчиво признал:

— Это крестьян вы так называете — «граки»? Действительно, хозяйничают плохо. Но ведь там полторы тысячи гектаров. Дело это выше компетенции окрисполкома, придется вам воевать в Наркомземе.

Митька недоверчиво прищурился на председателя:

— Вы сказали: дело выше... как это... компенции? Это значит как?

— А я ваш язык лучше понимаю, чем вы мої... Ну, хорошо, вам заведующий объяснит, что такое компетенция. А что я могу сделать? Я дам вам машину, езжайте, посмотрите. Кстати на месте поговорите с коммуной,— может быть, договоритесь. Но решать дело придется в Харькове, в Наркомземе.

Улыбаясь, председатель пожал руку Митьке:

— Если у вас все такие «пацаны», я буду вас поддерживать.

Мы с Митькой видели имение Попова и были отравлены его красотой.

На краю знаменитого Великого луга, кажется, на том самом месте, где стояла хата Тараса Бульбы, в углу между Днепром и Кара-Чекраком неожиданно в степи вытянулись длинные холмы. Между ними Кара-Чекрак прямой стрелкой стремится к Днепру, даже и на речку не похоже,— канал, а на высоком берегу его — чудо. Высокие зубчатые стены, за стенами дворцы, остроконечные и круглые кровли, перепутанные в сказочном своеволии. На некоторых башнях еще и флюгера мо-

тались, но окна смотрели черными пустыми провалами, и в этом было тяжелое противоречие с живой вычурностью мавританской или арабской фантазии.

Через ворота в двухэтажной кружевной башне въехали мы на огромный двор, выложенный квадратными плитами, между которыми торчали с угрюмым нахальством сухие, дрожащие от мороза стебли украинского бурьяна и на которых коровы, свиньи, козы понабрасывали черт знает чего. Вошли в первый дворец. Ничего в нем уже не было, кроме сквозняков, пахнувших известкой, да в вестибюле на куче мусора валялась гипсовая Венера Милосская не только без рук, но и без ног. В других дворцах, таких же высоких и изящных, тоже сильно еще пахло революцией. Опытным глазом восстановителя я прикидывал, во что обойдется ремонт. Собственно говоря, ничего страшного и не было: окна, двери, поправить паркет, штукатурка, Милосскую можно было и не восстанавливать; лестницы, потолки, печи были целы.

Митька был менее прозаичен, чем я. Никакие разрушения не могли потушить в нем эстетического восторга. Он бродил по залам, башням, переходам, дворам и дворикам и ахал:

— Ох, ты ж, черт! От смотри ж ты! Ну и здорово, честное слово! Ой, и грубòе ж место, Антон Семенович! От хлопцы будут довольны! Хорошо, честное слово, хорошо! А сколько же тут можно пацанов поместить? Мабуть, тысячу?

По моим расчетам выходило: пацанов можно поместить восемьсот.

— А чи справимся? Восемьсот — это ж, наверное, с улицы. А наши все командиры на рабфаке...

О том, справимся или не справимся, некогда было думать,— смотрели дальше. На черном дворе хозяйничала коммуна и хозяйничала отвратительно. Бесконечная конюшня была забита навозом, и в навозных кучах, давно без подстилки и уборки, стояли кое-где классические клячи с выпирающими остряками костей и с испачканными задами, многие плешивые. Огромная свинарня вся сквозила дырками, свиней было мало, и свиньи были плохие. На замерзших кочках двора торчали и валялись беспризорные возы, сеялки, колеса,

отдельные части, и все это покрывалось, как лаком, диким, одуряющим безлюдьем. Только в свинарне вытянул к нам грязную бороду корявый дедушка и сказал:

— Колы в контору, так он в ту хатынку зайдить.

— А где же ваши свиньи? —спросил Митька.

— Как вы говорите?..Ага ж... Свиньи дэ?..

Дед затоптался на месте, потрогал прозрачными пальцами усы и оглянулся на станки. Видно, Митькин вопрос был для деда дипломатически непосилен. Но он храбро махнул рукой:

— Та... поилы, сволочи, свиней, поилы...

— Кто это?

— Та хто ж? Свои поилы... коммуна оця самая...

— Так и вы ж, дедушка, в коммуне?

— Хе-хе, голубе, я в коммуни, як теля в отари. Теперь хто галасуваты глотку мае, той и старший. А диду не далы свинячины, не далы. А вы ж чого?

— Да по делу.

— Ага ж, по делу значить... Ну, конечно, раз по делу, так идить, от там заседають... Заседають, как же... Они все заседають, стервы... а тут...

Дед разгонялся, видимо, на большие откровенности, но нам было некогда.

В тесной конторе на издыхающих барских стульях в самом деле заседали. Сквозь махорочный дым трудно было разглядеть, сколько сидело человек, но галдеж был порядка двух десятков. К сожалению, мы так и не узнали повестки дня, потому что, как только мы вошли, темнобородый, кучерявый мужчина, с глазами нежными и круглыми, как у девочки, спросил нас:

— А что за люди?

Начался разговор, сначала недружелюбно-официальный, потом враждебно-страстный и только часа через два просто деловой.

Я, оказывается, ошибался. Коммуна была тяжело больна, но умирать не собиралась и, распознав в нас непрошеных могильщиков, возмутилась и из последних сил проявила жажду жить.

Ясно было одно: для коммуны полторы тысячи га было много. В этом чрезмерном богатстве и заключалась одна из причин ее бедности. Мы легко договорились, что землю можно будет поделить. Еще легче коммуна

согласилась отдать нам дворцы, зубцы и башни вместе с Венерой Милосской. Но когда очередь дошла до хозяйственного двора, и у коммунаров и у нас разгорелись страсти, Митька даже не удержался на линии спора и перешел на личности:

— А почему у вас до сих пор бурак в поле лежит?

И председатель ответил:

— А молодой ты еще меня про бурак спрашивать!

Только поздно вечером мы и по этому пункту договорились. Митька сказал:

— Ну, чего мы споримся, как ишаки? Можно ж хозяйственный двор поделить стенкой.

На том и помирились.

На чем мы добрались до колонии Горького, не помню, но кажется — это было что-то вроде крыльев. Наш рассказ на общем собрании встречен был еще невиданной овацией. Меня и Митьку качали, чуть не разбили мои очки, а у Митьки что-то таки разбили — нос или лоб.

В колонии началась действительно счастливая эра. Месяца три колонисты жили планами. Брегель упрекала меня, заехавши в колонию:

— Макаренко, кого вы воспитываете? Мечтателей?

Пусть даже и мечтателей. Я не в восторге от самого слова «мечта». От него действительно несет чем-то барышенским, а может быть, и хуже. Но ведь и мечта разная бывает: одно дело мечтать о рыцаре на белом коне, а другое — о восьми сотнях ребят в детской колонии. Когда мы жили в тесных казармочках, разве мы не мечтали о высоких светлых комнатах? Обвязывая ноги тряпками, мечтали о человеческой обуви. Мечтали о рабфаке, о комсомоле, мечтали о Молодце и о симментальском стаде. Когда я привез в мешке двух английских поросят, один такой мечтатель, нестриженый пацан Ванька Шелапутин, сидел на высокой скамье, положив под себя руки, болтая ногами, и глядел в потолок:

— Это ж только два поросенка. А потом они приведут еще сколько. А то еще сколько. И через... пять лет у нас будет сто свиней. Го-го! Ха-ха! Слышишь, Тоська, сто свиней!

И мечтатель и Тоська непривычно хохотали, заглушая деловые разговоры в моем кабинете. А теперь у нас

больше трехсот свиней, и никто не вспоминает, как мечтал Шелапутин.

Может быть, главное отличие нашей воспитательной системы от буржуазной в том и лежит, что у нас детский коллектив обязательно должен расти и богатеть, впереди должен видеть лучший завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в настойчивой веселой мечте. Может быть, в этом и заключается истинная педагогическая диалектика.

Поэтому я не надевал на мечту колонистов никакой узды и вместе с ними залетел, может быть, и слишком далеко. Но это было очень счастливое время в колонии, и теперь о нем все мои друзья вспоминают радостно. С нами мечтал и Алексей Максимович, которому мы подробно писали о наших делах.

Не радовались и не мечтали в колонии только несколько человек, и между ними Калина Иванович. У него была молодая душа, но, оказывается, для мечты одной души мало. И сам Калина Иванович говорил:

— Ты видав, как хороший конь автомобиля боится? Это потому, что он, паразит, жить хочет. А шкапа если какая, так она не только что автомобиля, а и черта не боится, потому что ей все равно: чи хлеб, чи толокно, как кацапы говорят...

Я уговаривал Калину Ивановича ехать с нами, и хлопцы просили, но Калина Иванович был тверд:

— Я вже теперь ничего не боюся, и вам такие паразиты ни к чему. Погуляв с вами, и довольно! А теперь на пенсию: при совецькой власти хорошо дармоедам— старым перхунам.

И Осиповы заявили, что они никуда с колонией не поедут, что с них довольно сильных переживаний.

— Мы люди скромные,— говорила Наталья Марковна.— Мы даже не понимаем, для чего это вам нужно восемьсот душ. Честное слово, Антон Семенович, вы сорветесь на этой затее.

В ответ на эту декларацию я декламировал: «Безумству храбрых поем мы песню».

Ребята аплодировали и смеялись, но Осиповых таким способом смутить было нельзя. Впрочем, Силантий меня утешал:

— Здесь это, пускай остаются. Ты это, Антон Семе-

нович, любишь, как говорится, всех в беговые дрожки запрягать. Корова, здесь это, для такого дела не годится, а ты ее все цепляешь. Видишь, какая история.

— А тебя можно, Силантий Семенович?

— Куда это?

— Да вот — в беговые дрожки.

— Меня, здесь это, куда хочешь, хоть Буденному под седло. Это, понимаешь, сволочи меня прилаживали, как говорится, воду возить. А не разглядели, гады, конь какой боевой!

Силантий задирал голову и топал ногой, с некоторым опозданием прибавляя:

— Видишь, какая история.

То обстоятельство, что почти все воспитатели, и Силантий, и Козырь, и Елисов, и кузнец Годанович, и все прачки, кухарки и даже мельничные решили ехать с нами, делало этот переезд как-то по-особенному уютным и надежным.

А между тем дела в Харькове были плохие. Я часто туда ездил. Наркомпрос нас дружно поддерживал. Даже Брегель заразилась нашей мечтой, хотя в этот период меня иначе не называла, как Дон-Кихот Запорожский.

На что уже Наркомзем, хотя и выпячивал губы и ошибался презрительно: то колония Горького, то колония Короленко, то колония Шевченко,— и тот уступил: берите, мол, и восемьсот десятин и поповское имение, только отвяжитесь.

Враги наши оказались не на боевом фронте, а в засаде. Наткнулся я на них в горячей атаке, воображая, что это последний победный удар, после которого только в трубы трубить. А против моей атаки вышел из-за кустов маленький такой, в куцем пиджачке, человечек, сказал несколько слов, и я оказался разбитым наголову и покатился назад, бросая орудия и знамена, комкая ряды разогнавшихся в марше колонистов.

— Наркомфин не может согласиться на эту аферу — дать вам тридцать тысяч, чтобы ремонтировать никому не нужный дворец. А ваши детские дома стоят в развалинах.

— Да ведь это не только на ремонт. В эту смету входят и инвентарь и дорога.

— Знаем, знаем: восемьсот десятин, восемьсот беспризорных и восемьсот коров. Времена таких афер кончились. Сколько мы Наркомпросу миллионов давали, все равно ничего не выходит: раскрадут все, поломают и разбегутся.

И человечек наступил на грудь повергнутой так неожиданно нашей живой, нашей прекрасной мечты. И сколько она ни плакала под этой ногой, сколько ни доказывала. что она мечта горьковская, ничего не помогло,— она умерла.

И вот я, печальный, возвращаюсь домой, судорожно вспоминая: ведь в нашей школе комплексом проходит тема «Наше хозяйство в Запорожье». Шере два раза ездил в имение Попова. Он составил и рассказал колонистам переливающий алмазами, изумрудами, рубинами хозяйственный план, в котором лучились, играли, ослепляли тракторы, сотни коров, тысячи овец, сотни тысяч птиц, экспорт масла и яиц в Англию, инкубаторы, сепараторы, сады.

Ведь еще на прошлой неделе вот так же я возвращался из Харькова, и меня встречали возбужденные пацаны, стаскивали с экипажа и вопили:

— Антон Семенович, Антон Семенович! У Зорьки жеребенок! Вот посмотрите, посмотрите! Нет, вы сейчас посмотрите!..

Они потащили меня в конюшню и окружили там еще сырого, дрожащего золотого лошонка. Улыбались молча, и только один сказал задушевно:

— Запорожцем назвали...

Милые мои пацаны! Не ходить вам за плугом по Великому лугу, не жить в сказочном дворце, не трубить вашим трубачам с высоты мавританских башен, и золотого конька напрасно вы назвали Запорожцем.

17. КАК НУЖНО СЧИТАТЬ

Удар, нанесенный человеком из Наркомфина, оказался ударом тяжелым. Защемило под сердцем у колонистов, заухмылялись и заржали недруги, и я растерялся не на шутку. Но никому уже не приходило в голову, что мы можем остаться на Коломаке. И в Нар-

компросе покорно ощущали нашу неподатливость, и у них вопрос стоял только в одной форме: куда ехать?

Февраль и март 1926 года были поэтому очень сложно построены. Неудача с Запорожьем потушила последние вспышки торжественной и праздничной надежды, но взамен ее осталась у коллектива упрямая уверенность. Не было недели, чтобы на общем собрании колонистов не обсуждалось какое-нибудь предложение. На просторных степях Украины много еще было таких мест, где либо никто не хозяйничал, либо хозяйничали плохо. Их по очереди подкладывали нам друзья из Наркомпроса, комсомольские организации, соседи-старожилы и далекие знакомцы — хозяйственники. И я, и Шере, и хлопцы много исколесили в то время дорог и шляхов и в поездах, и в машинах, и на Молодце, и на разных конях и клячах местного транспорта.

Но разведчики привозили домой почти одну усталость: на общих собраниях колонисты выслушивали их с холодными деловыми лицами и расходились по своим делам, метнув в докладчика первым попавшимся тяжелым вопросом:

— Сколько там можно поместить? Сто двадцать человек? Чепуха!

— А город какой? Пирятин? Ерунда!

Да и сами докладчики были рады такому концу, ибо в глубине души больше всего боялись, как бы собрание чем-нибудь не соблазнилось.

Так прошли перед нашими глазами имение Старицкого в Валках, монастырь в Пирятине, монастырь в Лубнах, хоромы князей Кочубеев в Диканьке и еще коекакая дрянь.

Еще больше пунктов называлось и сразу отбрасывалось, не удостоиваясь разведки. И между ними был и Куряж — детская колония под самым Харьковом, в которой было четыреста ребят, по слухам, разложившихся вконец. Представление о разложившемся детском учреждении было для нас таким отвратительным, что мысль о Куряже вздувалась только мелкими чахоточными пузырьками, которые лопались в момент появления.

Однажды во время моей очередной поездки в Харьков попал я на заседание помдета. Обсуждался вопрос

о положении Куряжской колонии, состоявшей в его ведомстве. Инспектор наробраза Юрьев озлобленно-сухо докладывал о положении в колонии, сжимал и укорачивал выражения, и тем глупее и возмутительнее представлялись тамошние дела. Сорок воспитателей и четыреста воспитанников казались слушателю сотнями издевательских анекдотов о человеке, измышлением какого-то извращенного негодяя, мизантропа и пакостника. Я готов был стукнуть кулаком по столу и кричать:

— Не может быть! Сплетни!

Но Юрьев казался очень основательным человеком, а сквозь вежливую серьезность докладчика хорошо просвечивала давно насиженная наробразовская грусть, в которой сомневаться я меньше всего имел оснований. Юрьев меня стыдился и поглядывал иногда с таким выражением, как будто у него случился беспорядок в костюме. После заседания он подошел ко мне и прямо сказал:

— Честное слово, при вас стыдно было рассказывать обо всех этих гадостях. Ведь у вас, рассказывают, если колонист опоздает на пять минут к обеду, вы его сажаете под арест на хлеб и на воду на сутки, а он улыбается и говорит «есть».

— Ну, не совсем так. Если бы я практиковал такой удачный метод, вам пришлось бы и о колонии Горького докладывать приблизительно в стиле сегодняшнего вашего доклада.

Мы с Юрьевым разговорились, заспорили. Он пригласил меня обедать и за обедом сказал:

— Знаете что? А почему вам не взять Куряж?

— Да что ж там хорошего? И ведь там полно?

— Да зачем полно? Мы очистим для ваших сто двадцать мест.

— Не хочется. Грязная работа. Да и не дадите работать...

— Дадим! Чего вы нас так боитесь? Дадим вам открытый лист — делайте, что хотите. Этот Куряж — это ужас какой-то! Подумайте, под самой столицей такое бандитское гнездо. Вы же слышали. На дороге грабят! На восемнадцать тысяч рублей раскрали только в самой колонии — за четыре месяца.

— Значит, там нужно весь персонал выгнать.

— Нет, зачем же... там есть отличные работники.

— Я в таких случаях сторонник полной асептики.

— Ну, хорошо, выгоняйте, выгоняйте!..

— Да нет, в Куряж мы не поедем.

— Но вы же еще не видели?

— Не видел.

— Знаете что? Оставайтесь на завтра, возьмем Халабуду и поедем, посмотрим.

Я согласился. На другой день мы втроем поехали в Куряж. Я ехал сюда, не предчувствуя, что еду выбирать могилу для моей колонии.

С нами был Халабуда Сидор Карпович, председатель помдета. Он честно председательствовал в этом учреждении, состоявшем тогда из плохих, развалившихся детских домов и колоний, бакалейных магазинов, кинотеатров, магазинов плетеной мебели, увеселительных садов, рулеток и бухгалтерий. Сидор Карпович был покрыт паразитами: коммерсантами, комиссионерами, крупье, шарлатанами, жуликами, шулерами и растратчиками, и мне от души хотелось подарить ему большую бутылку сабадилловой настойки. Он давно уже был оглушен различными соображениями, которые ему со всех сторон подсказывали: экономическими, педагогическими, психологическими и прочими, и прочими, и поэтому давно потерял надежду понять, отчего в его колониях нищета, повальное бегство, воровство и хулиганство, покорился действительности, глубоко верил, что беспризорный — это соединение всех семи смертных грехов, и от всего своего былого прекраснодушия оставил себе только веру в лучшее будущее и веру в жито.

Последнюю черту его характера я выяснил уже в дальнейшем, а сейчас, сидя в автомобиле, я без какого бы то ни было подозрения выслушивал его речи:

— Надо, чтобы у людей жито было. Если у людей есть жито, так ничего не страшно. Что с того, понимаешь, что ты его Гоголю научишь, а если у него хлеба нету? Ты дай ему жита, а потом и книжку подсунь... Вот и эти бандиты жита посеять не умеют, а красть умеют.

— Плохой народ?

— Они? Ох, и народ же, понимаешь! Они ко мне это: дай, Сидор Карпович, пятерку, курить хочется.

Дал я, конечно, а он через неделю опять: Сидор Карпович, дай пять рублей. Я ж тебе, говорю, дал? Так, говорит, ты на папиросы дал, а теперь на водку дай...

Пролетев километров шесть от города по песчаной скучной дороге, взобрались мы на пригорок и въехали в облезшие ворота монастыря. Посреди круглого двора бесформенная громада древнего, тем не менее безобразного храма, за ним что-то трехэтажное, а по окружности длинные приземистые флигеля, подпертые полусгнившими крылечками. Немного в стороне по краю обрыва деревянная двухэтажная гостиница в период перестройки. По углам и закоулкам попрятались черт его знает из чего слепленные домики, сарайчики, кухоньки, всякая дрянь, скопившаяся за триста молитвенных лет. Меня прежде всего поразил царящий в колонии запах. Это была сложная смесь из уборных, борща, навоза и... ладана. В церкви пели, на ступенях у входа сидели сухие несимпатичные старухи и, наверное, вспоминали о тех счастливых временах, когда было у кого просить милостыню. Но колонистов не было видно.

Серенький поношенный заведующий с тоской посмотрел на наш фиат, хлопнул рукой по крылу машины и повел нас показывать колонию. Видно было, что он уже привык показывать ее не для славы, а для осуждения, и тропы его мучений были ему хорошо известны.

— Вот здесь спальни первого коллектива,—сказал он, проходя в то место, где раньше были двери, а теперь только дверная рама, даже и наличников не было. Так же беспрепятственно мы переступили и через второй порог и повернули в коридор влево. Я тогда только понял, что коридор этот ничем не отделяется от воздуха, бывшего когда-то свежим. Это, между прочим, доказывалось и наметами снега под стенами, успевшими уже покрыться пылью.

— А как же это... без дверей? — спросил я.

Заведующий с трудом показал нам, что когда-то он умел улыбаться, и пошел дальше. Юрьев сказал громко:

— Двери давно сгорели. Если бы только двери! Уже полы срывают и жгут, сожгли и навесы над погребами и даже часть возов.

— А дрова?

— А черт их знает, почему у них дров нет! Деньги были отпущены на дрова.

Халабуда высморкался и сказал:

— Дрова, наверное, и теперь есть. Не хотят распилить и поколоть, а нанять не на что. Есть дрова у сволочей... Знаете же, какой народ — бандиты!

Наконец мы подошли к настоящей закрытой двери в спальню. Халабуда стукнул по ней ногой, и она немедленно повисла на одной нижней петле, угрожая свалиться нам на головы. Халабуда поддержал ее рукой и засмеялся:

— Э, нет, чертова ведьма! Я тебя уже хорошо знаю...

Мы вошли в спальню. На изломанных грязных кроватях, на кучах бесформенного мусорного тряпья сидели беспризорные, настоящие беспризорные, во всем их великолепии, и старались согреться, кутаясь в такое же тряпье. У облезшей печки двое разбивали колуном доску, окрашенную, видно недавно, в желтый цвет. По углам и даже в проходах было нагажено. Здесь были те же запахи, что и на дворе, минус ладан.

Нас провожали взглядами, но головы никто не повернул. Я обратил внимание, что все беспризорные были в возрасте старше шестнадцати лет.

— Это у вас самые старшие? — спросил я.

— Да, это первый коллектив — старший возраст,— любезно пояснил заведующий.

Из дальнего угла кто-то крикнул басом:

— Вы не верьте им, что они говорят! Врут все!

В другом конце сказали свободно, отнюдь ничего не подчеркивая:

— Показывают... Чего тут показывать? Показали бы лучше, что накрали.

Мы не обратили никакого внимания на эти возгласы, только Юрьев покраснел и украдкой посмотрел на меня.

Мы вышли в коридор.

— В этом здании шесть спальных комнат,— сказал заведующий.— Показать?

— Покажите мастерские,— попросил я.

Халабуда оживился и начал длинную повесть о том, с каким успехом он покупал станки.

Мы снова вышли во двор. Навстречу нам, заверну-

шись в «клифт», прыгал по кочкам пацан, стараясь не попадать босыми черными ногами на полосы снега. Я его остановил, отставая от других:

— Ты откуда бежишь, пацан?

Он остановился и поднял лицо:

— А я ходил узнавать, чи не будут нас отправлять?

— Куда?

— Говорили, что будут отправлять куда-то.

— А здесь плохо?

— Здесь уже нельзя жить,— тихо и грустно сказал пацан, почесывая ухо о край «клифта».— Здесь можно и замерзнуть... И бьют...

— Кто бьет?

— Все.

Пацан был из смышленых и, кажется, без уличного стажа; у него большие голубые глаза, еще не обезображенные уличными гримасами; если его умыть, получится милый ребенок.

— За что бьют?

— А так. Если не дашь чего. Или обед отнимут когда. У нас пацаны так давно не обедают. Бывает, и хлеб отнимают... Или, если не украдешь... тебе скажут украсть, а ты не украдешь... А вы не знаете, будут отправлять?

— Не знаю, голубчик.

— А говорят, скоро будет лето...

— А тебе для чего лето?

— Пойду.

Меня звали к мастерским. Мне казалось невозможным уйти от пацана, не оказав ему никакой помощи, но он уже прыгал по кочкам, приближаясь к спальням,— вероятно, в спальнях все-таки теплее, чем на кочках.

Мастерские нам не удалось посмотреть: кто-то таинственный владел ключами, и никакие поиски заведующего не привели к выяснению тайны. Мы ограничились тем, что заглянули в окна. Здесь были штамповальные станки, деревообделочные и два токарных, всего двенадцать станков. В отдельных флигелях помещались сапожная и швейная — столп и утверждение педагогики.

— У вас сегодня праздник, что ли?

Заведующий не ответил. Юрьев взял снова на себя этот каторжный труд:

— Я вам удивляюсь, Антон Семенович. Вы должны уже все понять. Никто здесь не работает, это общее положение. А кроме того, инструменты раскрадены, материала нет, энергии нет, заказов нет, ничего нет. Да ведь и работать никто не умеет.

Собственная электростанция, о которой Халабуда тоже рассказал целую историю, само собой, не работала: что-то было поломано.

— Ну, а школа?

— Школа имеется,— сказал лично заведующий,— только... нам не до школы...

Халабуда настойчиво тянул на поле. Мы вышли из круга, ограниченного стенами саженной толщины, и увидели большую впадину бывшего когда-то пруда, а за ним до леса поля, покрытые тонким разветренным снегом. Халабуда, как Наполеон, вытянул руку и торжественно произнес:

— Сто двадцать десятин! Богатство!

— Озимые посеяны? — спросил я неосторожно.

— Озимые! — вскричал в восторге Халабуда.— Тридцать десятин жита, считайте по сто пудов, три тысячи пудов одного жита! Без хлеба не будут. А жито какое! Если люди будут сеять жито, можно одно жито. Пшеница — это что? Житный хлеб, ты знаешь, немцы его не могут есть, да и французы не могут... А наш брат, если есть житный хлеб...

Мы успели возвратиться к машине, а Халабуда все говорил о жите. Сначала нас это раздражало, а потом стало даже интересно: что еще можно сказать о жите?

Мы сели в машину и уехали, провожаемые одиноким, скучным заведующим. Молчали до самой Холодной горы.

Когда проезжали через базар, Юрьев кивнул на группу беспризорных и сказал:

— Это воспитанники из Куряжа... Ну, что, берете?

— Нет.

— Чего вы боитесь! Ведь колония имени Горького правонарушительская? Все равно к вам Всеукраинская комиссия присылает всякую дрянь. А здесь мы вам даем нормальных детей.

Даже Халабуда захохотал в машине:

— Нормальные, тоже сказал!..

Юрьев продолжал свое:

— Заедем сейчас к Джуринской, поговорим. Помдет уступит колонию Наркомпросу. Харькову неудобно посылать к вам правонарушителей, а своей колонии нет. А здесь будет своя, да еще какая: на четыреста человек! Это шикарно. Мастерские здесь неплохие. Сидор Карпович, отдадите колонию?

Халабуда подумал:

— Тридцать десятин жита — это двести сорок пудов семян. А работа? Заплатите? А колонию почему не отдать? Отдадим.

— Заедем к Джуринской,— твердил Юрьев.— Сто двадцать ребят помоложе куда-нибудь переведем, а двести восемьдесят оставим вам. Они хоть и не правонарушители формально, так после куряжского воспитания еще хуже.

— Зачем я полезу в эту яму? — сказал я Юрьеву.— И, кроме того, здесь нужно как-то прибрать. Это будет стоить не меньше двадцати тысяч рублей.

— Сидор Карпович даст.

Халабуда проснулся.

— За что двадцать тысяч?

— Цена крови,— сказал Юрьев,— цена преступления.

— Зачем двадцать тысяч? — еще раз удивился Халабуда.

— Ремонт, двери, инструменты, постели, одежда, все!

Халабуда надулся:

— Двадцать тысяч! За двадцать тысяч мы и сами все сделаем.

У Джуринской Юрьев продолжал агитацию. Любовь Савельевна слушала его, улыбаясь, и с любопытством посматривала на меня.

— Это был бы слишком дорогой эксперимент. Рисковать колонией имени Горького мы не можем. Надо просто: Куряж закрыть, а детей распределить между другими колониями. Да и товарищ Макаренко не пойдет в Куряж.

— Нет,— сказал я.

— Это окончательный ответ? — спросил Юрьев.

— Я поговорю с колонистами, но, вероятно, они откажутся.

Халабуда хлопнул глазами.

— Кто откажется?

— Колонисты.

— Эти... ваши воспитанники?

— Да.

— А что они понимают?

Джуринская положила руку на рукав Халабуды:

— Голубчик Сидор! Они там больше нас с тобой понимают. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда они увидят твой Куряж.

Халабуда рассердился:

— Да что вы ко мне пристали: «твой Куряж»! Почему он мой? Я дал вам пятьдесят тысяч рублей. И двигатель. И двенадцать станков. А педагоги ваши... Какое мне дело, что они плохо работают?..

Я оставил этих деятелей соцвоса сводить семейные счеты, а сам поспешил на поезд. Меня провожали на вокзале Карабанов и Задоров. Выслушав мой рассказ о Куряже, они уставились глазами в колеса вагона и думали. Наконец Карабанов сказал:

— Нужники чистить,— не большая честь для горьковцев, однако, черт его знает, подумать нужно...

— Зато мы будем близко, поможем,— показал зубы Задоров.— Знаешь что, Семен... поедем, посмотрим завтра.

Общее собрание колонистов, как и все собрания в последнее время, сдержанно-раздумчиво выслушало мой доклад. Делая его, я любопытно прислушивался не только к собранию, но и к себе самому. Мне вдруг захотелось грустно улыбнуться. Что это происходит: был ли я ребенком четыре месяца назад, когда вместе с колонистами бурлил и торжествовал в созданных нами запорожских дворцах? Вырос ли я за четыре месяца или оскудел только? В своих словах, в тоне, в движении лица я ясно ощущал неприятную неуверенность. В течение целого года мы рвались к широким, светлым просторам, неужели наше стремление может быть увенчано каким-то смешным, загаженным Куряжем? Как могло случиться, что я сам, по собственной воле, говорю с ребятами о таком невыносимом будущем? Что могло привлекать нас в Куряже? Во имя каких ценностей нужно покинуть нашу, украшенную цветами и Колома-

ком жизнь, наши паркетные полы, нами восстановленное имение?

Но в то же время в своих скупых и правдивых контекстах, в которых невозможно было поместить буквально ни одного радужного слова, я ощущал неожиданный для меня самого большой суровый призыв, за которым где-то далеко пряталась еще несмелая, застенчивая радость.

Ребята иногда прерывали мой доклад смехом, как раз в тех местах, где я рассчитывал повергнуть их в смятение. Затормаживая смех, они задавали мне вопросы, а после моих ответов хохотали еще больше. Это не был смех надежды или счастья — это была насмешка.

— А что же делают сорок воспитателей?

— Не знаю.

Хохот.

— Антон Семенович, вы там никому морды не набили? Я бы не удержался, честное слово.

Хохот.

— А столовая есть?

— Столовая есть, но ребята все же босые, так кастрюли носят в спальни и в спальнях едят...

Хохот.

— А кто же носит?

— Не видал. Наверное, ребята...

— По очереди, что ли?

— Наверное, по очереди.

— Организованно, значит.

Хохот.

— А комсомол есть?

Здесь хохот разливается, не ожидая моего ответа.

Однако, когда я окончил доклад, все смотрели на меня озабоченно и серьезно.

— А какое ваше мнение? — крикнул кто-то.

— А я так, как вы...

Лапоть присмотрелся ко мне и, видно, ничего не разобрал.

— Ну, высказывайтесь... Ну?.. Чего же вы молчите?.. Интересно, до чего вы домолчитесь?

Поднял руку Денис Кудлатый.

— Ага, Денис? Интересно, что ты скажешь.

Денис привычным национальным жестом полез «в потылыцю», но, вспомнив, что эта слабость всегда отмечается колонистами, сбросил ненужную руку вниз.

Ребята все-таки заметили его маневр и засмеялись.

— Да я, собственно говоря, ничего не скажу. Конечно, Харьков там близко, это верно... Все ж таки браться за такое дело... кто ж у нас есть? Все на рабфаки позабирались...

Он покрутил головой, как будто муху проглотил.

— Собственно говоря, про этот Куряж и говорить бы не стоило. Чего мы туда попремся? А потом считайте: их двести восемьдесят, а нас сто двадцать, да у нас новеньких сколько, а старые какие? Тоська тебе командир, и Наташка командир, а Перепелятченко, а Густоиван, а Галатенко?

— А чего — Галатенко? — раздался сонный, недовольный голос.— Как что, так и Галатенко.

— Молчи! — остановил его Лапоть.

— А чего я буду молчать? Вон Антон Семенович рассказывал, какие там люди. А я что, не работаю или что?

— Ну, добре,— сказал Денис,— я извиняюсь, а все ж таки нам там морды понабивают, только и дела будет.

— Потише с мордами,— поднял голову Митька Жевелий.

— А что ты сделаешь?

— Будь покоен!

Кудлатый сел. Взял слово Иван Иванович:

— Товарищи колонисты, я все равно никуда не поеду, так я со стороны, так сказать, смотрю, и мне виднее. Зачем ехать в Куряж? Нам оставят триста ребят самых испорченных, да еще харьковских...

— А сюда харьковских не присылают разве? — спросил Лапоть.

— Присылают. Так посудите — триста! И Антон Семенович говорит — ребята там взрослые. И считайте еще и так: вы к ним приедете, а они у себя дома. Если они одной одежи раскрали на восемнадцать тысяч рублей, то вы представляете себе, что они с вами сделают?

— Жаркое! — крикнул кто-то.

— Ну, жаркое еще жарить нужно,— живьем съедят!

— А многих из наших они и красть научат,— продолжал Иван Иванович.— Есть у нас такие?

— Есть, сколько хотите,— ответил Кудлатый,— у нас шпаны человек сорок, только боятся красть.

— Вот-вот! — обрадовался Иван Иванович.— Считайте: вас будет восемьдесят, а их триста двадцать, да еще откиньте наших девочек и малышей... А зачем все? Зачем губить колонию Горького? Вы на погибель идете, Антон Семенович!

Иван Иванович сел на место, победоносно оглядываясь. Колонисты полуодобрительно зашумели, но я не услышал в этом шуме никакого решения.

При общем одобрении вышел говорить Калина Иванович в своем стареньком плаще, но выбритый и чистенький, как всегда. Калина Иванович тяжело переживал необходимость расстаться с колонией, и сейчас в его голубых глазах, мерцающих старческим неверным светом, я вижу большую человеческую печаль.

— Значит, такое дело,— начал Калина Иванович не спеша,— я тоже с вами не поеду, выходит, и мое дело сторона, а только не чужая сторона. Куды вы поедете, и куды вас жизнь поведет — разница. Говорили на прошлом месяце: масло будем грузить английцям. Так скажите на милость мне, старому, как это можно такое допустить — работать на этих паразитов, английцев самых? А я ж видав, как наши стрыбали: поедем, поедем! Ну й поехав бы ты, а потом что? Теорехтически, оно, конечно, Запорожье, а прахтически — ты просто коров бы пас, тай и все. Пока твое масло до английця дойдеть, сколько ты поту прольешь, ты считав? И тоби пасты, и тоби навоз возить, и коровам задницы мыть, а то ж англиець твоего масла исты не захотит, паразит. Так ты ж того не думав, дурень, а — поеду тай поеду. И хорошо так вышло, что ты не поехав, хай соби англиець сухой хлеб кушаеть. А теперь перед тобой Куряж. А ты сидишь и думаешь. А чего ж тут думать? Ты ж человек передовой, смотри ж ты, триста ж твоих братив пропадаеть, таких же Максимов Горьких, как и ты. Рассказывал тут Антон Семенович, а вы реготали, а что ж тут смешного? Как это можеть совецькая власть допустить, чтобы в самой харьковской столице, под боком у самого Григория Ивановича четыреста бандитов росло? А совецькая власть и говорить вам: а ну, поезжайте зробить, чтобы из них люди правильные

вышли,— триста ж людей, вы ж подумайте! А на вас же будет смотреть не какая-нибудь шпана, Лука Семенович чи што, а весь харьковский пролетарий! Так вы — нет! Нам лучше английцев годуваты, чтобы тем маслом подавились. А тут нам жалко. Жалко з розами разлучиться и страшно: нас сколько, а их, паразитов, сколько. А как мы с Антоном Семеновичем вдвох начинали эту колонию, так что? Може, мы собирали общее собрание та говорили речи? От Волохов и Таранець, и Гуд пускай скажут, чи мы их злякались, паразитов? А это ж работа будет государственная, совецькой власти нужная. От я вам и говорю: поезжайте, и все. И Горький Максим скажеть: во какие мои горьковцы, поехали, паразиты, не злякались!

По мере того как говорил Калина Иванович, румянее становились его щеки, и теплее горели глаза колонистов. Многие из сидящих на полу ближе подвинулись к нам, а некоторые положили подбородки на плечи соседей и неотступно вглядывались не в лицо Калины Ивановича, а куда-то дальше, в какой-то свой будущий подвиг. А когда сказал Калина Иванович о Максиме Горьком, ахнули напряженные зрачки колонистов человеческим горячим взрывом, загалдели, закричали, задвигались пацаны, бросились аплодировать, но и аплодировать было некогда. Митька Жевелий стоял посреди сидящих на полу и кричал задним рядам, очевидно, оттуда ожидая сопротивления:

— Едем, паразиты, честное слово, едем!

Но и задние ряды стреляли в Митьку разными огнями и решительными гримасами,— и тогда Митька бросился к Калине Ивановичу, окруженному копошащейся кашей пацанов, способных сейчас только визжать.

— Калина Иванович, раз так, и вы с нами едете?

Калина Иванович горько улыбнулся, набивая трубку. Лапоть говорил речь:

— У нас что написано, читайте!

Все закричали хором:

— Не пищать!

— А ну, еще раз прочитаите!

Лапоть низвергнул вниз сжатый кулак, и все звонко, требовательно повторили:

— Не пищать!

— А мы пищим! Какие все математики: считают восемьдесят и триста двадцать. Кто так считает? Мы приняли сорок харьковских, мы считали? Где они?

— Здесь мы, здесь! — крикнули пацаны.

— Ну, и что?

Пацаны крикнули:

— Груба̀!

— Так какого черта считать? Я на месте Иван Ивановича так считал бы: у нас нет вшей, а у них десять тысяч — сидите на месте.

Хохочущее собрание оглянулось на Ивана Ивановича, покрасневшего от стыда.

— Мы должны считать просто,— продолжал Лапоть: — с нашей стороны колония Горького, а с ихней стороны кто? Никого нет!

Лапоть кончил. Колонисты закричали:

— Правильно! Едем, и все! Пусть Антон Семенович пишет в Наркомпрос!

Кудлатый сказал:

— Добре! Ехать, так ехать. Только и ехать нужно с головой. Завтра уже март, ни одного дня нельзя терять. Надо не писать, а телеграмму, а то без огорода останемся. И другое дело: без денег ехать все равно нельзя. Двадцать тысяч чи сколько, а все равно нужны деньги.

— Голосовать? — спросил Лапоть моего совета.

— Пусть Антон Семенович скажет свое мнение! — крикнули из толпы.

— А ты не видишь, что ли? — сказал Лапоть.— А для порядка все равно нужно. Слово Антону Семеновичу.

Я поднялся перед собранием и сказал коротко:

— Да здравствует колония имени Горького!..

Через полчаса новый старший конюх и командир второго отряда Витька Богоявленский выехал верхом в город.

Зачем он шапкой дорожит?

А в шапке у него депеша:

«Харьков Наркомпрос Джуринской.

Настойчиво просим передать Куряж нам возможно скоро обеспечить посевную смета дополнительно.

Общее собрание колонистов.

Макаренко».

18. БОЕВАЯ РАЗВЕДКА

Джуринская вызвала меня телеграммой на следующий день. Колонисты доверчиво придали этой телеграмме большое значение:

— Видите как: бах-бах-бах, телеграмма, телеграмма...

На самом деле история развивалась без особого баханья. Несмотря на то, что Куряж по общему признанию был нетерпим хотя бы потому, что все окрестные дачи, поселки и села настойчиво просили ликвидировать эту «малину», у Куряжа нашлись защитники. Собственно говоря, только Джуринская и Юрьев требовали перевода колонии без всяких оговорок. При этом Юрьев действительно не сомневался в правильности задуманной операции, Джуринская же шла на нее, только доверяя мне, и в минуту откровенности признавалась:

— Боюсь все-таки, Антон Семенович. Ничего не могу поделать с собой, боюсь...

Брегель поддерживала перевод, но предлагала такие формы его, на которые я согласиться не мог: особая тройка должна была организовать всю операцию, горьковские формы постепенно внедрятся в новый коллектив, и на один месяц должны быть мобилизованы для помощи мне пятьдесят комсомольцев в Харькове.

Халабуда кем-то накачивался из своего продувного окружения и слушать не хотел о двадцати тысячах единовременной дотации, повторяя одно и то же:

— За двадцать тысяч мы и сами сделаем.

Неожиданные враги напали из профсоюза. Особенно бесчинствовал Клямер, страстный брюнет и друг народа. Я и теперь не понимаю, почему раздражала его колония Горького, но говорил о ней он исключительно с искаженным от злобы лицом, сердито плевался, стучал кулаками:

— На каждом шагу реформаторы! Кто такой Макаренко? Почему из-за какого-то Макаренко мы должны нарушать законы и интересы трудящихся? А кто знает колонию Горького? Кто видел? Джуринская видела, так что? Джуринская все понимает?

Раздражали Клямера мои такие требования:

1. Уволить весь персонал Куряжа без какого бы то ни было обсуждения.

2. Иметь в колонии Горького пятнадцать воспитателей (по нормам полагалось сорок).

3. Платить воспитателям не сорок, а восемьдесят рублей в месяц.

4. Педагогический персонал должен приглашаться мною, за профсоюзом остается право отвода.

Эти скромные требования раздражали Клямера до слез:

— Я хотел бы посмотреть: кто посмеет обсуждать этот наглый ультиматум? Здесь в каждом слове насмешка над советским правом. Ему нужно пятнадцать воспитателей, а двадцать пять пускай остаются за бортом. Он хочет навалить на педагогов каторжный труд, так сорока воспитателей он боится...

Я не вступал в спор с Клямером, так как не догадывался, каковы его настоящие мотивы.

Я вообще старался не участвовать в прениях и спорах, так как, по совести, не мог ручаться за успех и никого не хотел заставить принять на себя не оправданную его логикой ответственность. У меня ведь, собственно говоря, был только один аргумент — колония имени Горького, но ее видели немногие, а рассказывать о ней было мне неуместно.

Вокруг вопроса о переводе колонии завертелось столько лиц, страстей и отношений, что скоро я и вовсе потерял ориентировку, тем более, что в Харьков не приезжал больше как на один день и не попадал ни на какие заседания. Почему-то я не верил в искренность моих врагов и подозревал, что за высказанными доводами прячутся какие-то другие основания.

Только в одном месте в Наркомпросе наткнулся я на настоящую убежденную страстность в человеке и залюбовался ею открыто. Это была женщина, судя по костюму, но, вероятно, существо бесполое по существу: низкорослая, с лошадиным лицом, небольшая дощечка груди и огромные неловкие ноги. Она всегда размахивала ярко-красными руками, то жестикулируя, то поправляя космы прямых светло-соломенных волос. Звали ее товарищ Зоя. Она в кабинете Брегель имела какое-то влияние.

Товарищ Зоя возненавидела меня с первого взгляда и не скрывала этого, не отказываясь от самых резких выражений.

— Вы, Макаренко, солдат, а не педагог. Говорят, что вы бывший полковник, и это похоже на правду. Вообще не понимаю, почему здесь с вами носятся. Я бы не пустила вас к детям.

Мне нравились кристально-чистая искренность и прозрачная страсть товарища Зои, и я этого тоже не скрывал в своем обычном ответе:

— Я от вас всегда в восторге, товарищ Зоя, но только я никогда не был полковником.

К переводу колонии товарищ Зоя относилась как к неизбежной катастрофе, стучала ладонью по столу Брегель и вопила:

— Вы чем-то ослеплены! Чем вас одурманил всех этот...— она оглядывалась на меня.

— ...полковник,— серьезно подсказывал я.

— Да, полковник... Я вам скажу, чем это кончится: резней! Он привезет своих сто двадцать, и будет резня! Что вы об этом думаете, товарищ Макаренко?

— Я в восторге от ваших соображений, но любопытно было бы знать: кто кого будет резать?

Брегель тушила наши пререкания:

— Зоя! Как тебе не стыдно! Какая там резня!.. А вы, Антон Семенович, все шутите.

Клубок споров и разногласий катился по направлению к высоким партийным сферам, и это меня успокаивало. Успокаивало и другое: Куряж все сильнее и сильнее смердел, все больше и больше разлагался и требовал решительных, срочных мер. Куряж подталкивал решение вопроса, несмотря даже на то, что куряжские педагоги протестовали тоже:

— Колонию окончательно разлагают разговоры о переводе горьковской.

Те же воспитатели сообщали конспиративно, что в Куряже готовятся ножевые расправы с горьковцами. Товарищ Зоя кричала мне в лицо:

— Видите, видите?

— Да,— отвечал я,— значит, выяснилось: резать будут они нас, а не мы их.

— Да, выясняется... Варвара, ты за все будешь отвечать, смотри! Где это видано? Науськивать друг на друга две партии беспризорных!

Наконец меня вызвали в кабинет высокой организации. Бритый человек поднял голову от бумаг и сказал:

— Садитесь, товарищ Макаренко.

В кабинете были Джуринская и Клямер.

Я уселся.

Бритый негромко спросил:

— Вы уверены, что с вашими воспитанниками вы одолеете разложение в Куряже?

Я, вероятно, побледнел, потому что мне пришлось прямо в глаза, в ответ на честно поставленный вопрос, солгать:

— Уверен.

Бритый пристально на меня посмотрел и продолжал:

— Теперь еще один технический вопрос,— имейте в виду, товарищ Клямер, технический, а не принципиальный,— скажите, коротко только, почему вам нужно не сорок воспитателей, а пятнадцать, и почему вы против оклада в сорок рублей?

Я подумал и ответил:

— Видите ли, если коротко говорить: сорок сорокарублевых педагогов могут привести к полному разложению не только коллектив беспризорных, но и какой угодно коллектив.

Бритый вдруг откинулся на спинку кресла в открытом закатистом смехе и, показывая пальцем, спросил сквозь слезы:

— И даже коллектив, состоящий из Клямеров?

— Неизбежно,— ответил я серьезно.

С бритого как ветром сдунуло его осторожную официальность. Он протянул руку к Любови Савельевне:

— Не говорил ли я вам: «числом поболее, ценою подешевле»?

Он вдруг устало покачал головой и, снова возвращаясь к официальному, деловому тону, сказал Джуринской:

— Пусть переезжает! И скорее!

— Двадцать тысяч,— сказал я вставая.

— Получите. Не много?

— Мало.

— Хорошо. До свиданья. Переезжайте и смотрите: должен быть полный успех.

В колонии имени Горького в это время первое горячее решение постепенно переходило в формы спокойно-точ-

ной военной подготовки. Колонией фактически правил Лапоть, да Коваль помогал ему в трудных случаях, но править было не трудно. Никогда не было в колонии такого дружного тона, такой глубоко ощущаемой обязанности друг перед другом. Даже мелкие проступки встречались великим изумлением и коротким выразительным протестом:

— А ты еще собираешься ехать в Куряж!

Уже ни для кого в колонии не оставалось никаких сомнений в сущности задачи. Колонисты даже не знали, а ощущали особенным тончайшим осязанием висевшую в воздухе необходимость все уступить коллективу, и это вовсе не было жертвой. Было наслаждением, может быть, самым сладким наслаждением в мире: чувствовать эту взаимную связанность, крепость и эластичность отношений, вибрирующую в насыщенном силой покое великую мощь коллектива. И это все читалось в глазах, в движении, в мимике, в походке, в работе. Глаза всех смотрели туда, на север, где в саженных стенах сидела и урчала в нашу сторону темная орда, объединенная нищетой, своеволием и самодурством, глупостью и упрямством.

Я отметил, что никакого бахвальства у колонистов не было. Где-то тайно каждый носил страх и неуверенность, тем более естественные, что никто противника в глаза еще не видел.

Каждого моего возвращения ожидали нетерпеливо и жадно, дежурили на дорогах и деревьях, выглядывали с крыш. Как только мой экипаж въезжал во двор, сигналист хватал трубу и играл общий сбор, не спрашивая моего согласия. Я покорно шел на собрание. В это время сделалось обыкновением встречать меня, как народного артиста, аплодисментами. Это, конечно, относилось не столько ко мне, сколько к нашей общей задаче.

Наконец, в первых числах мая, на такое собрание пришел я с готовым договором.

По договору и по приказу Наркомпроса колония имени Максима Горького переводилась в полном составе воспитанников и персонала, со всем движимым имуществом и инвентарем, живым и мертвым, в Куряж. Куряжская колония объявлялась ликвидированной, с пере-

дачей двухсот восьмидесяти воспитанников и всего имущества в распоряжение и управление колонии имени Горького. Весь персонал Куряжской колонии объявлялся уволенным с момента вступления в заведывание завколонией Горького, за исключением некоторых технических работников.

Принять колонию мне предлагалось пятого мая. Закончить перевод колонии Горького — к пятнадцатому мая.

Выслушав договор и приказ, горьковцы не кричали «ура» и никого не качали. Только Лапоть сказал в общем молчании:

— Напишем об этом Горькому. И самое главное, хлопцы: не пищать!

— Есть не пищать! — пропищал какой-то пацан.

А Калина Иванович махнул рукой и прибавил:

— Рушайте, хлопцы, не бойтесь!

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу текста настоящего издания положены сочинения А. С. Макаренко в 7 томах, изд. АПН, М. 1957—1958 гг.

В отличие от названного семитомника, предназначенного в первую очередь для специалистов в области педагогики, учителей, студентов и пр., настоящее собрание сочинений А. С. Макаренко в 5 томах рассчитано на широкие круги читателей. В его состав входят основные литературно-художественные произведения писателя. Среди них «Педагогическая поэма», «Марш тридцатого года», «Флаги на башнях», «Честь», «Книга для родителей», а также рассказы, избранные статьи о литературе и переписка А. С. Макаренко с А. М. Горьким.

Материал в настоящем собрании сочинений расположен тематически, по возможности с соблюдением хронологии. Все тексты дополнительно сверены с прижизненными изданиями произведений А. С. Макаренко и рукописями. Как правило, тексты публикуются по последним прижизненным изданиям. В тех случаях, когда по тем или иным причинам данный принцип нарушается, это специально оговаривается в примечаниях. Подстрочные примечания в тексте авторские.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА, ч. I и II

«Педагогическая поэма» — широко известное и наиболее значительное произведение Антона Семеновича Макаренко, «самая дорогая» его книга, как он называл ее в письмах к А. М. Горькому. «Педагогическая поэма»,— писал он,— это поэма всей моей жизни, которая хоть и слабо отражается в моем рассказе, тем не

менее представляется мне чем-то «священным» (письмо к А. М. Горькому от февраля 1935 года).

Созданию этого произведения Макаренко отдал десять лет своей жизни, десять лет упорного труда (1925—1935 гг.). В процессе работы замысел «Педагогической поэмы» претерпел серьезные изменения. Будущая книга мыслилась писателю то как психологический роман с личностью автора-повествователя в центре и даже значительной ролью любовной интриги, то как «педагогический памфлет», направленный против псевдонаучных теорий воспитания и прежде всего против педологии. В окончательном варианте «Педагогическая поэма» представляет собою замечательное художественное произведение, раскрывающее принципы коммунистического воспитания молодежи в новом обществе, произведение, герой которого уже не столько отдельная личность, сколько целый коллектив.

Огромную роль в том, что книга А. С. Макаренко увидела свет, сыграл А. М. Горький, который внимательнейшим образом следил за работой писателя, подбадривал его в минуты сомнений, помогал добрым советом. Понимая всю важность книги и как художественного произведения и как своего рода «учебника» для многих сотен советских педагогов, Алексей Максимович в многочисленных письмах к Макаренко высказывает постоянную озабоченность состоянием его работы, требует ее продолжения, торопит с ее окончанием, дает ей самые высокие оценки. Так, в письме от 25 сентября 1933 года, Горький, получивший от А. С. Макаренко I часть книги, пишет: «...на мой взгляд «Поэма» очень удалась Вам. Не говоря о значении ее «сюжета», об интереснейшем материале, Вы сумели весьма удачно разработать этот материал и нашли верный, живой, искренний тон рассказа, в котором юмор Ваш — уместен как нельзя более... Рукопись нужно издавать». Великий писатель тревожится, что постоянная занятость, заботы, связанные с огромной и сложной работой в колонии, не дают Макаренко сосредоточиться на литературных занятиях: «...огорчен тем, что вторая часть «Педагогической поэмы» Вашей «подвигается медленно». Мне кажется, что Вы недостаточно правильно оцениваете значение этого труда, который должен оправдать и укрепить Ваш метод воспитания детей... Убедительно прошу Вас — напрягитесь и кончайте вторую часть «Поэмы». Настаиваю на этом не только как литератор, а — по мотиву, изложенному выше» (июнь 1934 года). Наконец, по поводу третьей, заключительной части книги Горький пишет: «...третья часть «Поэмы» кажется мне еще более ценной, чем первые две... Хорошую Вы себе «душу» нажили, отлично, умело она любит и ненавидит... Ну — что же? Поздравляю Вас с хорошей книгой, горячо поздравляю» (8 октября 1935 года).

Первая часть «Педагогической поэмы» была впервые опубликована в 1933 году, в книге 3-й Альманаха «Год XVII», вторая

часть — в 1935 году, в книге 5-й Альманаха «Год XVIII» и третья часть — в 1935 году в книге 8-й Альманаха «Год XVIII».

Вслед за публикацией в Альманахе части «Педагогической поэмы» в течение 1934—1937 годов дважды выходили отдельными изданиями в ГИХЛе, а в 1937 году ГИХЛ впервые выпустил книгу Макаренко в составе всех трех ее частей. Это было последнее прижизненное издание «Педагогической поэмы». Сопоставление текстов прижизненных изданий книги свидетельствует о том, что писатель не прекращал работы над поэмой до 1937 года, он изменял названия отдельных глав, производил сокращения и стилистическую правку и т. д.

При подготовке настоящего издания текст «Педагогической поэмы» сверен с текстом ее последнего прижизненного издания. В текст настоящего издания вошла глава «Шарин на расправе», отсутствовавшая в издании 1937 года, но восстановленная во всех последующих изданиях «Поэмы» начиная с 1940 года.

Стр. 5. *Губнаробраз* — Губернский отдел народного образования.

Стр. 6. *Реформаториумы* — детские тюрьмы в некоторых буржуазных странах.

Стр. 7. *Сто пятьдесят миллионов* — имеются в виду денежные знаки 1920 года.

Стр. 8. *Вандалы* — племя из группы восточных германцев. В 455 году захватили Рим и беспощадно разграбили его, уничтожив многие драгоценные произведения архитектуры и искусства. Нарицательное значение: разрушители.

Стр. 10. *Опродкомарм Первой запасной* — Особая продовольственная комиссия по снабжению Первой запасной армии в годы гражданской войны.

Стр. 13. *Соцвос* — социальное воспитание, которому в 20-е — 30-е годы органы просвещения придавали особое значение. Критические замечания Макаренко относительно «соцвоса» вызваны теми ошибками, которые допускались отдельными работниками на местах и теми извращениями в педагогике, которые искажали идею соцвоса. *Кий, Щек и Хорив* — по преданию, записанному в летописи, основатели Киева (примерно VI—VII вв.).

Стр. 15. *Рятуйте* — помогите, караул *(укр.)*.

...многие находились в блакитно-желтом очаровании — имеются в виду националистические настроения. У контрреволюционных националистов на Украине в годы гражданской войны было желто-блакитное (желто-голубое) знамя.

Стр. 19. *Допр* — Дом принудительных работ. *Бурса* — название общежитий при духовных училищах и семинариях с казенным содержанием в дореволюционной России, прославившихся своими

бесчеловечными, жестокими нравами, о которых рассказано в знаменитых «Очерках бурсы» писателя-демократа 60-х годов Н. Г. Помяловского.

Стр. 20. *Комиссия* — Комиссия по делам несовершеннолетних правонарушителей при отделах народного образования.

Стр. 21. *Утермарковские печи* — кирпичные печи в форме стоячих цилиндров, обшитые железом.

Стр. 28. *Урки, уркаганы* — общее название воров (*жаргон*). *Сявки* — «Сявка»,— поясняет А. С. Макаренко в «Марше тридцатого года»,— старое блатное слово. Это мелкий воришка, трусливый, дохлый, готовый скорее выпросить, чем украсть, и неспособный ни на какие подвиги.

Коммунары вкладывают в слово «сявка» несколько иное содержание. Сявка — это ничего не стоящий человек, не имеющий никакого достоинства, никакой чести, никакого уважения к себе, бессильное существо, которое ни за что не отвечает и на которое положиться нельзя».

Стр. 46. *...просите — и обрящете, толцыте — и отверзется, и дастся вам...* — несколько искаженные слова из Евангелия: «...просите, и дастся вам, ищите, и обрящете, толцыте, и отверзется вам» (то есть просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам).

Стр. 53. *Комнезам* — Комитет незаможних — бедняков неимущих крестьян. Комнезамы соответствовали комитетам бедноты (комбедам) в РСФСР. Просуществовали на Украине с 1920 по 1929 год, выполняя роль органа диктатуры пролетариата на селе.

Стр. 61. *Освиченный* — образованный (*укр.*). *Не чипай* — не трогай (*укр.*).

Стр. 62. *Грак* — «Граками в коммуне называют людей чрезвычайно сложного состава,— писал А. С. Макаренко в повести «ФД—1».— Грак это человек прежде всего деревенский, не умеющий ни сказать, ни повернуться, грубый с товарищами, и вообще первобытный. Но в понятие грака входило и начало личной жадности, зависти, чревоугодия, а, кроме того, грак еще и внешним образом несимпатичен: немного жирный, немного заспанный».

Стр. 74. *Скокарь* — грабитель (*жаргон*).

Стр. 76. *Кат* — палач (*укр.*).

Стр. 83. *Выженым* — выгоним (*укр.*).

Стр. 94. *Не важил* — не взвешивал (*укр.*).

Стр. 104. *Песталоцци*, Иоганн Генрих (1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог-демократ. *Руссо*, Жан-Жак (1712—1778) — великий французский мыслитель, писатель и педагог. *Наторп*, Пауль (1854—1924) — немецкий буржуазный философ и педагог. *Блонский*, Павел Петрович (1884—1941) — русский педагог и психолог. Принимал активное участие в реформе советской школы.

Стр. 129. *РКИ* — Рабоче-крестьянская инспекция.

Стр. 132. *Зозулястая* — пестрая, рябая *(укр.)*.

Стр. 134. *Псувати* — портить, пакостить *(укр.)*.

Стр. 141. *Коллектор* — учреждение, распределявшее беспризорных детей по детским домам.

Стр. 143. *Спидныця* — нижняя юбка *(укр.)*.

Стр. 191. *Выморочное имущество* — буквально, оставшееся без хозяина после смерти владельца, не имевшего наследников.

Стр. 197. *Старцюйте* — нищенствуйте *(укр.)*.

Стр. 216. *«Синяя птица»* — драма-сказка бельгийского драматурга Мориса Метерлинка (1862—1949), в которой дети ищут синюю птицу — символ счастья. *ВЭК* — Всеукраинский электрокомбинат.

Стр. 222. *В соцвосе харьковцев мало интересовали клейкие листочки...* — «Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что!» — слова Ивана Карамазова в романе Достоевского «Братья Карамазовы». *Предстательство* — заступничество, ходатайство *(устар.)*.

Стр. 223. *Позаяк ця справа вымагае дужэ швыдкого выришення, нэ можна гаяты часу, шановный товарищу Братченко.* — Так как дело требует безотлагательного решения, нельзя терять времени, уважаемый товарищ Братченко *(укр.)*.

Стр. 224. *Знущатися* — издеваться *(укр.)*.

Стр. 238. *Репетуете* — кричите *(укр.)*.

Стр. 243. *Помдет* — Комиссия по улучшению жизни детей.

Стр. 245. *Потылыця* — затылок (*укр.*).

Стр. 260. *Доминанта* — очаг возбуждения, временно господствующий в каком-нибудь нервном центре или в группе связанных между собою центров. Педологи приписывали доминантам исключительно большое значение в психологии ребенка.

Стр. 269. *Педология* — в реакционной буржуазной педагогике система взглядов на воспитание, основанная на признании фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими, социальными факторами, влиянием наследственности и неизменной среды. У нас в стране педологические методы были осуждены специальным постановлением ЦК в 1936 году, и все педологические кабинеты, имевшиеся в школах, были закрыты.

Стр. 284. *«Бунт машин»*—пьеса А. Н. Толстого (1882—1945). *«Товарищ Семивзводный»* — пьеса В. Голичникова. *«Азеф»* — пьеса А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева (1877 — 1931).

Стр. 298. *«угрюмый, тусклый огнь желанья»* — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева (1803—1873) «Люблю глаза твои, мой друг...»

Стр. 302. *Кортит* — очень хочется *(укр.)*.

Стр. 304. *Диоген* — древнегреческий философ (ок. 404—323 гг. до н. э.). По преданию, жил в бочке, отказываясь от всех жизненных удобств.

Стр. 312. *Нехвороща* — полынь *(укр.)*. *Сажа* — хлев *(укр.)*.

Стр. 313. *Пляшка* — бутылка *(укр.)*.

Стр. 318. *Кнур* — кабан *(укр.)*.

Стр. 335. *Гарбуза не сподиваемося* — на тыкву не рассчитываем *(укр.)*.

Стр. 343. *Райграс (англ.)* — вид густой травы, которой засеиваются газоны.

Стр. 352. *Стопорщик* — грабитель, останавливающий людей на большой дороге *(жаргон)*.

Стр. 395. *Клейноды* — символы власти гетманов (правителей) на Украине: бунчук и булава.

Стр. 416. *Стрыбали* — прыгали *(укр.)*. *...у самого Григория Ивановича* — Григорий Иванович Петровский (1878—1958) — крупный советский, партийный и государственный деятель, с 1919 по 1939 год — председатель Всеукраинского ЦИК.

Стр. 424. *Рушайте* — поезжайте *(укр.)*.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Антон Семенович МАКАРЕНКО
Собрание сочинений
в пяти томах.
Том I.

Редактор тома
В. В. Кожевникова.

Иллюстрации художника
И. Л. Ушакова.

Оформление художника
Ю. И. Батова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 15/XII 1969 г.
Подписано к печати 5/X 1970 г.
Бумага типогр. № 1. Форм. бум. $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Объем 23,20 усл. печ. л. 24,33 уч.-изд. л.
Тираж 375 000 экз. Изд. № 1349. Зак. № 420.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ГСП,
улица «Правды», 24.

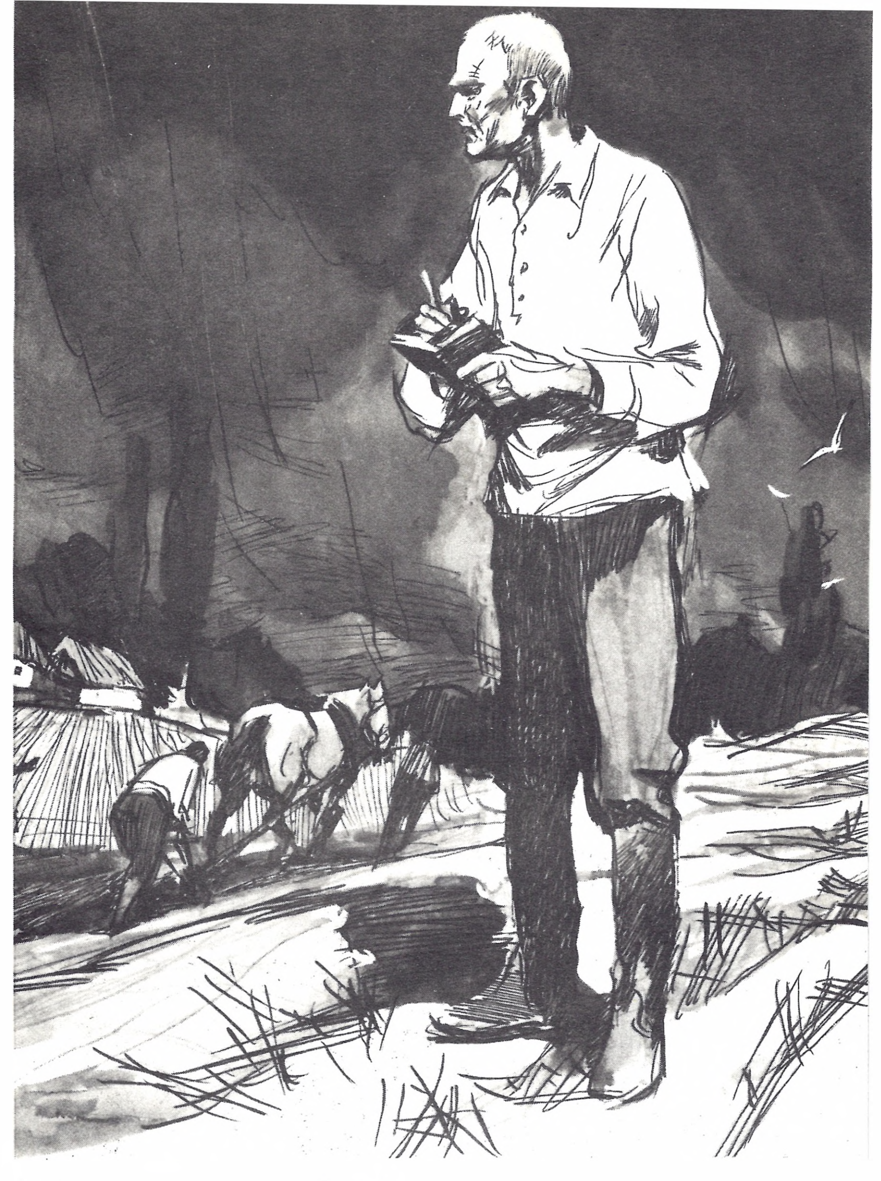
Индекс 70682

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»



«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»